-35-

**Фердинанд Де Соссюр**

**КУРС ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКИ**

**Предисловие к первому изданию**

Сколько раз нам приходилось слышать из уст Фердинанда де Соссюра сетования на недостаточность принципов и методов той лингвистики, в сфере которой развивалось его дарование. Всю свою жизнь он упорно искал те руководящие законы, которые могли бы ориентировать его мысль в этом хаосе. Только в 1906 г., приняв после Вертгеймера кафедру в Женевском университете, он получил возможность публично излагать свои идеи, зревшие в нем в течение многих лет. Де Соссюр читал курс по общей лингвистике три раза: в 1906-1907, 1908-1909 и 1910-1911 гг.; правда, требования программы вынуждали его посвящать половину каждого из этих курсов индоевропейским языкам: описанию их и изложению их истории, в связи с чем ему приходилось значительно сокращать важнейшие разделы, составляющие основную тематику читаемых лекций.

Все, кому посчастливилось слушать эти столь богатые идеями лекции де Соссюра, жалели, что они не были опубликованы отдельной книгой. После смерти нашего учителя мы надеялись найти в его рукописях, любезно предоставленных в наше распоряжение г-жой де Соссюр, полное, или по крайней мере достаточное, отображение этих гениальных лекций; мы предполагали, что, ограничившись простой редакционной правкой, можно будет издать личные заметки де Соссюра с привлечением записей слушателей. К великому нашему разочарованию, мы не нашли ничего или почти ничего такого, что соответствовало бы конспектам его учеников: де Соссюр уничтожал, как только отпадала в том необходимость, наспех составленные черновики, в которых он фиксировал в общем виде те идеи, какие он потом излагал в своих чтениях. В его письменном столе мы нашли лишь довольно старые наброски, конечно, не лишенные ценности, но не пригодные для самостоятельного использования, а также для соединения их с записями упомянутых курсов его слушателями.

-36-

Это было для нас тем более огорчительно, что профессиональные обязанности в свое время почти полностью помешали нам присутствовать лично на этих лекциях, ознаменовавших в деятельности Фердинанда де Соссюра этап, столь же блистательный, как и тот, ныне уже далекий, когда появился «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках».

Итак, нам пришлось ограничиться только записями, которые вели слушатели в течение трех упомянутых лекционных курсов. Весьма полные конспекты предоставили в наше распоряжение слушатели двух первых курсов: Луи Кай, Леопольд Го-тье, Поль Регар и Альберт Ридлингер, а также слушатели третьего, наиболее важного курса: г-жа Сеше, Жорж Дегалье и Франсис Жозеф. Свои заметки по одному специальному вопросу предоставил нам Луи Брютш. Всем перечисленным лицам мы выражаем свою искреннюю признательность. Мы выражаем также живейшую благодарность выдающемуся романисту Жюлю Ронжа, который любезно согласился просмотреть рукопись перед сдачей ее в печать и сообщил нам свои ценнейшие замечания.

Что же мы стали делать с этим материалом? Прежде всего потребовался серьезный критический анализ: в отношении каждого курса вплоть до отдельных деталей надо было путем сопоставления всех версий добраться до авторской мысли, от которой у нас остались только отголоски, порой противоречивые. Для первых двух курсов мы прибегли к сотрудничеству с А. Ридлингером, одного из тех слушателей, кто с наибольшим интересом следил за мыслью учителя; его работа в этом отношении была нам очень полезна. Для третьего курса та же кропотливая работа по сличению версий и редактированию была произведена одним из нас — А. Сеше.

Однако это еще не все. Форма устного изложения, часто противоречащая нормам книжной речи, создавала для нас величайшие затруднения. К тому же де Соссюр принадлежал к числу тех людей, которые никогда не останавливаются на достигнутом: его мысль свободно развивалась во всех направлениях, не вступая тем не менее в противоречие с самой собою. Публиковать все в оригинальной форме устного изложения было невозможно: неизбежные при этом повторения, шероховатости, меняющиеся формулировки лишили бы подобное издание цельности. Ограничиться только одним курсом (спрашивается, каким?) значило бы лишить книгу всех богатств, в изобилии разбросанных в остальных двух курсах; даже третий курс, наиболее законченный, не мог бы сам по себе дать полное представление о теориях и методах де Соссюра.

Нам советовали издать некоторые отрывки, наиболее оригинальные по своему содержанию, в том виде, в каком они остались после де Соссюра; идея эта нам сперва понравилась, но вскоре стало ясно, что осуществление ее исказило бы концепцию нашего учителя, которая предстала бы в виде обломков постройки, имеющей подлинную ценность лишь как стройное целое.

-37-

Поэтому мы остановились на решении более смелом, но вместе с тем, думается, и более разумном: мы решились на реконструкцию, на синтез на основе третьего курса, используя при этом все бывшие в нашем распоряжении материалы, включая личные заметки де Соссюра. Дело это было исключительно трудным, тем более что речь шла о воссоздании, которое должно было быть совершенно объективным: по каждому пункту нужно было, проникнув до самых основ каждой отдельной мысли и руководствуясь всей системой в целом, попытаться увидеть эту мысль в ее окончательной форме, освободить ее от многообразных форм выражения и зыбкости, присущей устному изложению, затем найти ей надлежащее место и при всем том представить все составные части ее в последовательности, соответствующей авторскому намерению даже в тех случаях, где это намерение надо было не столько обнаружить, сколько угадать.

Из этой работы по объединению отдельных версий и реконструкции целого и выросла настоящая книга, которую мы ныне не без робости представляем на суд ученых кругов и всех друзей лингвистики.

Наша основная идея сводилась к тому, чтобы воссоздать органическое единство, не пренебрегая ничем, что помогло бы создать впечатление стройного целого. Но именно как раз за это мы, быть может, и рискуем подвергнуться критике с двух сторон.

С одной стороны, нам могут сказать, что это «стройное целое» неполно. Но ведь наш учитель никогда и не претендовал на то, чтобы охватить все разделы лингвистики и осветить их все равномерно ярким светом; фактически он этого сделать не мог, да и цель его была совершенно иная. Руководствуясь несколькими сформулированными им самим основными принципами, которые мы постоянно находим в его работе и которые образуют основу ткани, столь же прочной, сколь и разнообразной, он работал вглубь и распространялся вширь лишь тогда, когда эти принципы находили исключительно благоприятные возможности применения, а также когда они встречали на своем пути теории, которые моглиихподорвать.

Этим объясняется тот факт, что некоторые дисциплины, например семантика, лишь слегка затронуты. Нам кажется, однако, что эти пробелы не вредят архитектонике целого. Отсутствие «лингвистики речи» более ощутимо. Обещанный слушателям третьего курса этот раздел занял бы, без сомнения, почетное место в будущих курсах; хорошо известно, почему это обещание не было выполнено. Мы ограничились тем, что собрали и поместили в соответствующем разделе беглые указания на эту едва намеченную программу; большего мы сделать не могли.

С другой стороны, нас, быть может, упрекнут за то, что мы включили в книгу некоторые достаточно известные еще до Соссюра вещи. Однако невозможно, чтобы при изложении столь широкой темы все было одинаково новым. И если некоторые уже известные положения оказываются необходимыми для понимания целого, не-

-38-

ужели нам поставят в вину то, что мы их приводим? Так, глава о фонетических изменениях включает сведения, уже высказывавшиеся ранее другими и только выраженные в более законченной форме; но, не говоря уже о том, что этот раздел книги содержит много оригинальных и ценных подробностей, даже поверхностное знакомство с ним показывает, что исключение его из книги отрицательно сказалось бы на понимании тех принципов, на которых де Соссюр строит свою систему статической лингвистики.

Мы полностью осознаем свою ответственность перед лицом научной критики и перед самим автором, который, возможно, не дал бы своего согласия на опубликование этих страниц . Эту ответственность мы принимаем на себя целиком и хотели бы, чтобы она лежала только на нас. Сумеют ли наши критики провести различие между учителем и его интерпретаторами? Мы были бы признательны им, если бы они обрушили свои удары на нас: было бы несправедливо подвергать этим ударам память дорогого нам человека.

Женева, июль 1915

*Ш. Балли, А. Сеше.*

***Предисловие ко второму изданию***

В настоящем, втором, издании не внесено никаких существенных изменений по сравнению с первым. Издатели ограничились частичными поправками , цель которых —сделать редакцию некоторых пунктов более ясной и точной.

*Ш. Б., А. С.*

***Предисловие к третьему изданию***

За исключением нескольких незначительных исправлений, настоящее издание полностью повторяет предыдущее.

*Ш. Б., А. С.*

-39-

**ВВЕДЕНИЕ**

***Глава I***

**Общий взгляд на историю лингвистики**

Наука о языке прошла три последовательные фазы развития, прежде чем было осознано, что является подлинным и единственным ее объектом.

Начало было положено так называемой «грамматикой». Эта дисциплина, появившаяся впервые у греков и в дальнейшем процветавшая главным образом во Франции, основывалась на логике и была лишена научного и объективного воззрения на язык как таковой: ее единственной целью было составление правил для отличия правильных форм от форм неправильных. Это была дисциплина нормативная, весьма далекая от чистого наблюдения: в силу этого ее точка зрения была, естественно, весьма узкой .

Затем возникла филология. «Филологическая» школа существовала уже в Александрии, но этот термин применяется преимущественно к тому научному направлению, начало которому было положено в 1777 г. Фридрихом Августом Вольфом и которое продолжает существовать до наших дней. Язык не является единственным объектом филологии: она прежде всего ставит себе задачу устанавливать, толковать и комментировать тексты. Эта основная задача приводит ее также к занятиям историей литературы, быта, социальных институтов и т. п. Всюду она применяет свой собственный метод, метод критики источников. Если она касается лингвистических вопросов, то главным образом для того, чтобы сравнивать тексты различных эпох, определять язык, свойственный данному автору, расшифровывать и разъяснять надписи на архаических или плохо известных языках. Без сомнения, именно исследования такого рода и расчистили путь для исторической лингвистики: работы Ричля о Плавте уже могут быть названы лингвистическими . Но в этой области филологическая критика имеет один существенный недостаток: она питает слишком рабскую приверженность к письменному языку и забывает о живом языке, к тому же ее интересы ле-

-40-

жат почти исключительно в области греческих и римских древностей.

Начало третьего периода связано с открытием возможности сравнивать языки между собою. Так возникла сравнительная филология, или, иначе, сравнительная грамматика. В 1816г. Франц Бопп в своей работе «О системе спряжения санскритского языка...» исследует отношения, связывающие санскрит с греческим, латинским и другими языками . Но Бопп не был первым, кто установил эти связи и высказал предположение, что все эти языки принадлежат к одному семейству. Это, в частности, установил и высказал до него английский востоковед Вильям Джоунз (1746-1794). Однако отдельных разрозненных высказываний еще недостаточно для утверждения, будто в 1816 г. значение и важность этого положения уже были осознаны всеми. Итак, заслуга Боппа заключается не в том, что он открыл родство санскрита с некоторыми языками Европы и Азии, а в том, что он понял возможность построения самостоятельной науки, предметом которой являются отношения родственных языков между собою. Анализ одного языка на основе другого, объяснение форм одного языка формами другого — вот что было нового в работе Боппа.

Бопп вряд ли мог бы создать (да еще в такой короткий срок) свою науку, если бы предварительно не был открыт санскрит. База изысканий Боппа расширилась и укрепилась именно благодаря тому, что наряду с греческим и латинским языками ему был доступен третий источник информации — санскрит; это преимущество усугублялось еще тем обстоятельством, что, как оказалось, санскрит обнаруживал исключительно благоприятные свойства, проливающие свет на сопоставляемые с ним языки.

Покажем это на одном примере. Если рассматривать парадигмы склонения латинского *genus (genus, generis, genere, genera, generum* и т. д.) и греческого *génos (génos, géneos, géneï, génea, genéōn* и т.д.), то получаемые ряды не позволяют сделать никаких выводов, будем ли мы брать эти ряды изолированно или сравниватьих между собою. Но картина резко изменится, если с ними сопоставить соответствующую санскритскую парадигму *(ganas, ganasas, ganasi, ganassu, ganasām* и т. д.). Достаточно беглого взгляда на эту парадигму, чтобы установить соотношение, существующее между двумя другими парадигмами: греческой и латинской. Предположив, что *janas* представляет первоначальное состояние (такое допущение способствует объяснению), можно заключить, что *s* исчезало в греческих формах *géne(s)os* и т. д. всякий раз, как оказывалось между двумя гласными. Далее, можно заключить, что при тех же условиях в латинском языке *s* переходило в r*.* Кроме того, с грамматической точки зрения санскритская парадигма уточняет понятие индоевропейского корня, поскольку этот элемент оказывается здесь вполне определенной и устойчивой единицей *(ganas-).* Латинский и греческий языки лишь на самых своих начальных стадиях знали то состояние, которое представлено санскритом. Таким образом, в данном случае санскрит показателен тем, что в нем сохранились все индоевропейские *s.* Правда, в других отношениях он хуже сохранил характерные черты общего прототипа: так, в нем катастрофически изменился вокализм. Но в общем сохраняемыеим первоначальные элементы прекрасно помогают исследованию, и в огромном большинстве случаев именно санскрит оказывается в положении языка, разъясняющего различные явления в других языках.

С самого начала рядом с Боппом выдвигаются другие выдающиеся лингвисты: Якоб Гримм, основоположник германистики (его «Грамматика немецкого языка» была опубликована в 1819-1837 гг.); Август Фридрих Потт, чьи этимологические разыскания снабдили лингвистов большим материалом; Адальберт Кун, работы которого касались как сравнительного языкознания, так и сравнительной мифологии; индологи Теодор Бенфей и Теодор Ауфрехт и др.

Наконец, среди последних представителей этой школы надо выделить Макса Мюллера, Георга Курциуса и Августа Шлейхера. Каждый из них сделал немалый вклад в сравнительное языкознание. Макс Мюллер популяризовал его своими блестящими лекциями («Лекции по науке о языке», 1861, на английском языке); впрочем, в чрезмерной добросовестности его упрекнуть нельзя. Выдающийся филолог Курциус, известный главным образом своим трудом «Основы греческой этимологии» (1858-1862, 5-е прижизненное изд. 1879 г.), одним из первых примирил сравнительную грамматику с классической филологией. Дело в том, что представители последней с недоверием следили за успехами молодой науки, и это недоверие становилось взаимным. Наконец, Шлейхер является первым лингвистом, попытавшимся собрать воедино результаты всех частных сравнительных исследований. Его «Компендиум по сравнительной грамматике индогерманских языков» (1861) представляет собой своего рода систематизацию основанной Боппом науки. Эта книга, оказывавшая ученым великие услуги в течение многих лет, лучше всякой другой характеризует облик школы сравнительного языкознания в первый период развития индоевропеистики.

Но этой школе, неотъемлемая заслуга которой заключается в том, что она подняла плодородную целину, все же не удалось создать подлинно научную лингвистику. Она так и не попыталась выявить природу изучаемого ею предмета. А между тем без такого предварительного анализа никакая наука не в состоянии выработать свой метод.

Основной ошибкой сравнительной грамматики — ошибкой, которая в зародыше содержала в себе все прочие ошибки, — было то, что в своих исследованиях, ограниченных к тому же одними лишь индоевропейскими языками, представители этого направления никогда не задавались вопросом, чему же соответствовали производимые ими сопоставления, что же означали открываемые ими отношения. Их наука оставалась исключительно сравнительной, вместо того чтобы быть исторической. Конечно, сравнение составляет необходимое условие для всякого воссоздания исторической действительности. Но одно лишь сравнение не может привести к правильным выводам. А такие выводы ускользали от компаративистов еще и потому, что они рассматривали развитие двух языков совершенно так же, как естествоиспытатель рассматривал бы рост двух растений. Шлейхер, например, всегда призывающий исходить из индоевропейского праязыка, следовательно, выступающий, казалось бы, в некотором смысле как подлинный историк, не колеблясь, утверждает, что в греческом языке е и о суть две «ступени» (Stufen) одного вокализма. Дело в том, что в санскрите имеется система чередования гласных, которая может породить представление об этих ступенях. Предположив, таким образом, что развитие должно идти по этим ступеням обособленно и параллельно в каждом языке, подобно тому как растения одного вида проходят независимо друг от друга одни и те же фазы развития, Шлейхер видит в греческом о усиленную ступень е, подобно тому как в санскритском ā он видит усиление ă*.* В действительности же все сводится к индоевропейскому чередованию звуков, которое различным образом отражается в греческом языке и в санскрите, тогда как вызываемые им в обоих языках грамматические следствия вовсе не обязательно тождественны.

Этот исключительно сравнительный метод влечет за собой целую систему ошибочных взглядов, которым в действительности ничего не соответствует и которые противоречат реальным условиям существования человеческой речи вообще. Язык рассматривался как особая сфера, как четвертое царство природы; этим обусловлены были такие способы рассуждения, которые во всякой иной науке вызвали бы изумление. Нынче нельзя прочесть и десяти строк, написанных в ту пору, чтобы не поразиться причудам мысли и терминам, употреблявшимся для оправдания этих причуд.

Но с методологической точки зрения небесполезно познакомиться с этими ошибками: ошибки молодой науки всегда напоминают в развернутом виде ошибки тех, кто впервые приступает к научным изысканиям; на некоторые из этих ошибок нам придется указать в дальнейшем.

Только в 70-х годах XIX века стали задаваться вопросом, каковы же условия жизни языков. Было обращено внимание на то, что объединяющие их соответствия не более чем один из аспектов того явления, которое мы называем языком, а сравнение не более чем средство, метод воссоздания фактов.

Лингвистика в точном смысле слова, которая отвела сравнительному методу его надлежащее место, родилась на почве изучения романских и германских языков. В частности, именно романистика (основатель которой Фридрих Диц в 1836-1838 гг. выпустил свою «Грамматику романских языков») очень помогла лингвистике приблизиться к ее настоящему объекту. Дело в том, что романисты находились в условиях гораздо более благоприятных, чем индоевропеисты, поскольку им был известен латинский язык, прототип романских языков, и поскольку обилие памятников позволяло им детально прослеживать эволюцию отдельных романских языков. Оба эти обстоятельства ограничивали область гипотетических построений и сообщали всем изысканиям романистики в высшей степени конкретный характер. Германисты находились в аналогичном положении; правда, прагерманский язык непосредственно неизвестен, но зато история происходящих от него языков может быть прослежена на материале многочисленных памятников на протяжении длинного ряда столетий. Поэтому-то германисты, как более близкие к реальности, и пришли к взглядам, отличным от взглядов первых индоевропеистов .

Первый импульс был дан американцем Вильямом Уитни , автором книги «Жизнь и развитие языка» (1875). Вскоре образовалась новая школа, школа младограмматиков (Junggranmiatiker), во главе которой стояли немецкие ученые Карл Бругман, Герман Остгоф, германисты Вильгельм Брауне, Эдуард Сивере, Герман Пауль, славист Август Лескин и др. Заслуга их заключалась в том, что результаты сравнения они включали в историческую перспективу и тем самым располагали факты в их естественном порядке. Благодаря им язык стал рассматриваться не как саморазвивающийся организм, а как продукт коллективного духа языковых групп. Тем самым была осознана ошибочность и недостаточность идей сравнительной грамматики и филологии. Однако, сколь бы ни были велики заслуги этой школы, не следует думать, будто она пролила полный свет на всю проблему в целом: основные вопросы общей лингвистики и ныне все еще ждут своего разрешения.

***Глава II***

**Материал и задача лингвистики; ее отношение к смежным дисциплинам**

Материалом лингвистики являются прежде всего все факты речевой деятельности человека как у первобытных народов, так и у культурных наций, как в эпоху расцвета того или другого языка, так и во времена архаические, а также в период его упадка, с охватом в каждую эпоху как форм обработанного, или «литературного», языка, [так и форм просторечных] — вообще всех форм выражения. Это, однако, не все: поскольку речевая деятельность в большинстве случаев недоступна непосредственному наблюдению, лингвисту приходится учитывать письменные тексты как единственный источник сведений о языках далекого прошлого или далеких стран. В задачу лингвистики входит:

а) описание и историческое обследование всех доступных ей языков, что ведет к составлению истории всех языковых семейств и по мере возможности к реконструкции их праязыков;

б) обнаружение факторов, постоянно и универсально действующих во всех языках, и установление тех общих законов, к которым можно свести отдельные явления в истории этих языков;

в) определение своих границ и объекта.

Лингвистика весьма тесно связана с рядом других наук, которые то заимствуют у нее ее данные, то предоставляют ей свои. Границы, отделяющие ее от этих наук, не всегда выступают вполне отчетливо. Так, например, лингвистику следует строго отграничивать от этнографии и от истории древних эпох, где язык учитывается лишь в качестве документа. Ее необходимо также отличать и от антропологии , изучающей человека как зоологический вид, тогда как язык есть факт социальный. Но не следует ли включить ее в таком случае в социологию? Каковы взаимоотношения лингвистики и социальной психологии? В сущности, в языке все психично, включая его и материальные и механические проявления, как, например, изменения звуков; и, поскольку лингвистика снабжает социальную психологию столь ценными данными, не составляет ли она с нею единое целое? Всех этих вопросов мы касаемся здесь лишь бегло, с тем чтобы вернуться к их рассмотрению в дальнейшем.

Отношение лингвистики к физиологии выясняется с меньшие трудом: отношение это является односторонним в том смысле, что при изучении языков требуются данные по физиологии звуков, тогда как лингвистика со своей стороны в распоряжение физиологии подобных данных предоставить не может. Во всяком случае, смешение этих двух дисциплин недопустимо: сущность языка, как мы увидит не связана со звуковым характером языкового знака.

Что же касается филологии, то, как мы уже знаем, она резко обличается от лингвистики, несмотря на наличие между обеими науками точек соприкосновения и те взаимные услуги, которые они друг другу оказывают.

В чем заключается практическое значение лингвистики? Весьма немногие люди имеют на этот счет ясное представление, и здесь не место о нем распространяться. Во всяком случае, очевидно, что лингвистические вопросы интересны для всех тех, кто, как, например, историки, филологи и др., имеет дело с текстами. Еще более очевидно значение лингвистики для общей культуры: в жизни как отдельных людей, так и целого общества речевая деятельность является важнейшим из всех факторов. Поэтому немыслимо, чтобы ее изучение оставалось в руках немногих специалистов. Впрочем, в действительности ею в большей или меньшей степени занимаются все; но этот всеобщий интерес к вопросам речевой деятельности влечет за собой парадоксальное следствие: нет другой области, где возникало бы больше нелепых идей, предрассудков, миражей и фикций. Все эти заблуждения представляют определенный психологический интерес, и первейшей задачей лингвиста является выявление и по возможности окончательное их устранение.

***Глава III***

**Объект лингвистики**

**§ 1. Определение языка**

Что является целостным и конкретным объектом лингвистики? Вопрос этот исключительно труден, ниже мы увидим, почему. Ограничимся здесь показом этих трудностей.

Другие науки оперируют заранее данными объектами, которые можно рассматривать под различными углами зрения; ничего подобного нет в лингвистике. Некто произнес французское слово *пи* «обнаженный»: поверхностному наблюдателю покажется, что это конкретный лингвистический объект; однако более пристальный взгляд обнаружит в nu три или четыре совершенно различные вещи в зависимости от того, как он будет рассматривать это слово: только как звучание, как выражение определенного понятия, как соответствие латинскому *nūdum* «нагой» и т. д. В лингвистике объект вовсе не предопределяет точки зрения; напротив, можно сказать, что здесь точка зрения создает самый объект; вместе с тем ничто не говорит нам о том, какой из этих способов рассмотрения данного факта является первичным или более совершенным по сравнению с другими.

Кроме того, какой бы способ мы ни приняли для рассмотрения того или иного явления речевой деятельности, в ней всегда обнаруживаются две стороны , каждая из которых коррелирует с другой и значима лишь благодаря ей. Приведем несколько примеров:

1. Артикулируемые слоги — это акустические явления, воспринимаемые слухом, но сами звуки не существовали бы, если бы не было органов речи: так, звук **n** существует лишь в результате корреляции этих двух сторон: акустической и артикуляционной. Таким образом, нельзя ни сводить язык к звучанию, ни отрывать звучание от артикуляторной работы органов речи; с другой стороны, нельзя определить движение органов речи, отвлекаясь от акустического фактора.

2. Но допустим, что звук есть нечто простое: исчерпывается ли им то, что мы называем речевой деятельностью? Нисколько, ибо он есть лишь орудие для мысли и самостоятельного существования не имеет. Таким образом возникает новая, осложняющая всю картину корреляция: звук, сложное акустико-артикуляционное единство, образует в свою очередь новое сложное физиолого-мыслительное единство с понятием. Но и это еще не все.

3. У речевой деятельности есть две стороны: индивидуальная и социальная, причем одну нельзя понять без другой.

4. В каждый данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему и эволюцию; в любой момент речевая деятельность есть одновременно и действующее установление (institution actuelle) и продукт прошлого. На первый взгляд различение между системой и историей, между тем, что есть, и тем, что было, представляется весьма простым, но в действительности то и другое так тесно связано между собой, что разъединить их весьма затруднительно. Не упрощается ли проблема, если рассматривать речевую деятельность в самом ее возникновении, если, например, начать с изучения речевой деятельности ребенка? Нисколько, ибо величайшим заблуждением является мысль, будто в отношении речевой деятельности проблема возникновения отлична от проблемы постоянной обусловленности. Таким образом, мы продолжаем оставаться в том же порочном кругу.

Итак, с какой бы стороны ни подходить к вопросу, нигде объект не дан нам во всей целостности; всюду мы натыкаемся на ту же дилемму: либо мы сосредоточиваемся на одной лишь стороне каждой проблемы, тем самым рискуя не уловить присущей ей двусторонности, либо, если мы изучаем явления речевой деятельности одновременно с нескольких точек зрения, объект лингвистики выступает перед нами как груда разнородных, ничем между собою не связанных явлений. Поступая так, мы распахиваем дверь перед целым рядом наук: психологией, антропологией, нормативной грамматикой, филологией и т. д., которые мы строго отграничиваем от лингвистики, но которые в результате методологической ошибки могут притязать на речевую деятельность как на один из своих объектов .

По нашему мнению, есть только один выход из всех этих затруднений: *надо с самого начала встать на почву языка и считать его основанием (поrте) для всех прочих проявлений речевой деятельности.* Действительно, среди множества двусторонних явлений только язык, по-видимому, допускает независимое (autonome) определение и дает надежную опору для мысли.

Но что же такое язык? По нашему мнению, понятие языка не совпадает с понятием речевой деятельности вообще; язык — только определенная часть — правда, важнейшая часть — речевой деятельности. Он является социальным продуктом, совокупностью необходимых условностей, принятых коллективом, чтобы обеспечить реализацию, функционирование способности к речевой деятельности, существующей у каждого носителя языка. Взятая в целом, речевая деятельность многообразна и разнородна; протекая одновременно в ряде областей, будучи одновременно физической, физиологической и психической, она, помимо того, относится и к сфере индивидуального и к сфере социального; ее нельзя отнести определенно ни к одной категории явлений человеческой жизни, так как неизвестно, каким образом всему этому можно сообщить единство.

В противоположность этому язык представляет собою целостность сам по себе, являясь, таким образом, отправным началом (principe) классификации. Отводя ему первое место среди явлений речевой деятельности, мы тем самым вносим естественный порядок в эту совокупность, которая иначе вообще не поддается классификации.

На это выдвинутое нами положение об отправном начале классификации, казалось, можно было бы возразить, утверждая, что осуществление речевой деятельности покоится на способности, присущей нам от природы, тогда как язык есть нечто усвоенное и условное, и что, следовательно, язык должен занимать подчиненное положение по отношению к природному инстинкту, а не стоять над ним.

Вот что можно ответить на это. Прежде всего, вовсе не доказано, что речевая деятельность в той форме, в какой она проявляется, когда мы говорим, есть нечто вполне естественное, иначе говоря, что наши органы речи предназначены для говорения точно так же, как наши ноги для ходьбы. Мнения лингвистов по этому поводу существенно расходятся. Так, например, Уитни, приравнивающий язык к общественным установлениям со всеми их особенностями, полагает, что мы используем органы речи в качестве орудия речи чисто случайно, просто из соображений удобства; люди, по его мнению, могли бы с тем же успехом пользоваться жестами, употребляя зрительные образы вместо слуховых . Несомненно, такой тезис чересчур абсолютен: язык не есть общественное установление, во всех отношениях подобное прочим; кроме того, Уитни заходит слишком далеко, утверждая, будто наш выбор лишь случайно остановился на органах речи: ведь этот выбор до некоторой степени был нам навязан природой. Но по основному пункту американский лингвист, кажется, безусловно прав: язык — условность, а какова природа условно избранного знака, совершенно безразлично. Следовательно, вопрос об органах речи — вопрос второстепенный в проблеме речевой деятельности.

Положение это может быть подкреплено путем определения того, что разуметь под членораздельной речью (langage articulé). По-латыни articulus означает «составная часть», «член(ение)»; в отношении речевой деятельности членораздельность может означать либо членение звуковой цепочки на слоги, либо членение цепочки значений на значимые единицы; в этом именно смысле по-немецки и говорят gegliederte Sprache. Придерживаясь этого второго определения, можно было бы сказать, что естественной для человека является не речевая деятельность как говорение (langage parlé), а способность создавать язык, то есть систему дифференцированных знаков, соответствующих дифференцированным понятиям .

Брока открыл, что способность говорить локализована в третьей лобной извилине левого полушария большого мозга; и на это открытие пытались опереться, чтобы приписать речевой деятельности естественно-научный характер . Но как известно, эта локализация была установлена в отношении всего, имеющего отношение к речевой деятельности, включая письмо; исходя из этого, а также из наблюдений, сделанных относительно различных видов афазии в результате повреждения этих центров локализации, можно, по-видимому, допустить: 1) что различные расстройства устной речи разнообразными путями неразрывно связаны с расстройствами письменной речи и 2) что во всех случаях афазии или аграфии нарушается не столько способность произносить те или иные звуки или писать те или иные знаки, сколько способность любыми средствами вызывать в сознании знаки упорядоченной речевой деятельности. Все это приводит нас к предположению, что над деятельностью различных органов существует способность более общего порядка, которая управляет этими знаками и которая и есть языковая способность по преимуществу. Таким путем мы приходим к тому же заключению, к какому пришли раньше.

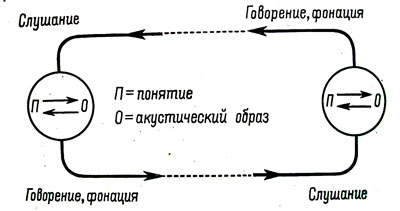
Наконец, в доказательство необходимости начинать изучение речевой деятельности именно с языка можно привести и тот аргумент, что способность (безразлично, естественная она или нет) артикулировать слова осуществляется лишь с помощью орудия, созданного и предоставляемого коллективом. Поэтому нет ничего невероятного в утверждении, что единство в речевую деятельность вносит язык.

**§ 2. Место языка в явлениях речевой деятельности**

Для того чтобы во всей совокупности явлений речевой деятельности найти сферу, соответствующую языку, надо рассмотреть индивидуальный акт речевого общения. Такой акт предполагает по крайней мере двух лиц — это минимум, необходимый для полноты ситуации общения. Итак, пусть нам даны два разговаривающих друг с другом лица: А и В.



Отправная точка акта речевого общения находится в мозгу одного из разговаривающих, скажем А, где явления сознания, называемые нами «понятиями», ассоциируются с представлениями языковых знаков, или с акустическими образами, служащими для выражения понятий. Предположим, что данное понятие вызывает в мозгу соответствующий акустический образ — это явление чисто психического порядка, за которым следует физиологический процесс: мозг передает органам речи соответствующий образу импульс, затем звуковые волны распространяются из уст А к ушам В — это уже чисто физический процесс. Далее процесс общения продолжается в В, но в обратном порядке: от уха к мозгу — физиологическая передача акустического образа; в мозгу — психическая ассоциация этого образа с соответственным понятием. Когда В заговорит в свою очередь, во время этого нового акта речи будет проделан в точности тот же самый путь, что и во время первого, — от мозга В к мозгу А речь пройдет через те же самые фазы. Все это можно изобразить следующим образом:



Этот анализ не претендует на полноту. Можно было бы выделить еще чисто акустическое ощущение, отождествление этого ощущения с латентным акустическим образом, двигательный образ в отличие от фонации, говорения и т. д. Но мы приняли во внимание лишь те элементы, которые считаем существенными; наша схема позволяет сразу же отграничить элементы физические (звуковые волны) от элементов физиологических (говорение, фонация и слушание) и психических (словесные образы и понятия). При этом в высшей степени важно отметить, что словесный образ не совпадает с самим звучанием и что он столь же психичен, как и ассоциируемое с ним понятие.

Речевой акт, изображенный нами выше, может быть расчленен на следующие части:

а) внешняя часть (звуковые колебания, идущие из уст к ушам) и внутренняя часть, включающая все прочее;

б) психическая часть и часть непсихическая, из коих вторая включает как происходящие в органах речи физиологические явления, так и физические явления вне человека;

в) активная часть и пассивная часть: активно все то, что идет от ассоциирующего центра одного из говорящих к ушам другого, а пассивно все то, что идет от ушей этого последнего к его ассоциирующему центру .

Наконец, внутри локализуемой в мозгу психической части можно называть экзекутивным все то, что активно (П→O), и рецептивным все то, что пассивно (O→П).

К этому надо добавить способность к ассоциации и координации, которая обнаруживается, как только мы переходим к рассмотрению знаков в условиях взаимосвязи; именно эта способность играет важнейшую роль в организации языка как.

Но чтобы верно понять эту роль, надо отойти от речевого акта как явления единичного, которое представляет собою всего лишь зародыш речевой деятельности, и перейти к языку как к явлению социальному.

У всех лиц, общающихся вышеуказанным образом с помощью речевой деятельности, неизбежно происходит известного рода выравнивание: все они воспроизводят, хотя, конечно, и не вполне одинаково, примерно одни и те же знаки, связывая их с одними и теми же понятиями.

Какова причина этой социальной «кристаллизации»? Какая из частей речевого акта может быть ответственна за это? Ведь весьма вероятно, что не все они принимают в этом одинаковое участие.

Физическая часть может быть отвергнута сразу. Когда мы слышим разговор на незнакомом нам языке, мы, правда, слышим звуки, но вследствие непонимания того, что говорится, сказанное не составляет для нас социального факта.

Психическая часть речевого акта также мало участвует в «кристаллизации»; ее экзекутивная сторона остается вообще непричастной к этому, ибо исполнение никогда не производится коллективом; оно всегда индивидуально, и здесь всецело распоряжается индивид; мы будем называть это *речью*.

Формирование у говорящих примерно одинаковых для всех психических образов обусловлено функционированием рецептивной и координативной способностей. Как же надо представлять себе этот социальный продукт, чтобы язык вполне выделился, обособившись от всего прочего? Если бы мы были в состоянии охватить сумму всех словесных образов, накопленных у всех индивидов, мы бы коснулись той социальной связи, которая и образует язык. Язык — это клад, практикой речи отлагаемый во всех, кто принадлежит к одному общественному коллективу, это грамматическая система, виртуально существующая у каждого в мозгу, точнее сказать, у целой совокупности индивидов, ибо язык не существует полностью ни в одном из них, он существует в полной мере лишь в коллективе .

Разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем: 1) социальное от индивидуального; 2) существенное от побочного и более или менее случайного .

Язык не деятельность (fonction) говорящего. Язык — это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим; он никогда не предполагает преднамеренности и сознательно в нем проводится лишь классифицирующая деятельность, о которой речь будет идти ниже.

Наоборот, речь есть индивидуальный акт воли и разума; в этом акте надлежит различать: 1) комбинации, в которых говорящий использует код (code) языка с целью выражения своей мысли; 2) психофизический механизм, позволяющий ему объективировать эти комбинации.

Следует заметить, что мы занимаемся определением предметов, а не слов; поэтому установленные нами различия ничуть не страдают от некоторых двусмысленных терминов, не вполне соответствующих друг другу в различных языках. Так, немецкое Sprache соответствует французскому langue «язык» и langage «речевая деятельность»; нем. Rede приблизительно соответствует французскому parole «речь»; однако в нем. Rede содержится дополнительное значение: «ораторская речь» (= франц. discours); латинское sermo означает скорее и langage «речевая деятельность» и parole «речь», тогда как lingua означает langue «язык» и т. д. Ни для одного из определенных выше понятий невозможно указать точно соответствующее ему слово, поэтому-то определять слова абсолютно бесполезно; плохо, когда при определении вещей исходят из слов.

Резюмируем теперь основные свойства языка:

1. Язык есть нечто вполне определенное в разнородном множестве фактов речевой деятельности. Его можно локализовать в определенном отрезке рассмотренного нами речевого акта, а именно там, где слуховой образ ассоциируется с понятием. Он представляет собою социальный аспект речевой деятельности, внешний по отношению к индивиду, который сам по себе не может ни создавать его, ни изменять. Язык существует только в силу своего рода договора, заключенного членами коллектива. Вместе с тем, чтобы знать его функционирование, индивид должен учиться; ребенок овладевает им лишь мало-помалу. Язык до такой степени есть нечто вполне особое, что человек, лишившийся дара речи, сохраняет язык, поскольку он понимает слышимые им языковые знаки.

2. Язык, отличный от речи, составляет предмет, доступный самостоятельному изучению. Мы не говорим на мертвых языках, но мы отлично можем овладеть их механизмом. Что же касается прочих элементов речевой деятельности, то наука о языке вполне может обойтись без них; более того, она вообще возможна лишь при условии, что эти прочие элементы не примешаны к ее объекту.

3. В то время как речевая деятельность в целом имеет характер разнородный, язык, как он нами определен, есть явление по своей природе однородное — это система знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла и акустического образа, причем оба эти компонента знака в равной мере психичны.

4. Язык не в меньшей мере, чем речь, конкретен по своей природе, и это весьма способствует его исследованию. Языковые знаки хотя и психичны по своей сущности, но вместе с тем они — не абстракции; ассоциации, скрепленные коллективным согласием и в своей совокупности составляющие язык, суть реальности, локализующиеся в мозгу. Более того, знаки языка, так сказать, осязаемы: на письме они могут фиксироваться посредством условных написаний, тогда как представляется невозможным во всех подробностях фотографировать акты речи; произнесение самого короткого слова представляет собою бесчисленное множество мускульных движений, которые чрезвычайно трудно познать и изобразить. В языке же, напротив, не существует ничего, кроме акустического образа, который может быть передан посредством определенного зрительного образа. В самом деле, если отвлечься от множества отдельных движений, необходимых для реализации акустического образа в речи, всякий акустический образ оказывается, как мы далее увидим, лишь суммой ограниченного числа элементов, или фонем, которые в свою очередь можно изобразить на письме при помощи соответственного числа знаков. Именно возможность фиксировать явления языка позволяет сделать словарь и грамматику верным изображением его: ведь язык — это сокровищница акустических образов, а письмо обеспечивает им осязаемую форму.

**§ 3. Место языка в ряду явлений человеческой жизни. Семиология**

Сформулированная в § 2 характеристика языка ведет нас к установлению еще более важного положения. Язык, выделенный таким образом из совокупности явлений речевой деятельности, в отличие от этой деятельности в целом, занимает особое место среди проявлений человеческой жизни.

Как мы только что видели, язык есть общественное установление, которое во многом отличается от прочих общественных установлений: политических, юридических и др. Чтобы понять его специфическую природу, надо привлечь ряд новых фактов.

Язык есть система знаков, выражающих понятия, а следовательно, его можно сравнивать с письменностью, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и т. д. и т. п. Он только наиважнейшая из этих систем .

Следовательно, можно представить себе *науку, изучающую жизнь знаков в рамках жизни общества*; такая наука явилась бы частью социальной психологии, а следовательно, и общей психологии; мы назвали бы ее *семиологией* (от греч. sēmeion «знак») . Она должна открыть нам, что такое знаки и какими законами они управляются. Поскольку она еще не существует, нельзя сказать, чем она будет; но она имеет право на существование, а ее место определено заранее. Лингвистика — только часть этой общей науки: законы, которые откроет семиология, будут применимы и к лингвистике, и эта последняя, таким образом, окажется отнесенной к вполне определенной области в совокупности явлений человеческой жизни.

Точно определить место семиологии — задача психолога; задача лингвиста сводится к выяснению того, что выделяет язык как особую систему в совокупности семиологических явлений. Вопрос этот будет рассмотрен нами ниже; пока запомним лишь одно: если нам впервые удается найти лингвистике место среди наук, то это только потому, что мы связали ее с семиологией.

Почему же семиология еще не признана самостоятельной наукой, имеющей, как и всякая другая наука, свой особый объект изучения? Дело в том, что до сих пор не удается выйти из порочного круга: с одной стороны, нет ничего более подходящего для понимания характера семиологических проблем, чем язык, с другой стороны, для того чтобы как следует поставить эти проблемы, надо изучать язык как таковой; а между тем доныне язык почти всегда пытаются изучать в зависимости от чего-то другого, с чуждых ему точек зрения.

Прежде всего, существует поверхностная точка зрения широкой публики, усматривающей в языке лишь номенклатуру; эта точка зрения уничтожает самое возможность исследования истинной природы языка.

Затем существует точка зрения психологов, изучающих механизм знака у индивида; этот метод самый легкий, но он не ведет далее индивидуального акта речи и не затрагивает знака, по природе своей социального.

Но, даже заметив, что знак надо изучать как общественное явление, обращают внимание лишь на те черты языка, которые связывают его с другими общественными установлениями, более или менее зависящими от нашей воли, и таким образом проходят мимо цели, пропуская те черты, которые присущи только или семиологическим системам вообще, или языку в частности. Ибо знак всегда до некоторой степени ускользает от воли как индивидуальной, так и социальной, в чем и проявляется его существеннейшая, но на первый взгляд наименее заметная черта.

Именно в языке эта черта проявляется наиболее отчетливо, но обнаруживается она в такой области, которая остается наименее изученной; в результате остается неясной необходимость или особая полезность семиологии. Для нас же проблемы лингвистики—это прежде всего проблемы семиологические, и весь ход наших рассуждений получает свой смысл лишь в свете этого основного положения. Кто хочет обнаружить истинную природу языка, должен прежде всего обратить внимание на то, что в нем общего с иными системами того же порядка; а многие лингвистические факторы, кажущиеся на первый взгляд весьма существенными (например, функционирование органов речи), следует рассматривать лишь во вторую очередь, поскольку они служат только для выделения языка из совокупности семиологических систем. Благодаря этому не только прольется свет на проблемы лингвистики, но, как мы полагаем, при рассмотрении обрядов, обычаев и т. п. как знаков все эти явления также выступят в новом свете, так что явится потребность объединить их все в рамках семиологии и разъяснить их законами этой науки.

***Глава IV***

**Лингвистика языка и лингвистика речи**

Указав науке о языке принадлежащее ей по праву место в той области знания, которая занимается изучением речевой деятельности, мы тем самым определили место лингвистики в целом. Все остальные элементы речевой деятельности, образующие речь, естественно подчиняются этой науке, и именно благодаря этому подчинению все части лингвистики располагаются по своим надлежащим местам.

Рассмотрим для примера производство необходимых для речи звуков. Все органы речи являются столь же посторонними по отношению к языку, сколь посторонни по отношению к азбуке Морзе служащие для передачи ее символов электрические аппараты. Фонация, то есть реализация акустических образов, ни в чем не затрагивает самой их системы. В этом отношении язык можно сравнить с симфонией, реальность которой не зависит от способа ее исполнения; ошибки, которые могут сделать исполняющие ее музыканты, никак не вредят этой реальности.

Возражая против такого разделения фонации и языка, можно указать на факт фонетических трансформаций, то есть на те изменения звуков, которые происходят в речи и оказывают столь глубокое влияние на судьбы самого языка. В самом деле, вправе ли мы утверждать, что язык существует независимо от этих явлений? Да, вправе, ибо эти явления касаются лишь материальной субстанции слов. Если даже они и затрагивают язык как систему знаков, то лишь косвенно, через изменения происходящей в результате этого интерпретации знаков, а это явление ничего фонетического в себе не содержит. Могут представить интерес поиски причин этих изменений, чему и помогает изучение звуков, но не в этом суть: для науки о языке вполне достаточно констатировать звуковые изменения и выяснить их последствия.

То, что мы утверждаем относительно фонации, верно и в отношении всех прочих элементов речи. Деятельность говорящего должна изучаться целой совокупностью дисциплин, имеющих право на место в лингвистике лишь постольку, поскольку они связаны с языком.

Итак, изучение речевой деятельности распадается на две части; одна из них, основная, имеет своим предметом язык, то есть нечто социальное по существу и независимое от индивида; это наука чисто психическая; другая, второстепенная, имеет предметом индивидуальную сторону речевой деятельности, то есть речь, включая фонацию; она психофизична.

Несомненно, оба эти предмета тесно связаны между собой и предполагают друг друга: язык необходим, чтобы речь была понятна и тем самым была эффективна; речь в свою очередь необходима для того, чтобы сложился язык; исторически факт речи всегда предшествует языку. Каким образом была бы возможна ассоциация понятия со словесным образом, если бы подобная ассоциация предварительно не имела места в акте речи? С другой стороны, только слушая других, научаемся мы своему родному языку; лишь в результате бесчисленных опытов язык отлагается в нашем мозгу. Наконец, именно явлениями речи обусловлена эволюция языка: наши языковые навыки изменяются от впечатлений, получаемых при слушании других. Таким образом, устанавливается взаимозависимость между языком и речью: язык одновременно и орудие и продукт речи. Но все это не мешает языку и речи быть двумя совершенно различными вещами.

Язык существует в коллективе как совокупность отпечатков, имеющихся у каждого в голове, наподобие словаря, экземпляры которого, вполне тождественные, находились бы в пользовании многих лиц. Это, таким образом, нечто имеющееся у каждого, вместе с тем общее всем и находящееся вне воли тех, кто им обладает. Этот модус существования языка может быть представлен следующей формулой:

1+1+1+1….= I (коллективный образец)

Но каким образом в этом же самом коллективе проявляется речь? Речь — сумма всего того, что говорят люди; она включает: а) индивидуальные комбинации, зависящие от воли говорящих; б) акты фонации, равным образом зависящие от воли говорящих и необходимые для реализации этих комбинаций .

Следовательно, в речи нет ничего коллективного: проявления ее индивидуальны и мгновенны; здесь нет ничего, кроме суммы частных случаев по формуле

(1+1'+1"+1'"+...).

Учитывая все эти соображения, было бы нелепо объединять под одним углом зрения язык и речь. Речевая деятельность, взятая в целом, непознаваема, так как она неоднородна; предлагаемые же нами различения и иерархия (subordination) разъясняют все.

Такова первая дихотомия, с которой сталкиваешься, как только приступаешь к построению теории речевой деятельности. Надо избрать либо один, либо другой из двух путей и следовать по избранному пути независимо от другого; следовать двумя путями одновременно нельзя.

Можно в крайнем случае сохранить название лингвистики за обеими этими дисциплинами и говорить о лингвистике речи . Но ее нельзя смешивать с лингвистикой в собственнном смысле, с той лингвистикой, единственным объектом которой является язык.

Мы займемся исключительно этой последней, и, хотя по ходу изложения нам и придется иной раз черпать разъяснения из области изучения речи, мы всегда будем стараться ни в коем случае не стирать грань, разделяющую эти две области.

***Глава V***

**Внутренние и внешние элементы языка**

Наше определение языка предполагает устранение из понятия «язык» всего того, что чуждо его организму, его системе, — одним словом, всего того, что известно под названием «внешней лингвистики», хотя эта лингвистика и занимается очень важными предметами и хотя именно ее главным образом имеют в виду, когда приступают к изучению речевой деятельности.

Сюда, прежде всего, относится все то, в чем лингвистика соприкасается с этнологией, все связи, которые могут существовать между историей языка и историей расы или цивилизации. Обе эти истории сложно переплетены и взаимосвязаны, это несколько напоминает те соответствия, которые были констатированы нами внутри собственно языка. Обычаи нации отражаются на ее языке, а с другой стороны, в значительной мере именно язык формирует нацию.

Далее, следует упомянуть об отношениях, существующих между языком и политической историей. Великие исторические события — вроде римских завоеваний — имели неисчислимые последствия для многих сторон языка. Колонизация, представляющая собой одну из форм завоевания, переносит язык в иную среду, что влечет за собой изменения в нем. В подтверждение этого можно было бы привести множество фактов: так, Норвегия, политически объединившись с Данией (1380 - 1814 гг.), приняла датский язык; правда, в настоящее время норвежцы пытаются освободиться от этого языкового влияния. Внутренняя политика государства играет не менее важную роль в жизни языков: некоторые государства, например Швейцария, допускают сосуществование нескольких языков; другие, как, например, Франция, стремятся к языковому единству. Высокий уровень культуры благоприятствует развитию некоторых специальных языков (юридический язык, научная терминология и т. д.).

Это приводит нас к третьему пункту: к отношению между языком и такими установлениями, как церковь, школа и т. п., которые в свою очередь тесно связаны с литературным развитием языка, — явление тем более общее, что оно само неотделимо от политической истории. Литературный язык во всех направлениях переступает границы, казалось бы, поставленные ему литературой: достаточно вспомнить о влиянии на язык салонов, двора, академий. С другой стороны, вполне обычна острая коллизия между литературным языком и местными диалектами. Лингвист должен также рассматривать взаимоотношение книжного языка и обиходного языка, ибо развитие всякого литературного языка, продукта культуры, приводит к размежеванию его сферы со сферой естественной, то есть со сферой разговорного языка.

Наконец, к внешней лингвистике относится и все то, что имеет касательство к географическому распространению языков и к их дроблению на диалекты. Именно в этом пункте особенно парадоксальным кажется различие между внешней лингвистикой и лингвистикой внутренней, поскольку географический фактор тесно связан с существованием языка; и все же в действительности географический фактор не затрагивает внутреннего организма самого языка.

Нередко утверждается, что нет абсолютно никакой возможности отделить все эти вопросы от изучения языка в собственном смысле. Такая точка зрения возобладала в особенности после того, как от лингвистов с такой настойчивостью стали требовать знания реалий. В самом деле, разве грамматический «организм» языка не зависит сплошь и рядом от внешних факторов языкового изменения, подобно тому, как, например, изменения в организме растения происходят под воздействием внешних факторов — почвы, климата и т. д.? Кажется совершенно очевидным, что едва ли возможно разъяснить технические термины и заимствования, которыми изобилует язык, не ставя вопроса об их происхождении. Разве можно отличить естественное, органическое развитие некоторого языка от его искусственных форм, таких, как литературный язык, то есть форм, обусловленных факторами внешними и, следовательно, неорганическими? И разве мы не видим постоянно, как наряду с местными диалектами развивается койнэ?

Мы считаем весьма плодотворным изучение «внешнелингвистических», то есть внеязыковых, явлений; однако было бы ошибкой утверждать, будто без них нельзя познать внутренний организм языка. Возьмем для примера заимствование иностранных слов. Прежде всего следует сказать, что оно не является постоянным элементом в жизни языка. В некоторых изолированных долинах есть говоры, которые никогда не приняли извне ни одного искусственного термина. Но разве можно утверждать, что эти говоры находятся за пределами нормальных условий речевой деятельности, что они не могут дать никакого представления о ней, что они требуют к себе «тератологического» подхода как не испытавшие никакого смешения?

Главное, однако, здесь состоит в том, что заимствованное слово уже нельзя рассматривать как таковое, как только оно становится объектом изучения внутри системы данного языка, где оно существует лишь в меру своего соотношения и противопоставления с другими ассоциируемыми с ним словами, подобно всем другим, исконным словам этого языка. Вообще говоря, нет никакой необходимости знать условия, в которых развивался тот или иной язык. В отношении некоторых языков, например языка текстов Авесты или старославянского, даже неизвестно в точности, какие народы на них говорили; но незнание этого нисколько не мешает нам изучать их сами по себе и исследовать их превращения . Во всяком случае, разделение обеих точек зрения неизбежно, и чем строже оно соблюдается, тем лучше.

Наилучшее этому доказательство в том, что каждая из них создает свой особый метод. Внешняя лингвистика может нагромождать одну подробность на другую, не чувствуя себя стесненной тисками системы. Например, каждый автор будет группировать по своему усмотрению факты, относящиеся к распространению языка за пределами его территории; при выяснении факторов, создавших наряду с диалектами литературный язык, всегда можно применить простое перечисление; если же факты располагаются автором в более или менее систематическом порядке, то делается это исключительно в интересах изложения.

В отношении внутренней лингвистики дело обстоит совершенно иначе; здесь исключено всякое произвольное расположение. Язык есть система, которая подчиняется лишь своему собственному порядку. Уяснению этого может помочь сравнение с игрой в шахматы , где довольно легко отличить, что является внешним, а что внутренним. То, что эта игра пришла в Европу из Персии, есть факт внешнего порядка; напротив, внутренним является все то, что касается системы и правил игры. Если я фигуры из дерева заменю фигурами из слоновой кости, то такая замена будет безразлична для системы; но если я уменьшу или увеличу количество фигур, такая перемена глубоко затронет «грамматику» игры. Такого рода различение требует, правда, известной степени внимательности, поэтому в каждом случае нужно ставить вопрос о природе явления и при решении его руководствоваться следующим положением: внутренним является все то, что в какой-либо степени видоизменяет систему.

***Глава VI***

**Изображение языка посредством письма**

**§ 1. Необходимость изучения письма**

Итак, конкретным предметом нашего изучения является социальный продукт, который отражен в мозгу каждого, то есть язык. Но этот продукт у каждой языковой группы свой: конкретно нам даны разные языки. Лингвист должен знать возможно большее число языков, чтобы путем наблюдения над ними и сравнения их между собой извлечь из них то, что в них есть универсального.

Между тем по большей части мы знакомы с языками лишь в письменной форме. Даже в отношении нашего родного языка сплошь и рядом в качестве опосредствующего звена выступает письменный источник. Когда речь идет о языке, пространственно от нас удаленном, прибегать к письменным свидетельствам приходится в еще большей степени. В отношении же уже не существующих языков письменность вообще является единственным источником сведений. Располагать во всех случаях непосредственными данными можно было бы лишь при том условии, если бы уже достаточно давно делалось то, что ныне делается в Вене и Париже, — мы имеем в виду собирание фонографических образчиков всех языков. И все-таки и в этом случае пришлось бы прибегать к письму, чтобы сообщать другим сохраняемые таким образом тексты.

Итак, хотя письменность сама по себе и чужда внутренней системе языка, все же полностью отвлечься от письменности нельзя: ведь это та техника, с помощью которой непрестанно фиксируется язык; исследователю надо знать ее достоинства и недостатки, а также опасности, которые возникают при обращении к ней.

**§ 2. Престиж письма; причины его превосходства над устной формой речи**

Язык и письмо суть две различные системы знаков; единственный смысл второй из них — служить для изображения первой; предметом лингвистики является не слово звучащее и слово графическое в их совокупности, а исключительно звучащее слово. Но графическое слово столь тесно переплетается со словом звучащим, чьим изображением оно является, что оно в конце концов присваивает себе главенствующую роль; в результате изображению звучащего знака приписывается столько же или даже больше значения, нежели самому этому знаку. Это все равно, как если бы утверждали, будто для ознакомления с человеком полезнее увидеть его фотографию, нежели его лицо.

Такое заблуждение существует издавна, и ходячие о языке мнения этим именно и грешат. Так, обычно полагают, что при отсутствии письменности язык изменяется быстрее. Нет ничего более ошибочного! Правда, письмо может при некоторых условиях замедлять изменения в языке, но, с другой стороны, сохранность языка ничуть не страдает от отсутствия письменности. Литовский язык известен по письменным документам лишь с 1540 г., но и в эту позднюю эпоху он в общем представляет более верное изображение индоевропейского праязыка, нежели латынь III в. до нашей эры. Этого одного достаточно, чтобы показать, насколько язык не зависит от письма.

Некоторые очень тонкие языковые факты сохранились без помощи какого-либо письменного закрепления. В течение всего периода древневерхненемецкого языка писали *tōten, fūolen,stōzen,* а с конца XII века появляются написания *töten, füelen*, тогда как *stōzen* сохраняет свой прежний вид. Откуда это различие? Всюду, где произошло изменение *ο → ö*, u →ü*,* в следующем слоге имелось j*:* в прагерманском языке было *\*dauþjan, \*fōljan,* но *\*stautan.* На пороге письменного периода, около 800 г., это j ослабло до такой степени, что не отражалось на письме в течение трех столетий; между тем оно сохраняло некоторый след в произношении, и вот около 1180 г., как мы только что видели, оно удивительным образом проявилось в виде «умлаута». Таким образом, этот оттенок в произношении был в точности сохранен без помощи какой бы то ни было фиксации на письме.

Итак, у языка есть устная традиция, независимая от письма и в не меньшей мере устойчивая; не видеть это мешает престиж письменной формы. Первые лингвисты споткнулись на этом, как до них гуманисты эпохи Возрождения. Сам Бопп не делает ясного различия между буквой и звуком; читая работы Боппа, можно подумать, что язык неотделим от своего алфавита. Его непосредственные преемники запутались в этом так же, как и он. Обозначение фрикативного þчерез th дало Гримму повод не только считать этот звук двойным, но и полагать, что он придыхательный смычный; этим объясняется то место, которое отводится звуку þ(=th) в гриммовском законе передвижения согласных (так называемое Lautverschiebung). Доныне многие образованные люди смешивают язык с его орфографией; не говорил ли Гастон Дешан о Бертело, что тот «спас французский язык от гибели», выступив против орфографической реформы.

Чем же объясняется такой престиж письма?

1. Прежде всего, графический образ слов поражает нас как нечто прочное и неизменное, более пригодное, нежели звук, для обеспечения единства языка во времени. Пусть эта связь поверхностна и создает в действительности мнимое единство, все же ее гораздо легче схватить, чем естественную связь, единственно истинную, — связь звуковую.

2. У большинства людей зрительные впечатления яснее и длительнее слуховых, чем и объясняется оказываемое им предпочтение. Графический образ в конце концов заслоняет собою звук.

3. Литературный язык еще более усиливает незаслуженное значение письма. Он имеет свои словари и грамматики; по книге и через книгу обучаются в школе, литературный язык выступает как некоторая кодифицированная система, а соответствующий кодекс представляет собою письменный свод правил, подчиненный строгому узусу: орфографии. Все это придает письму первостепенную значимость. В конце концов начинают забывать, что говорить научаются раньше, чем писать, и естественное соотношение оказывается перевернутым.

4. Наконец, когда налицо расхождение между языком и орфографией, противоречие между ними едва ли может быть разрешено кем-либо, кроме лингвиста; но, поскольку лингвисты не пользуются никаким влиянием в этих делах, почти неизбежно торжествует письменная форма, потому что основываться на ней гораздо легче; тем самым письмо присваивает себе первостепенную роль, на которую не имеет права.

**§ 3. Системы письма**

Существуют две системы письма:

1. Идеографическое письмо, при котором слово изображается одним знаком, не зависящим от звуков, входящих в его состав. Этот знак представляет слово в целом и тем самым выражаемое этим словом понятие. Классический пример такой системы — китайская письменность.

2. Система, обычно называемая «фонетической», стремящаяся воспроизвести звуковую цепочку, представляющую слово. Фонетические системы письма бывают то слоговыми, то буквенными, то есть основанными на неразложимых элементах речи.

Впрочем, идеографические системы письма легко переходят в системы смешанного типа: некоторые идеограммы, утратив свое первичное значение, превращаются в изображение отдельных звуков.

Мы говорили, что написанное слово стремится вытеснить в нашем сознании произносимое слово; это верно в отношении обеих систем письма, но эта тенденция сильнее в первой. Для китайца и идеограмма и произносимое слово в одинаковой мере суть знаки понятия; для него письмо есть второй язык, и при разговоре, если два слова произносятся одинаково, ему иной раз приходится для выражения своей мысли прибегать к написанному слову. Но эта подстановка благодаря тому, что она может быть абсолютной, не имеет тех досадных последствий, какие наблюдаются в нашей письменности; китайские слова различных диалектов, соответствующие одному и тому же понятию, с одинаковым успехом связываются с одним и тем же графическим знаком.

Мы ограничимся рассмотрением фонетических систем письма, и в частности той, которая употребляется доныне и имеет своим прототипом греческий алфавит.

В момент, когда возникает алфавит такого рода, он достаточно разумно отражает состояние языка (если только речь не идет об алфавите заимствованном и уже содержащем непоследовательности). С логической точки зрения греческий алфавит безупречен, как это мы увидим ниже. Однако согласованность между написанием и произношением существует недолго. Рассмотрим причины этого.

**§ 4. Причины расхождения между написанием и произношением**

Причин этих много; мы приведем лишь важнейшие. Прежде всего, язык непрестанно развивается, тогда как письмо имеет тенденцию к неподвижности. Из этого следует, что написание в конце концов перестает соответствовать тому, что оно призвано изображать. Написание, последовательное в данный исторический момент, столетием позже оказывается нелепым. Вначале графический знак еще меняют, чтобы согласовать его с изменившимся произношением, но в дальнейшем от такого приспособления письма к произношению отказываются. Так, например, обстояло дело во французском с oi*.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Произносили | Писали |
| В XI в. | rei, lei | rei, lei |
| В XIII в. | roi, loi | roi, loi |
| В XIV в. | roe, loe | roi, loi |
| В XIX в. | rwa, lwa | roi, loi |

Как видим, в XI и XIII вв. еще сообразовывались с происходящими в произношении переменами: каждому этапу в истории языка соответствует определенный этап в истории орфографии. Но с XIV в. письмо застряло на мертвой точке, между тем как язык продолжал развиваться, и с этого момента возникло расхождение, все более растущее, между произношением и орфографией. В конце концов это укоренившееся несоответствие отозвалось на самой системе письма: графический комплекс oi получил значение, не соответствующее элементам, в него входящим.

Примеры можно было бы умножать до бесконечности. Так, например, почему пишут как mais и fait то, что произносится mε и fε*?* Почему с во французском часто имеет значение s? Потому что мы сохраняем написания, не имеющие разумного оправдания.

Эта причина действует во все времена; так, например, французское смягченное І перешло в йот: говорят evεje, muje, хотя продолжают писать éveiller «будить», mouiller «мочить».

Другая причина расхождения между написанием и произношением заключается в следующем: когда один народ заимствует у другого его алфавит, часто случается, что средства чужой графической системы оказываются плохо приспособленными к своей новой функции и приходится прибегать к уловкам: так, например, пользуются двумя буквами для изображения одного звука. Так случилось со звуком þ (фрикативный зубной глухой) в германских языках: за неимением в латинском алфавите соответствующего знака его стали изображать через th*.* Меровингский король Хильперик пытался добавить к латинским буквам особый знак для этого звука, но ему это не удалось, и обычай освятил употребление th*.* В средневековом английском языке были два е*:* закрытое (например, в sed «семя») и открытое (например, в led «вести»); за неимением в алфавите различных знаков для этих двух звуков придумали написание seedиlead*.* Во французском для изображения шипящего *s* прибегли к двойному знаку ch и т. д. и т. п.

Есть еще соображения этимологического порядка; в некоторые эпохи, например в эпоху Возрождения, они играли преобладающую роль. При этом весьма часто орфография устанавливалась под давлением ложной этимологии: так, ввели букву d во французское слово poids «вес», полагая, что оно восходит к латинскому pondus «вес», тогда как в действительности оно происходит от латинского pensum«взвешенное». Но не в том дело, правильно или нет применен принцип этимологического письма, ложен самый принцип.

В иных случаях причина отсутствует вовсе: некоторые причуды орфографии не оправдываются даже этимологически. Почему, например, по-немецки пишут thun вместо tun «делать»? Утверждают, будто h изображает придыхательный характер согласного t*,* но тогда hследовало бы ввести всюду, где имеется подобное же придыхание, а между тем во множестве слов оно никогда не писалось (ср. Tugend«добродетель», Tisch «стол» и др.).

**§ 5. Последствия расхождения между написанием и произношением**

Было бы слишком утомительно заниматься классификацией непоследовательностей орфографии. Одна из самых прискорбных непоследовательностей — это многочисленность знаков для одного звука. Так, во французском для звука *з* существуют написания j, g, ge (joli, geler, geai); для звука z — написания z и s*;* для звука s *—* написания s, с, ç, t (nation)*,* ss (chasser), sc (acquiescer), sç (acquiesçant), x (dix); для звука k *—* написания с, qu, k, ch, cc, cqu (acquérir). И наоборот, несколько звуковых значений изображаются одним знаком: так, tпредставляет как t, так и s*;* g изображает как g, так и z и т. д.

Отметим еще так называемые «косвенные написания». Хотя в немецких словах Zettel «листок». Teller «тарелка» и т. п. и нет двойных согласных, все же пишут tt, ll с единственной целью отметить, что предыдущий гласный является кратким и открытым. Вследствие подобного же рода заблуждения англичане добавляют в конце немое е, чтобы отметить удлинение предшествующего гласного: ср. made(произносится meid) «сделал» и mad (произносится mæd) «сумасшедший». Это е создает для глаза видимость второго слога.

Указанные нерациональные написания еще соответствуют чему-то в языке, но есть и такие, которые вовсе ничем не оправданы. В современном французском языке нет двойных согласных, за исключением старых форм будущего mourrai «умру», courrai «побегу», и, однако, французская орфография кишит неоправданными удвоениями вроде bourru «ворчун», sotisse «глупость», souffiir «страдать» и т. п.

Бывает и так, что орфография еще не установилась и в поисках правила проявляет колебания; получаются те колеблющиеся написания, которые свидетельствуют о производившихся в разные эпохи попытках по-разному изображать соответствующие звуки. Так, в древневерхненемецких словах ertha, erdha, erda или thrī, dhrī, drī графические знаки th, dh, d, несомненно, изображают один и тот же звуковой элемент. Но какой именно? На основании письма выяснить это немыслимо. Отсюда вытекает то затруднение, что при наличии двух написаний для одной формы не всегда возможно решить, действительно ли мы имеем дело с двумя разными произношениями. Письменные памятники двух соседних диалектов одно и то же слово изображают по-разному: один диалект через asca*,* другой —через ascha*.* Если это одинаковые звуки, то мы имеем дело с колеблющейся орфографией, в противном случае различие носит характер фонологический и диалектный, как в греческих формах paízō, paízdō, paíddō*.* Так же обстоит дело с двумя последовательными эпохами: в английских памятниках сначала встречается hwat, hweel и т. п., а потом what, wheel и т. п. Что это — смена орфографии или фонетическое изменение?

Из всего сказанного нельзя не сделать того вывода, что письмо скрывает язык от взоров: оно его не одевает, а рядит. Это хорошо иллюстрируется орфографией французского слова oiseau «птица»: ни один из его звуков (wazo) не изображается соответствующим ему знаком — от реального языкового образа в этом написании не осталось ничего.

Другой вывод заключается в том, что чем хуже письмо выполняет свою функцию изображения живой речи, тем сильнее становится тенденция опираться именно на него; составители грамматик из кожи лезут вон, чтобы привлечь внимание к письменной форме речи. Психологически все это легко объяснимо, но тем не менее весьма прискорбно по своим последствиям. Частое употребление слов «произносить», «произношение» санкционирует это заблуждение и переворачивает закономерное и реальное соотношение между письмом и языком. Когда говорят, что нужно так-то и так-то произносить данную букву, то зрительное изображение принимают за оригинал. Для того чтобы oi произносилось wa*,* необходимо, чтобы о; существовало само по себе; в действительности же существует само по себе лишь wa*,* которое обозначается на письме через оi. Чтобы объяснить столь странное явление, добавляют, что в данном случае дело идет об исключении в произношении букв о и i*;* но такое объяснение тоже неверно, потому что тем самым признается зависимость языка от написания. Можно подумать, что при произнесении oi как wa нарушаются законы письма, как если бы нормой был графический знак.

Эти фикции обнаруживаются даже в грамматических правилах, например в правиле об h во французском языке. Имеются французские слова с начальным гласным без предшествующего h*,* которые, однако, пишутся с начальным h в силу воспоминания об их латинской форме: так, пишут homme (прежде — ome) по связи с латинским homo «человек». Однако существуют другие слова, германского происхождения, где h действительно произносилось: hache «топор», hareng «селедка», honte «стыд» и др. Пока этот начальный h сохранялся в произношении, такие слова подчинялись законам сочетания при начальных согласных: deux в сочетании deux haches произносили dø; leв сочетании le hareng произносили h*,* тогда как deuxв сочетании deux hommes произносили døz, а le в сочетании l'homme произносили l и где, таким образом, при наличии начального гласного во втором слове действовало правило слияния (liaison) и происходили элизии. В ту пору правило «Перед придыхательным h слияния и элизии не происходит» имело реальный смысл. Но теперь эта формула лишена какого бы то ни было смысла, поскольку придыхательного h в начале слов больше не существует, если только не называть придыханием то, что не является звуком, но перед чем тем не менее не происходит ни слияния, ни элизии. Здесь мы имеем, таким образом, порочный круг, а h *—* лишь фикция, порожденная письмом.

Произношение слова определяется не его орфографией, а его историей. В каждый данный момент времени его форма представляет определенный этап эволюции, следовать которой оно вынуждено и которая регулируется точными законами. Каждый этап может быть определен предыдущим. Единственно, что подлежит рассмотрению, как раз то, о чем чаще всего забывают, — это происхождение слова, его этимология.

Название города Auch в фонетической транскрипции будет о∫*.* Это единственный случай во французской орфографии, где конечное ch изображает звук ∫*.* Не будет объяснением, если сказать: конечное ch произносится как ∫ только в этом слове. По существу, вопрос заключается лишь в том, каким образом латинское Auscii могло видоизмениться в o∫; орфография тут ни при чем.

Как надо произносить gageure «заклад»: с œ или y?

Одни отвечают: gazœ:r*,* потому что heure «час» произносится œ:r*.* Другие возражают: нет, gazy:r, так как ge равносильно z(?), например в geôle «тюрьма». Пустой спор! Вопрос, по сути, этимологический: gageure образовано от gager «закладывать», как toumure «оборот»—от tourпеr «вертеть, оборачивать»: оба они принадлежат к одному и тому же типу словообразования; следовательно, правильно только gazy:r, произношение gazœ:r вызвано лишь двусмысленностью написания.

Однако тирания буквы заходит еще дальше: подчиняя себе массу говорящих, она тем самым может влиять на язык и менять его. Это случается лишь в высокоразвитых, литературно обработанных языках, где письменные тексты играют значительную роль. В такой обстановке зрительный образ может создавать ошибочные произношения. Примеры этого, собственно говоря, патологического явления часто встречаются во французском языке. Так, фамилия Lefèvre (от лат. faber «кузнец») писалась двояко: по-народному и просто Lefèvre*,* по-ученому и этимологически Lefèbvre*.* Вследствие смешения в старинной графике букв ν и и, Lefèbvre стало читаться Lefèbure, с буквой b*,* которой никогда не было в этом слове, и с буквой и*,* которая появилась в нем по недоразумению. Между тем теперь эта форма произносится именно так.

Вероятно, такие деформации буцут случаться все чаще и чаще, и все чаще и чаще будут произноситься лишние буквы. В Париже уже говорят sept femmes, произнося букву t. Дармстетер предвидит день, когда будут произносить даже обе конечные буквы слова vingt, что является поистине орфографическим уродством.

Эти звуковые деформации относятся, конечно, к языку, но они не вытекают из его естественного функционирования; они вызываются внеязыковым фактором. Лингвистика должна их изучать в особом разделе — это случаи тератологические.

***Глава VII***

**Фонология**

**§ 1. Определение** **фонологии**

Пытаясь усилием мысли отрешиться от создаваемого письмом чувственного образа речи, мы рискуем оказаться перед бесформенной массой, с которой неизвестно, что делать. На ум приходит ситуация с человеком, которого учат плавать и у которого только что отняли его пробковый пояс.

Надо как можно скорее заменить искусственное естественным; но это невозможно, поскольку звуки языка изучены плохо; освобожденные от графических изображений звуки представляются нам чем-то весьма неопределенным; возникает соблазн предпочесть — пусть обманчивую — опору графики. Именно так первые лингвисты, ничего не знавшие из физиологии артикулируемых звуков, то и дело попадали впросак; расстаться с буквой значило для них потерять почву под ногами; для нас же это первый шаг к научной истине, ибо необходимую нам опору мы находим в изучении самих звуков. Лингвисты новейшего времени наконец это поняли; взявшись сами за изыскания, начатые другими (физиологами, теоретиками пения и т. д.), они обогатили лингвистику вспомогательной наукой, освободившей ее от подчинения графическому слову.

Физиология звуков (по-немецки Laut- или Sprachphysiologie) часто называется фонетикой (по-немецки Phonetik, англ. phonetics). Этот термин нам кажется неподходящим. Мы заменяем его термином *фонология,* ибо *фонетика* первоначально означала и должна по-прежнему означать учение об эволюции звуков; недопустимо смешивать под одним названием две совершенно различные дисциплины. Фонетика — наука историческая: она анализирует события, преобразования и движется во времени. Фонология находится вне времени, так как механизм артикуляции всегда остается тождественным самому себе.

Но эти две дисциплины не только не совпадают, они даже не могут противопоставляться. Первая — один из основных разделов науки о языке; фонология же (и мы на этом настаиваем) для науки о языке — лишь вспомогательная дисциплина и затрагивает только речь. Разумеется, трудно себе представить, для чего служили бы движения органов речи, если бы не существовало языка; но не они составляют язык, и, разъясняя все движения органов речи, необходимые для производства каждого акустического впечатления, мы тем самым нисколько не освещаем проблемы языка. Язык есть система, основанная на психическом противопоставлении акустических впечатлений, подобно тому как художественный ковер есть про изведение искусства, созданное путем зрительного противопоставления нитей различных цветов; и для анализа такого художественного произведения имеет значение игра этих противопоставлений, а не способы получения каждого цвета.

Очерк системы фонологии будет дан нами ниже; здесь же мы только рассмотрим, на какую помощь со стороны этой науки может рассчитывать лингвистика, чтобы освободиться от иллюзий, создаваемых письменностью.

**§ 2. Фонологическое письмо**

Лингвист прежде всего требует, чтобы ему было предоставлено такое средство изображения артикулируемых звуков, которое устраняло бы всякую двусмысленность. Для этого уже предлагалось множество графических систем.

На каких принципах должно основываться подлинно фонологическое письмо? Оно должно стремиться изображать одним знаком каждый элемент речевой цепочки. Требование это не всегда принимается во внимание: так, английские фонологи, которые заботятся не столько об анализе, сколько о классификации, употребляют для некоторых звуков знаки из двух и даже трех букв. Кроме того, следовало бы проводить строгое различие между эксплозивными и имплозивными звуками.

Стоит ли заменять фонологическим алфавитом существующую орфографию? Этот интересный вопрос может быть здесь затронут лишь вскользь; по нашему мнению, фонологическое письмо должно обслуживать только одних лингвистов. Прежде всего, едва ли возможно заставить принять единообразную систему и англичан, и немцев, и французов и т. д. Кроме того, алфавит, применимый ко всем языкам, грозил бы быть перегруженным диакритическими значками, не говоря уже об удручающем виде хотя бы одной страницы такого текста; совершенно очевидно, что в погоне за точностью такое письмо не столько способствовало бы чтению, сколько затрудняло и сбивало бы с толку читателя. Эти неудобства не могли бы быть возмещены достаточными преимуществами. За пределами науки фонологическая точность не очень желательна.

Коснемся в связи с этим вопроса о способах чтения. Дело в том, что мы читаем двумя способами: новое или неизвестное слово прочитывается нами буква за буквой, а слово привычное и знакомое схватывается глазами сразу, вне зависимости от составляющих его букв; образ этого слова приобретает для нас идеографическую значимость. В этом отношении традиционная орфография законно предъявляет свои права: полезно различать tant «столько» и temps «время», et «и», est «есть» и ait «имел бы», du (артикль) и dû «должный», il devait «он был должен» и ils devaient «они были должны» и т. п. Пожелаем только одного, чтобы общепринятая орфография освободилась от своих вопиющих нелепостей. Если при преподавании языков фонологический алфавит может оказывать услуги, это не значит, что его применение нужно сделать всеобщим.

**§ 3. Критика показаний письменных источников**

Итак, ошибочно думать, будто, признав обманчивый характер письма, надо первым делом реформировать орфографию. Подлинная услуга, оказываемая нам фонологией, заключается в том, что благодаря ей мы получаем возможность принимать определенные меры предосторожности в отношении той письменной формы, через которую мы получаем доступ к языку. Всякие данные, получаемые посредством письма, ценны лишь при условии его правильного истолкования. В каждом данном случае надо установить фонологическую систему изучаемого языка, то есть таблицу используемых им звуков; в самом деле, каждый язык пользуется лишь ограниченным количеством четко дифференцированных фонем. Такая система есть единственная реальность, интересующая лингвиста. Графические знаки — только ее отображения, точность которых подлежит выяснению. Трудность такого выяснения различна в зависимости от языка и обстоятельств.

Когда речь идет о языке, принадлежащем прошлому, мы вынуждены довольствоваться косвенными данными; какие же средства применимы в этом случае для установления фонологической системы?

1. Прежде всего *внешние показатели,* и в первую очередь свидетельства современников, описывавших звуки и произношение своего времени. Так, французские грамматисты XVI и XVII вв., в особенности те из них, которые желали ознакомить иностранцев с французским произношением, оставили нам много интересных замечаний. Но этот источник сведений весьма ненадежен, потому что эти авторы совсем не владели фонологическим методом. Их описания выполнены в случайных терминах без всякой научной точности. Их свидетельства в свою очередь требуют истолкования. Даваемые звукам названия весьма часто порождают сплошное недоумение: так, греческие грамматики называли звонкие взрывные согласные b*,* d, g «средними» (mésai), а глухие взрывные p, t, k«лысыми», «голыми» (psïlaí, то есть, переносно, «лишенные густого придыхания»), что римляне переводили как «тонкие» (tenuēs).

2. К более надежным результатам можно прийти, комбинируя данные этого первого типа с *внутренними показателями,* которые мы распределяем по двум рубрикам:

а) Показатели, извлекаемые из факта регулярности фонетических изменений.

Когда речь идет об определении значимости какой-либо буквы, весьма важно бывает указать, чем был в более раннюю эпоху изображаемый ею звук. Нынешняя ее значимость получилась в результате эволюции, позволяющей сразу же отвести некоторые предположения. Так, мы в точности не знаем значимости санскритского знака, транскрибируемого нами посредством ç, но поскольку передаваемый им звук восходит к индоевропейскому небному k, постольку количество обоснованных предположений заметно ограничивается.

Если наряду с исходной точкой известна еще параллельная эволюция аналогичных звуков того же языка в ту же эпоху, то можно умозаключать по аналогии и вывести соответствующую пропорцию. [Так, в письме текстов Авесты звукоряд, соответствующий индоевропейскому tr*,* обозначался посредством þr в начале слова и посредством dr в середине слова; в то же самое время звукоряд, соответствующий индоевропейскому pr, всюду изображался единообразно через fr.Обе эволюции должны были быть параллельными; отсюда следует, что dr должно было произноситься точно так же, как þr*,* поскольку f является фрикативным глухим, а не взрывным звонким].

Проблема, естественно, облегчается, если требуется определить промежуточное произношение, исходная и конечная точка которого известны . Французское сочетание аи (например, в слове sauter«прыгать»), несомненно, в средние века было дифтонгом, так как оно занимает промежуточное положение между более ранним а1 и современным французским о; и, если иным путем устанавливается, что в данный момент еще существовал дифтонг аи*,* не подлежит сомнению, что он существовал и в предыдущий период. Мы в точности не знаем, что обозначает z в таком древневерхненемецком слове, как wazer «вода», но ориентировочными точками являются, с одной стороны, более древнее water*,* с другой — современная форма Wasser*.* Следовательно, это z является звуком, промежуточным между t и s; мы можем отбросить всякую гипотезу, которая исходит из близости только с s или только с t; например, неправильно думать, что эта буква изображала небный звук, ибо между двумя зубными артикуляциями возможно предположить лишь зубную.

б) Косвенные указания, которые могут быть разными по своему характеру.

Начнем с разнообразия написаний. В определенную эпоху древневерхненемецкого языка писали wazer «вода», zehan «десять», ezan «есть», но никогда не писали wacer, cehan и т. д. Если, с другой стороны, встречается и esan и essan, waser и wasser и т. д., то отсюда можно заключить, что буква z звучала очень близко к s*,* но довольно отлично от того, что в ту эпоху изображалось через с. Если в дальнейшем начинают попадаться формы типа wacer и т. д., то это свидетельствует о том, что названные две фонемы, прежде все же различавшиеся, в большей или меньшей степени совпали.

Ценным материалом для изучения произношения являются поэтические тексты; система стихосложения связана с числом слогов, с их количеством (долгота), с повторением одинаковых звуков (аллитерация, ассонанс, рифма); поэтические тексты могут содержать ценные сведения по соответствующим вопросам фонологии. В греческом языке некоторые долгие различаются графически (например, ō, изображаемое графемой ω), а другие — нет, так что о количестве *a, i* или *и* приходится справляться у поэтов. В старофранцузском языке рифма позволяет, между прочим, определить, до какой эпохи конечные согласные в словах gras «жирный» и faz (лат. faciō «делаю») различались и с какого момента они стали сближаться и совпадать. Рифма и ассонанс также показывают нам, что в старофранцузском языке все *е,* происходящие от лат. *а* (например, рèrе «отец» от patrem, tel «таковой» от talem, mer «море» от mare), имели звук, совершенно отличный от прочих е. Эти слова никогда не рифмуются и не ассонируют с такими, как elle «она» (от лат. bella), vert «зеленый» (от лат. viridem), belle «прекрасная» (от лат. bella) и т. д.

Упомянем в заключение о написании слов, заимствованных из иностранного языка, об игре слов, о каламбурах и т. п.

Все эти источники информации помогают нам до некоторой степени познать фонологическую систему прошлой эпохи и критически использовать свидетельства письменных памятников.

Когда дело касается живого языка, единственно рациональным методом является, во-первых, установление системы звуков, как она выявляется непосредственным наблюдением; во-вторых, сопоставление ее с системой знаков, служащих для изображения (хотя и неточного) звуков. Многие грамматисты придерживаются еще старого метода, уже подвергнутого нами критике и сводящегося к указанию того, каким образом в описываемом языке произносится каждая буква. Но таким путем невозможно получить ясное представление о фонологической системе данного языка.

И все же несомненно, что в данной области достигнуты уже немалые успехи и что фонологи во многом способствовали изменению наших взглядов на вопросы письма и орфографии.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ВВЕДЕНИЮ**

**Основы фонологии**

***Глава I***

**Фонологические типы**

**§ 1. Определение фонемы**

Многие фонологи обращают внимание исключительно на акт фонации, на образование звуков органами речи (гортанью, в полости рта и т. д.), то есть на физиологическую сторону, и пренебрегают акустической стороной. Такой подход неправилен: слуховое впечатление дано нам столь же непосредственно, как и двигательный образ органов речи; более того, именно слуховое впечатление является естественной базой для всякой теории .

Акустическая данность воспринимается нами, хотя и бессознательно, еще до того, как мы приступаем к рассмотрению фонологических единиц; на слух мы определяем, имеем ли мы дело со звуком bили со звуком t и т. д. Если бы оказалось возможным при помощи киносъемки воспроизвести все движения рта или гортани, порождающие звуковую цепочку, то в этой смене артикуляций нельзя было бы вскрыть внутренние членения: начало одного звука и конец другого. Как можно утверждать, не прибегая к акустическому впечатлению, что, например, в звукосочетании fāl имеется три единицы, а не две и не четыре? Только в акустической цепочке можно непосредственно воспринять, остается ли звук тождественным самому себе с начала до конца или нет; поскольку сохраняется впечатление чего-то однородного, звук продолжает оставаться самим собой. Значение имеет вовсе не его длительность в одну восьмую или одну шестнадцатую такта (cp. fāl и făl), а качество акустического впечатления. Акустическая цепочка распадается не на равновеликие, а на однородные такты, характеризуемые единством акустического впечатления, — в этом одном и состоит естественная отправная точка для фонологического исследования.

В этом отношении вызывает удивление первоначальный греческий алфавит. Каждый простой звук изображается в нем одним графическим знаком, и, наоборот, каждый знак соответствует одному, всегда одному и тому же простому звуку. Это гениальное открытие унаследовали от греков римляне. В написании слова bárbaros «варвар» каждая буква соответствует однородному такту:

|Β|Α|Ρ|Β|Α|Ρ|Ο|Σ|

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

На этом чертеже горизонтальная линия изображает звуковую цепочку, вертикальные черточки — переходы от одного звука к другому, а промежутки между вертикальными черточками — однородные такты. В первоначальном греческом алфавите нет места сложным написаниям типа французского «сh» в значении ∫*,* ни двояким изображениям одного и того же звука типа «с» и «s» для s*;* нет также места и простым знакам для изображения двух звуков типа «х» в значении ks*.* Принципы, необходимые и достаточные для хорошего фонологического письма, греки реализовали почти полностью.

Другие народы не осознали этого принципа; применяемые ими алфавиты не разлагают речевую цепочку на однородные акустические отрезки. Например, киприоты остановились на более сложных единицах типа pa, ti, ko и т. д.; такое письмо называют слоговым, что не вполне точно, поскольку слог может быть образован и другими способами, как, например, pak, tra и т. д. Что касается семитов, то они обозначали лишь согласные; слово bárbaros они написали бы так: BRBRS.

Разграничение звуков в речевой цепочке может, следовательно, основываться только на акустическом впечатлении; иначе обстоит дело с их описанием, которое возможно лишь на базе артикуляционного акта, ибо цепочка акустических единиц сама по себе недоступна анализу; приходится прибегать к артикуляционной цепочке. При этом оказывается, что одному и тому же звуку соответствует одна и та же артикуляция: b (акустический такт)= b' (артикуляционный такт). Первичные единицы, получаемые при расчленении речевой цепочки, состоят из b и b'*;* их называют *фонемами·,* фонема — это сумма акустических впечатлений и артикуляционных движений, совокупность слышимой единицы и произносимой единицы, из коих одна обусловлена другой; таким образом, это единица сложная, имеющая опору как в той, так и в другой цепочке .

Элементы, получаемые первоначально при анализе речевой цепочки, являются как бы звеньями этой цепочки, неразложимыми моментами, которые нельзя рассматривать вне занимаемого ими времени. Так, сочетание типа ta всегда будет одним моментом плюс другой момент, одним отрезком определенной протяженности плюс другой отрезок. Наоборот, неразложимый отрезок t*,* взятый отдельно, может рассматриваться in abstracto, вне времени. Можно говорить о t вообще как о типе Т (типы мы будем изображать заглавными буквами), об i как о типе I, обращая внимание лишь на отличительные свойства и пренебрегая всем тем, что зависит от последовательности во времени. Подобным же образом сочетание музыкальных звуков do, re, mi может трактоваться лишь как конкретная последовательность во времени, но, если я возьму один из его неразложимых элементов, я могу рассматривать его in abstracto.

Проанализировав достаточное количество речевых цепочек, принадлежащих к различным языкам, можно выявить и упорядочить применяемые в них элементы; при этом оказывается, что если пренебречь безразличными акустическими оттенками, то число обнаруживающихся типов не будет бесконечным. Их перечень и подробное описание можно найти в специальных работах; мы же постараемся показать, на какие постоянные и очень простые принципы опирается всякая подобная классификация.

Однако прежде скажем несколько слов о речевом аппарате, о возможностях органов речи и о роли этих органов в качестве производителей звуков.

**§ 2. Артикуляционный аппарат и его функционирование**

Для описания речевого аппарата мы ограничимся схематическим чертежом, где А обозначает полость носа, В — полость рта, С — гортань с голосовой щелью ε между двумя голосовыми связками.



Во рту важно различать губы α и a, язык β — γ (β обозначает кончик языка, а γ — само тело языка), верхние зубы d, [альвеолы е], нёбо, на котором различают переднюю часть f — h, твердую и неподвижную, и заднюю часть i, мягкую и подвижную, иначе называемую нёбной занавеской, и, наконец, язычок δ*.*

Греческие буквы обозначают органы, активно участвующие в артикуляции, латинские буквы — пассивные органы.

Голосовая щель ε, образуемая двумя параллельными мускулами, голосовыми связками, раскрывается при их размыкании и закрывается при их смыкании. Полное смыкание в счет не идет, размыкание же бывает то широким, то узким. В первом случае воздух проходит свободно, и голосовые связки не вибрируют; во втором случае прохождение воздуха вызывает звучащие вибрации.

Полость носа — орган совершенно неподвижный; доступ в нее воздуха может быть прегражден поднятием нёбной занавески; это, таким образом, просто проход — открытый или закрытый.

Полость же рта представляет широкий простор для всевозможных артикуляций: с помощью губ можно увеличить длину канала, можно надувать или сжимать щеки, суживать или даже закрывать полость рта разнообразнейшими движениями губ и языка.

Роль всех этих органов в качестве производителей звука прямо пропорциональна их подвижности: однообразие в функциях гортани и полости носа, разнообразие в функциях полости рта. Выдыхаемый из легких воздух сперва проходит через голосовую щель, где от сближения голосовых связок возможно образование так называемого голосового тона. Но артикуляция гортани не способна произвести такие фонологические разновидности, которые позволили бы различать и классифицировать звуки языка; в этом отношении голосовой тон однообразен. Будучи воспринят непосредственно при выходе из голосовой щели, он представился бы нам по своему качеству приблизительно постоянным.

Полость носа служит исключительно резонатором для проходящих через него звуковых колебаний; следовательно, она тоже не играет роли производителя звуков. Напротив, полость рта сочетает функции генератора звука и резонатора. Если голосовая щель широко раскрыта, то голосовые связки не колеблются и возникающий звук исходит только из полости рта (мы предоставляем физикам определять, звук это или просто шум). Если же, наоборот, сближение голосовых связок приводит к их колебанию, рот выступает главным образом в качестве модификатора голосового тона.

Таким образом, факторы, могущие участвовать в производстве звука, суть: экспирация (выдох), артикуляция в полости рта, вибрация голосовых связок и носовой резонанс.

Но простого перечисления этих факторов производства звуков недостаточно для определения дифференциальных элементов фонем. Для классификации этих последних важно знать не столько то, как они образуются, сколько то, чем они отличаются одна от другой. При этом отрицательный фактор может больше значить для классификации, чем фактор положительный. Например, экспирация — положительный фактор, но она не имеет различительной значимости, поскольку она участвует в каждом акте фонации; отсутствие же носового резонанса — фактор отрицательный, но отсутствие носового резонанса столь же значимо для характеристики фонем, как и наличие его. Дело в том, что два из перечисленных выше фактора — а) экспирация и б) роговая артикуляция — постоянны, необходимы и достаточны для производства звуков, тоща как два других фактора — в) вибрация голосовых связок и г) носовой резонанс — могут либо отсутствовать, либо добавляться к двум первым.

С другой стороны, мы уже знаем, что экспирация, вибрация голосовых связок и носовой резонанс, по существу, однообразны, тогда как ротовая артикуляция включает бесчисленные разновидности.

Кроме того, нельзя забывать, что для идентификации фонемы достаточно определить соответствующий акт фонации и что, с другой стороны, можно определить все типы фонем через идентификацию всех актов фонации. Между тем эти акты, как явствует из нашей классификации факторов, участвующих в образовании звука, различаются лишь с помощью трех последних («б», «в», «г») из перечисленных факторов. Таким образом, в отношении каждой фонемы возникает потребность установить: какова ее ротовая артикуляция, включает ли она голосовой тон (~~) или нет ([ ]), включает ли она носовой резонанс ( ...... ) или нет ([ ]). Когда один из этих трех элементов не определен, идентификация звука является неполной, но, коль скоро все три известны, их различные сочетания определяют все существенные типы актов фонации.

Получается таким образом нижеследующая схема возможных разновидностей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| а | Экспирация | Экспирация | Экспирация | Экспирация |
| б | Ротовая артикуляция | Ротовая артикуляция | Ротовая артикуляция | Ротовая артикуляция |
| в | [ ] | ~~ | [ ] | ~~ |
| г | [ ] | [ ] | **…..** | **…..** |

Столбец I обозначает *глухие* звуки, столбец II — *звонкие* звуки, столбец III — *глухие назализованные* звуки, столбец IV — *звонкие назализованные* звуки.

Но одно неизвестное остается: характер ротовой артикуляции; следовательно, необходимо определить ее возможные разновидности.

**§ 3. Классификация звуков в соотношении с их ротовой артикуляцией**

Обычно звуки классифицируют по месту их образования. Мы примем иную отправную точку. Где бы артикуляция ни локализовалась, она всегда представляет собою некоторую степень раствора;

пределами являются полная смычка и максимальное размыкание. Основываясь на этом признаке и двигаясь от наименьшего раствора к наибольшему, разобьем все звуки на семь категорий, обозначив их цифрами 0,1, 2, 3,4, 5,6. Внутри каждой из этих категорий мы будем распределять фонемы по группам в зависимости от места их образования.

Мы будем придерживаться общепринятой терминологии, хотя во многих отношениях она и несовершенна и неточна: такие термины, как заднеязычные, нёбные, зубные, плавные и т. д., все более или менее нелогичны. Было бы более рационально разделить небо на несколько зон, чтобы, опираясь на артикуляции языка, в каждом случае всегда можно было указать, против какой из зон приходится точка наибольшего приближения языка. Исходя из этой мысли и используя буквы рисунка, мы будем выражать каждую артикуляцию посредством формулы, где цифра, обозначающая степень раствора, помещена между обозначающей активный орган греческой буквой слева и обозначающей пассивный орган латинской буквой справа. Так, формула βOе означает, что при степени раствора, совпадающей с полной смычкой, кончик языка β прикасается к альвеолам верхних зубов е.

Наконец, внутри каждой артикуляции типы фонем отличаются друг от друга в зависимости от наличия или отсутствия голосового тона или носового резонанса, причем как наличие, так и отсутствие того или другого служит средством дифференциации фонем.

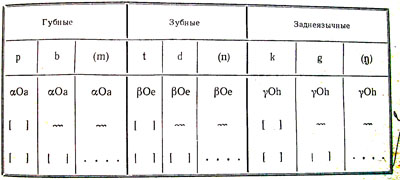
Итак, мы будем классифицировать звуки согласно вышеизложенным принципам. Так как речь идет только о простой схеме рациональной классификации, то не следует рассчитывать найти в ней фонемы сложного или специального характера, каково бы ни было их практическое значение, как, например, придыхательные (ph, dh и др.), аффрикаты (t∫, dž, pf др.), палатализованные согласные, слабые гласные (ə или «немое» е и др.), и, с другой стороны, те простые фонемы, которые лишены практического значения и не выступают как различаемые звуки.

А. НУЛЕВАЯ СТЕПЕНЬ РАСТВОРА: СМЫЧНЫЕ. В этот класс входят все фонемы, образуемые полным смыканием, герметическим, но мгновенным затвором полости рта. Нет смысла разбирать, производится ли звук в момент смыкания или в момент размыкания; реально он может производиться обоими этими способами.

В зависимости от места артикуляции различаются три главные группы смычных: губные (р, b, т), зубные (t, d, n), заднеязычные (k, g, η).

Первые артикулируются обеими губами; при артикуляции вторых кончик языка прикасается к передней части неба; при артикуляции третьих спинка языка соприкасается с задней частью неба. Во многих языках, например в индоевропейском, четко различались две заднеязычные артикуляции: одна — палатальная — в точках f — h,другая — велярная — в точке i. Но в других языках, например во французском, это различие роли не играет, и заднее k в слове courtвоспринимается ухом так же, как переднее k в слове qui.

В нижеследующей таблице приведены формулы всех этих фонем:



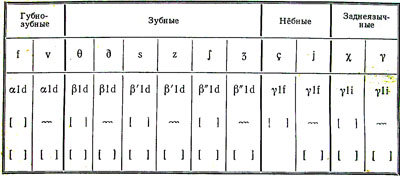
Носовые m, n, η собственно говоря, являются звонкими назализованными смычными: когда произносится amba, мягкое небо приподнимается, чтобы закрыть проход в нос в момент перехода от m к b.

Теоретически в каждой группе имеется еще одна носовая без вибрации голосовых связок, иначе говоря, глухая фонема: так, например, в скандинавских языках после глухих появляется m глухое; примеры подобного рода можно было бы найти и во французском языке, но говорящие не усматривают в глухости французских носовых дифференциальный элемент.

В таблице носовые заключены в скобки; дело в том, что, хотя их артикуляция включает полное смыкание рта, открытый выход в нос сообщает им более высокую степень раствора (см. класс В).

Б. ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ РАСТВОРА: ФРИКАТИВНЫЕ ИЛИ СПИРАНТЫ. Они характеризуются неполным смыканием в полости рта, не препятствующим проходу воздуха. Термин «спиранты» расплывчат; термин «фрикативные», хотя он и ничего не говорит о степени раствора, напоминает о впечатлении трения, производимого проходящим воздухом (лат fricāre «тереть»).

В этом классе нельзя ограничиться тремя группами, как в первом классе. Собственно губные (соответствующие смычным р, b) употребляются чрезвычайно редко; мы их в расчет не принимаем; обычно они заменяются губно-зубными, образованными сближением нижней губы с верхними зубами (французские f, v). Зубные распадаются на несколько разновидностей в зависимости от той формы, какую принимает при сближении кончик языка; не детализируя их, мы обозначим через β, β', β" различные положения кончика языка. В звуках, имеющих отношение к нёбу, ухо в общем различает более переднюю артикуляцию (нёбные) и более заднюю артикуляцию (заднеязычные или велярные).



Существуют ли фрикативные, соответствующие m, n, η и др. в ряду смычных, то есть носовое v, носовое z и т. д.? Это вполне вероятно. Так, носовое v слышится во французском слове inventer*,* но в общем носовые фрикативные не принадлежат к числу осознаваемых звуков в языке.

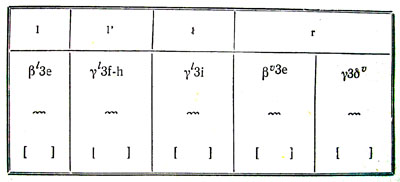
В. ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ РАСТВОРА: НОСОВЫЕ.

Г. ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ РАСТВОРА: ПЛАВНЫЕ. К второму классу относятся артикуляции двух типов.

1. *Латеральная* артикуляция: язык упирается в переднюю часть неба, но оставляет проход справа и слева. Положение это в наших формулах изображается через надстрочное t. По месту артикуляции различаются l зубное, l' небное или «смягченное» и ł велярное или «твердое». Почти во всех языках эти фонемы звонкие, подобно b, z и др. Однако возможны и глухие латеральные, как, например, во французском языке, где l, следующее за глухой, произносится без голосового тона (например, в слове pluie в противоположность l в слове bleu); однако мы не сознаем этого различия.

Не стоит говорить о носовом l, весьма редком и неразличаемом, хотя оно и встречается, в особенности после носового согласного (например, во французском branlant).

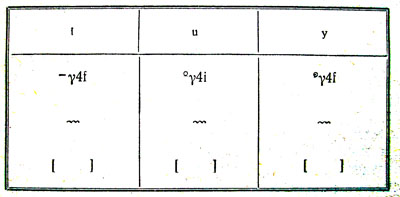
2. *Вибрантная* артикуляция: язык приближается к небу, но в меньшей степени, чем при l; при этом он вибрирует, впрочем с неопределенным числом колебаний (знак надстрочное υ в формулах), чем достигается степень раствора, примерно такая, как у латеральных. Эта вибрация может производиться двумя способами: кончиком языка, который касается альвеол, то есть спереди (так называемое «раскатистое» r), или задней частью языка, сзади (так называемое «картавое» r). По поводу глухих и носовых вибрантов можно повторить сказанное выше о латеральных.



За третьей степенью раствора мы вступаем уже в иную область: от *согласных* мы переходим к *гласным.* До сих пор мы не предупреждали о существовании такого различия, и это потому, что как при тех, так и при других механизм фонации остается одним и тем же. Формула гласного вполне сравнима с формулой любого звонкого согласного. С точки зрения ротовой артикуляции между ними никакого различия нет. Отличается только акустический эффект. Превысив определенную степень раствора, рот начинает функционировать главным образом как резонатор. Доминирующим становится голосовой тон, а шум в полости рта скрадывается. Чем более закрывается рот, тем слабее становится голосовой тон; чем более он открывается, тем больше уменьшается шум; вот почему голос преобладает в гласных чисто автоматически.

Д. ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ РАСТВОРА: i, u, y*.* По сравнению с прочими гласными эти звуки являются в значительной мере закрытыми, приближаясь в этом отношении к согласным. Из этого проистекают некоторые последствия, которые будут выяснены ниже, оправдывая наименование *полугласных,* обычно даваемое этим фонемам.

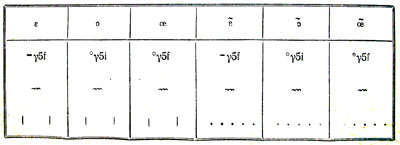
i произносится с вытянутыми губами (знак ~) и передней артикуляцией, u *—*округленными губами (знак 0) и задней артикуляцией, u *—* с положением губ, как при u, и с артикуляцией, как при i.



Как и у всех вообще гласных, у *i, и, y* могут быть назализованные формы; но они редки, и мы можем их не принимать во внимание. Следует отметить, что звуки, изображаемые во французской орфографии через in и un, сюда не относятся (см. ниже).

Существует ли глухое i, то есть i, артикулируемое без голосового тона? Тот же вопрос может быть поставлен и в отношении u и y и вообще всех гласных. Эти фонемы, как бы соответствующие глухим согласным, существуют, но их не следует смешивать с шепотными гласными, которые артикулируются при расслабленной голосовой щели. Глухие гласные можно уподобить произносимому перед ними придыханию h: так, в hi сперва слышится i без вибрации голосовых связок, а затем нормальное i.

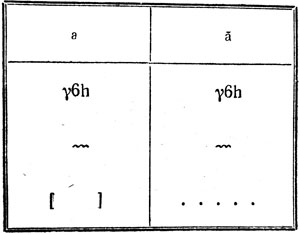
Е. ПЯТАЯ СТЕПЕНЬ раствора: ε, о, œ, артикуляция которых соответствует артикуляции i, u, y.

**

Назализованные гласные встречаются часто (например, *е, о,о* вофранцузских pin,pont, brun). Глухие формы: h — hε, ho, hœ.

Некоторые языки различают здесь несколько степеней раствора; так, во французском языке есть по крайней мере два ряда: так называемый «закрытый» — е, о, ø (например, в словах dé, dos, deux) и «открытый» — ε, о, œ (например, в словах mer, mart, meurt).

Ж. ШЕСТАЯ СТЕПЕНЬ РАСТВОРА: а — максимальный раствор; имеет и назализованную форму, правда, с некоторым сужением — ã (например, во французском слове grand), и глухую форму — h (в ha).



***Глава II***

**Фонема в речевой цепочке**

**§ 1. Необходимость изучения звуков в речевой цепочке**

В специальных работах, особенно в трудах английских фонетистов, можно найти тщательный анализ звуков речи.

Но достаточно ли этого для того, чтобы фонология отвечала своему назначению: служить вспомогательной наукой для лингвистики? Обилие накопленных деталей само по себе ценности не имеет, ценен только их синтез. Лингвисту нет надобности быть законченным фонологом, он требует от фонологии только некоторого количества данных, необходимых при изучении языка.

Метод современной фонологии особенно недостаточен в следующем отношении: упускается из виду, что в языке имеются не только звуки, но и поток произносимых звуков; почти все внимание уделяется только изолированным звукам. Между тем нам первично дан не отдельный звук; слог дан более непосредственно, чем составляющие его звуки. Мы видели, что некоторые древние системы письма отмечали именно слоговые единицы; лишь впоследствии пришли к буквенной системе письма.

Сверх того, надо сказать, что для лингвистики никогда не представляла затруднения простая звуковая единица: если, например, в данном языке в данную эпоху все *а* перешли в *о*, то из этого ровно ничего не следует; можно ограничиться констатацией этого факта, не стараясь объяснить его фонологически. Ценность науки о звуках проявляется по-настоящему лишь тогда, когда мы наталкиваемся на факт внутренней взаимозависимости двух или большего числа элементов, когда, как оказывается, вариации одного элемента определяются вариациями другого. Здесь из самого факта наличия двух элементов уже вытекает определенное отношение и возможность формулировать правило, что резко отличается от простой констатации. Следовательно, если в поисках своих основных принципов фонология выказывает предпочтение изолированным звукам, то это противоречит здравому смыслу; достаточно ей столкнуться с двухфонемным сочетанием, как она оказывается беспомощной. Так, в древневерхненемецком языке hagi, balg, wagn. Sang, donr, dom дали впоследствии ha-gal, balg, wagan, lang, donnar, dom; таким образом, результат оказался неодинаковым в зависимости от характера и порядка следования звуков внутри звукосочетания: в одном случае между согласными возникает гласный, в другом случае звукосочетание сохраняется в прежнем виде. Но как сформулировать закон? Откуда проистекает различие? Без сомнения, от сочетания согласных (gl, lg, gn и т. д.), которые есть в этих словах. Бросается в глаза, что во все эти сочетания входит смычная фонема, причем в одних случаях ей предшествует, а в других за ней следует плавная или носовая фонема. Но что же из этого проистекает? Пока мы рассматриваем *g* и n как однородные величины, мы не сможем понять, почему соприкосновение g с n производит иной эффект, чем соприкосновение n с g.

Итак, наряду с фонологией звуковых типов нужна наука совершенно иного рода, отправляющаяся от парных сочетаний и последовательностей фонем во времени. При изучении изолированных звуков достаточно определить положение органов речи; акустическое качество фонемы не является проблемой — оно устанавливается ухом; что же касается артикуляции, то мы можем вполне свободно производить ее так, как хотим. Но как только речь заходит о произнесении сочетания двух звуков, вопрос осложняется; приходится принимать в расчет возможность расхождения между ожидаемым и полученным результатом; не всегда в нашей власти произнести то, что мы желаем. Свобода связывать между собою фонологические типы ограничена возможностью связывать артикуляционные движения. Чтобы понимать, что происходит внутри звукосочетаний, надо создать такую фонологию, где эти звукосочетания рассматривались бы как алгебраические уравнения; парное звукосочетание включает некоторое количество взаимообусловленных механических и акустических элементов; когда один варьирует, эта вариация по необходимости отражается и на других; задача и заключается в том, чтобы вычислить эти отражения.

Если в явлениях фонации и есть нечто универсальное, стоящее как бы «над» артикуляционным разнообразием фонем, то это, без сомнения, именно тот упорядоченный механизм, о котором только что шла речь. Из этого явствует, какое значение должна иметь для общей лингвистики фонология звукосочетаний. Тогда как обычно ограничиваются преподнесением правил об артикуляции всех звуков, изменчивых и случайных элементов в языках, эта новая комбинаторная фонология очерчивает возможности и фиксирует постоянные отношения взаимозависящих фонем. Так, частный случай с hagi, balg и т. д. (см. выше) поднимает общий, широко обсуждавшийся вопрос об индоевропейских сонантах. Это как раз та область, где менее всего можно обойтись без понимаемой в вышеизложенном смысле фонологии, ибо учение о слогоделении является основой, на которой здесь построено все, с начала и до конца. Это не единственная проблема, которая может быть разрешена подобным методом; но, во всяком случае, ясно одно: становится почти что невозможным обсуждать вопрос о сонантах, не выяснив с достаточной точностью законы, управляющие

**§ 2. Имплозия и эксплозия**

Мы исходим из следующего основного наблюдения: когда произносятся звукосочетания типа арра*,* ощущается различие между обоими р, из которых первое соответствует смыканию, а второе — размыканию. Вместе с тем эти два впечатления настолько сходны, что понятны случаи изображения сочетания рр одним-единственным символом p. И все же существование различия позволяет нам отличать особыми значками > и < первое и второе р в арраи тем самым характеризовать их, когда они следуют одно за другим в речевой цепочке (например, apta, atpa). To же различие можно наблюдать не только у смычных; оно имеет место у фрикативных (affa), носовых (аmmа), плавных (alla) и вообще у всех фонем, включая гласные (aooa), кроме а.

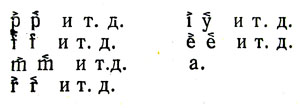
Смыкание называют *имплозией,* а размыкание — *эксплозией*;рможет быть имплозивным (р) или эксплозивным (р). В том же смысле можно говорить о звуках *затворных* и звуках *растворных.*

Без сомнения, в сочетании типа арра*,* помимо имплозии и эксплозии, выделяется также момент покоя, в течение которого смычка может длиться ad libitum; если речь идет о фонеме с более широкой степенью раствора, например о l сочетании alla, то звук продолжает произноситься и при неподвижности органов речи. Вообще в каждой речевой цепочке всегда имеются промежуточные фазы, которые мы будем называть *выдержками* или *артикуляциями выдержки.* Они могут быть уподоблены имплозивным артикуляциям, посколькуихэффект аналогичен; поэтому в дальнейшем мы будем принимать во внимание только имплозии и эксплозии.

Такое упрощение, недопустимое в специальной работе по фонологии, оправдано там, где рассматриваются лишь самые основные особенности явления слогоделения, сводимого к максимально упрощенной схеме. Мы не претендуем на разрешение всех затруднений, возникающих в связи с проблемой членения речевой цепочки на слоги; мы попытаемся только заложить рациональные основы изучения этой проблемы.

Еще одно замечание. Не надо смешивать имплозивные и эксплозивные движения, необходимые для производства звука, с различными степенями его раствора. Любая фонема может быть и имплозивной и эксплозивной, но, разумеется, степень раствора влияет на имплозию и эксплозию в том смысле, что различение обоих движений становится тем менее отчетливым, чем больше степень раствора. Так, в отношении i, u, y разница еще хорошо заметна: в aiia можно распознать имплозивное и эксплозивное i; равным образом в auua, аyyа имплозивные u, y отличаются от следующих за ними эксплозивных u, y до такой степени четко, что письменность в противоположность своему обыкновению иногда отмечает это различие: английское w, немецкое j и зачастую французское у (например, в слове уeuх«глаза») изображают растворные звуки (u, i) в противоположность uи i, употребляемым для обозначения u и i. Но при более высокой степени раствора (*е* и *о*) теоретически мыслимые имплозию и эксплозию (ср. аeеа, аoоа) весьма затруднительно различать на практике. Наконец, как уже было отмечено выше, при самой высшей степени раствора, при степени а*,* нет места ни для имплозии, ни для эксплозии, так как открытость этой фонемы стирает всякое различие такого рода.

Таким образом, надо раздвоить каждую фонему, кроме а, и тогда таблица неразложимых звуковых единиц предстанет в следующем виде:



Освященные традицией графические различения (i — у, u — w) мы не только не устраняем, но, напротив, бережно сохраняем, обоснование этой точки зрения приводится ниже, в § 7.

Итак, мы впервые покидаем область абстракции; впервые появляются конкретные, неразложимые элементы, занимающие в речевой цепочке свое место и определенный отрезок времени. Можно сказать, что p *—* не что иное, как абстракция, объединяющая общие признаки р и р, которые только и существуют в действительности, совершенно так же, как Р, В, M объединены в более высоком абстрактном единстве под названием губных. О Р можно сказать то, что говорят о зоологическом виде: существуют конкретные особи мужского и женского пола данного вида, но самого вида в этом смысле не существует. До сих пор мы различали и классифицировали абстракции; ныне возникает необходимость пойти дальше и дойти до конкретного элемента. Великое заблуждение фонологии состояло в том, что она рассматривала свои абстракции в качестве реально существующих единиц, не давая точного определения единицы как таковой. Греческий алфавит дошел до различения этих абстрактных элементов, и лежащий в основе его анализ, как мы уже говорили, замечателен; но все же это был анализ неполный, остановившийся на определенной черте.

В самом деле, что такое p без более точной характеристики? Если рассматривать его во времени как звено в речевой цепочке, оно не может быть ни p, ни p ни тем более pp, поскольку это звукосочетание явно разложимо; если же брать его вне речевой цепочки и вне времени, оказывается, что оно не имеет своего существования и ни к чему не пригодно. Что значит само по себе такое сочетание, как l+g? Ведь абстракции, даже если их две, не могут образовать момента во времени. Другое дело, когда говорят о lk*,* о lk, о lk, о lk, соединяя таким образом подлинные элементы речи. Итак, достаточно, как мы видим, соединения двух элементов, чтобы поставить в тупик традиционную фонологию; таким образом, обнаруживается невозможность оперировать, как это она делает, только абстрактными фонологическими единицами.

Высказывалась мысль, будто каждая простая фонема, поскольку она находится в речевой цепочке, например p в ра или в ара, содержит в себе последовательно момент имплозии и момент эксплозии (apa). Конечно, всякому размыканию органов речи должно предшествовать их смыкание; возьмем другой пример: при произнесении rр я должен, осуществив смыкание r, артикулировать язычком эксплозивное r в момент сближения губ для произнесения р*.* Чтобы ответить на это возражение, достаточно четко изложить нашу точку зрения. В акте фонации, к анализу которого мы приступаем, принимаются в расчет лишь дифференциальные элементы, улавливаемые слухом и могущие служить для разграничения акустических единиц в речевой цепочке. Только эти акустико-артикуляторные (acoustico-motrices) единицы и должны приниматься во внимание; таким образом, артикуляция эксплозивного r, сопровождающая артикуляцию имплозивного р, для нас реально не существует, так как она не производит различимого звука и, во всяком случае, в цепочке фонем в счет не идет. Это весьма существенный пункт, который надо хорошенько усвоить, чтобы понять дальнейшее.

**§ 3. Различные комбинации эксплозии и имплозии в речевой цепочке**

Рассмотрим теперь, что произойдет из сочетания эксплозии и имплозии в четырех теоретически возможных случаях:

1.< >, 2. > < , 3. < <, 4. > >.

1. Эксплозивно-имплозивная группа (< >). Всегда возможно, не разрывая речевой цепочки, соединить две фонемы, из коих первая является эксплозивной, а вторая — имплозивной, например: kr, ki, ym и т. п. (ср. скр. krta-, франц. kite (пишется quitter), и.-е. \*ymto и т. п.). Правда, некоторые сочетания, как, например, kt и др., не могут практически реализоваться, но все же верно, что после артикуляции эксплозивного k органы речи находятся в положении, позволяющем произвести смыкание в любой точке. Эти две фазы фонации могут, не мешая друг другу, следовать одна за другой.

2. Имплозивно-эксплозивная группа (><). В тех же условиях и с теми же оговорками имеется полная возможность соединять две фонемы, из коих первая является имплозивной, а вторая — эксплозивной: например, im, kt и т. п. (ср. греч. haima, франц. actif т. п.).

Разумеется, эти сменяющиеся артикуляционные моменты не следуют один за другим столь же естественно, как в первом случае. Между начальной имплозией и начальной эксплозией есть та разница, что эксплозия, ведущая к нейтральному положению рта, ни к чему не обязывает органы речи в следующий момент, тогда как имплозия создает определенное состояние органов речи, которое не может служить отправной точкой для любой эксплозии. Поэтому всегда необходимо какое-то приспособительное движение органов речи, их аккомодация, с тем чтобы они приняли положение, необходимое для артикуляции следующей фонемы: так, произнеся sв сочетании sp, мы должны затем сомкнуть губы, чтобы подготовить эксплозивное р*.* Но опыт показывает, что эта аккомодация не производит ничего сколько-нибудь существенного, если не считать одного из тех беглых звуков, которые не принимаются нами во внимание и которые никак не мешают течению речи.

3. Эксплозивная группа (<<). Две эксплозии могут быть произведены одна за другой; однако если вторая принадлежит фонеме с меньшей или равной степенью раствора, то не получится того акустического ощущения единства, которое возникло бы в противоположном случае и которое наблюдалось в обоих предыдущих случаях: pk может быть произнесено pka, но эти звуки не образуют непрерывной цепочки, так как типы Р и К имеют одну и ту же степень раствора. Такое мало естественное произношение получится, если остановиться после первого *а* в слове ∫a-pka*.* Напротив, pr создает впечатление непрерывности (ср. франц. prix); не представляет затруднений и rj (ср. франц. rien). Почему? Потому что к моменту, когда возникает первая эксплозия, органы речи уже смогли принять положение, необходимое для выполнения второй эксплозии, не мешая вместе с тем акустическому эффекту первой: например, в слове prix органы речи находятся в положении для произнесения r уже во время произнесения р*.* Но невозможно произнести как непрерывный ряд обратное сочетание rp не потому, что органы речи не могли бы механически принять положение для p в момент артикуляции эксплозивного r, но потому, что артикуляция этого г, столкнувшись с меньшей степенью раствора р, не могла бы быть воспринята. Итак, если мы желаем произнести rp*,* надо сделать это в два приема с разрывом речевой цепочки.

Непрерывная эксплозивная группа может иметь в своем составе более двух элементов при условии перехода все время от меньшего раствора к большему (например, krwa). Отвлекаясь от некоторых частных случаев, останавливаться на которых мы не будем, можно сказать, что возможное количество эксплозий в отрезке, естественно, ограничено количеством степеней раствора, доступных практическому различению.

4. Имплозивная группа (>>). Подчиняется обратному закону. Если первая фонема более открыта, нежели следующая за ней, возникает впечатление непрерывности, например ir, rt; если же это условие отсутствует, если следующая фонема имеет большую или ту же степень раствора, как и предыдущая, произнесение возможно, но впечатление непрерывности исчезает: так, сочетание sr в asrta имеет тот же характер, что и сочетание pk в ∫a-pka. Явление это совершенно параллельно тому, которое мы анализировали, рассматривая эксплозивную группу: в сочетании rt звук t вследствие меньшей степени раствора освобождает r от эксплозий; если взять группу, обе фонемы которой имеют разное место образования, например rm, то m не освобождает r от эксплозий, но — что сводится к тому же — полностью покрывает его эксплозию посредством своей более закрытой артикуляции. В обратном же случае, в сочетании mr, беглая, механически неизбежная эксплозия разрывает речевую цепочку.

Ясно, что имплозивная группа, подобно эксплозивной, может иметь в своем составе более двух элементов при условии последовательного перехода от большего раствора к меньшему (ср. arst).

Оставляя в стороне разрывы внутри группы, рассмотрим теперь нормальную непрерывную цепочку звуков, которую можно было бы назвать «физиологической», как она представляется нам, например, во французском particulièrement, то есть partikyljerma. Она характеризуется сменой градуированных и эксплозивных и имплозивных отрезков в соответствии со сменой размыканий и смыканий ротовых органов.

Охарактеризовав таким образом нормальную цепочку, мы переходим к нижеследующим положениям первостепенной важности

**§ 4. Слогораздел и вокалическая точка**

При переходе в звуковой цепочке от имплозии к эксплозий (>|<) возникает особый эффект, являющийся показателем *слогораздела,* например в ik слова particulièrement*.* Это регулярное совпадение определенного механического состояния с определенным акустическим эффектом сообщает имплозивно-эксплозивной группе особый характер среди явлений фонологического порядка, присущий ей независимо от составляющих ее элементов; в результате образуется новое родовое понятие, содержащее столько разновидностей, сколько существует возможных комбинаций имплозии с эксплозией.

Слогораздел может в некоторых случаях помещаться в двух различных точках одного и того же ряда фонем — в зависимости от большей или меньшей быстроты перехода от имплозии к эксплозий. Так, в сочетания ardra цепочка не разрывается, будем ли мы делить ar/dra или ard/ra, так как имплозивный отрезок ard столь же удачно построен в своей постепенности, сколь и эксплозивный отрезок dr. То же можно сказать и о ylje в слове particulièrement (ylje или ylje).

Далее мы замечаем, что при переходе от состояния молчания к первой имплозии (>), например в art слова artiste, или от эксплозий к имплозии (<>), как, например, в part слова particulièrement*,* тот звук, на который приходится первая имплозия, отличается от других окружающих его звуков специфическим эффектом — вокалическим эффектом. Этот последний совсем не зависит от большей степени раствора звука *а*, ибо в сочетании prt звук r производит тот же вокалический эффект; он присущ первой имплозии как таковой, какова бы ни была ее фонологическая характеристика, то есть ее степень раствора; равным образом неважно, следует ли она за состоянием молчания или за эксплозией. Звук, производящий такое впечатление своим свойством первого имплозивного, может быть назван *вокалической точкой.*

Эту единицу называли также *сонантом;* под *консонантом* в этом случае разумели все предыдущие и последующие звуки того же слога. Термины «гласный» и «согласный» обозначают, как мы видели выше, различные типы звуков, тогда как термины «сонант» и «консонант» служат для обозначения различных функций звука в слоге. Такая двоякая терминология позволяет избежать путаницы, господствовавшей в течение долгого времени. Так, например, I как тип является одним и тем же в словах fidèle и pied — это гласный; но гласный этот в слове fidèle функционирует как сонант, а в слове pied — как консонант. Анализ обнаруживает, что сонанты всегда имплозивны, а консонанты то имплозивны (например, i в англ. boi [пишется boy]), то эксплозивны (например, j во франц. pje [пишется pied]). Это лишь подтверждает различие, установленное между двоякого рода явлениями. Правда, реально *е, о, а* выступают регулярно как сонанты, но это простое совпадение: обладая большей степенью раствора, чем все прочие звуки, они всегда находятся в начале имплозивного отрезка. Наоборот, обладающие минимальной степенью раствора смычные всегда являются консонантами. На практике только фонемы второй, третьей и четвертой степеней растворов (носовые, плавные, полугласные) могут выполнять то одну, то другую функцию в зависимости от их окружения и характера их артикуляции.

**§ 5. Критика теории слогоделения**

Общеизвестно, что в любой речевой цепочке ухо различает деление на слоги и в каждом слоге — сонант. Позволительно, однако, спросить, каково разумное основание этих двух фактов? Предложено было несколько объяснений.

1. Исходя из факта большей сонорности одних фонем по сравнению с другими, пытались обосновать слог сонорностью фонем. Но в таком случае почему же такие сонорные фонемы, как i, u, не образуют обязательно слог? И затем, до каких пределов простирается требуемая сонорность, если фрикативные типа s могут образовывать слог, например pst? Если дело идет лишь об относительной сонорности соприкасающихся звуков, то как объяснить такие сочетания, как wl (например, и.-е. *\**wlkos «волк»), где слог образуется менее сонорным элементом?

2. Сивере первый установил, что звук, включаемый в разряд гласных, может не производить впечатления гласного (мы уже видели, что, например, j и w не что иное, как i и u). Когда спрашиваешь, откуда же возникает эта двоякая функция, или двоякий акустический эффект (слово «функция» не означает здесь ничего другого), ответ гласит: тот или иной звук имеет ту или иную функцию в зависимости от того, получает ли он «слоговое ударение» или нет.

Но ведь это порочный круг: либо я вправе при всяких обстоятельствах и по своему усмотрению предполагать наличие слогового ударения всюду, где имеются сонанты, но в таком случае нет никакого основания называть его слоговым, а не сонантным, либо если выражение «слоговое ударение» имеет какой-то смысл, то, очевидно, лишь тот, что это—ударение, регулируемое законами слога. А между тем сами законы не формулируют, а это сонантное качество именуют «слогообразующим» (silbenbildend), как если бы образование слога зависело от этого ударения.

Мы видим, что наш метод противоположен обоим предыдущим: анализируя слог, как он дан в речевой цепочке, мы дошли до неразложимой единицы, до звука растворного и звука затворного; затем, комбинируя эти единицы, мы смогли определить место слогораздела и вокалическую точку. Теперь мы уже знаем, в каких физиологических условиях должны возникать эти акустические эффекты. Критикуемые нами теории следуют обратному направлению: они берут изолированные фонологические типы и из них пытаются вывести и место слогораздела, и местонахождение сонанта. Но если дана какая-либо цепочка фонем, то ей обычно присущ один способ артикуляции, который является более естественным и более удобным, чем все прочие; возможность же выбора между растворными и затворными артикуляциями в значительной мере сохраняется; слогоделение же как раз и будет зависеть от этого выбора, а не непосредственно от фонологических типов.

Разумеется, теория эта не исчерпывает и не решает всех вопросов. Так, зияние, столь часто встречающееся, есть не что иное, как сознательно или бессознательно *разорванный имплозивный отрезок,* например i — a (в il cria) или a — i (в ébahi). Оно чаще всего возникает при фонологических типах с большой степенью раствора.

Встречаются и *разорванные эксплозивные отрезки,* входящие, несмотря на то что они не градуированы, в звуковую цепочку на одинаковом основании с нормальными сочетаниями; мы затронули этот случай в связи с греч. ktéino. Возьмем еще для примера сочетание pzta, которое нормально может быть произнесено только как pzta; оно должно, следовательно, заключать два слога, каковые оно в действительности и имеет, если четко воспроизвести голосовой тон в z; но если z оглушается, то поскольку это одна из тех фонем, которые требуют наименьшего раствора, группа pzta в силу резкой противоположности z и а воспринимается как один слог: слышится нечто вроде pzta.

Во всех случаях этого рода воля и намерение говорящего могут вмешаться и в некоторой мере изменить физиологическую необходимость; часто случается, что трудно в точности выяснить, какую роль играет каждый из этих двух факторов. Но как бы то ни было, фонация всегда предполагает смену имплозии и эксплозий, а в этом и заключается основное условие слогоделения.

**§ 6. Длительность имплозии и эксплозий**

Объяснив слог взаимодействием эксплозий и имплозии, мы приходим к важному наблюдению, обобщающему известный факт метрики. В греческих и латинских словах различаются двоякого рода долготы: по природе (māter) и по положению (fāctus). Почему fac считается долгим слогом в fāctus? Отвечают: вследствие наличия группы ct; но если это зависит от сочетания звуков как такового, то любой слог, начинающийся двумя согласными, должен быть долгим, между тем это не так (ср. clĭens и т. д.).

Истинная причина заключается в том, что эксплозия и имплозия по самой своей сути различны в отношении длительности. Эксплозия всегда протекает столь быстро, что для слуха является иррациональной величиной; по этой же причине она никогда не производит вокалического впечатления. Только имплозия представляет ощутимую величину; отсюда впечатление, что гласный, с которого она начинается, длится дольше.

Известно, с другой стороны, что гласные, находящиеся перед сочетанием, образованным из смычного или фрикативного плюс плавный, могут трактоваться двояко: в слове patrem *а* может быть долгим или кратким, это объясняется тем же. В самом деле, группу tr к этом слове можно произнести как tr, так и tr; первый способ артикуляции дает возможность *а* оставаться кратким; второй способ создает долгий слог. В таком слове, как fāctus, аналогичная двоякая трактовка *а* невозможна, потому что группу ct можно произнести только как ct, a не сt.

**§ 7. Фонемы четвертой степени раствора. Дифтонги и вопросы их написания**

Фонемы четвертой степени раствора дают повод к некоторым замечаниям. Как мы видели, в противоположность всем прочим звукам обычай санкционировал в отношении звуков четвертой степени раствора двоякое написание (w = u; u = u; j = i; i = i).Дело в том, что в таких сочетаниях, как aija, auwa, ощущается лучше, чем где-либо, то различие, которое мы обозначаем диакритическими значками < и >; i и u определенно производят впечатление гласных, i и u *—* впечатление согласных. Не претендуя на объяснение этого факта, отметим, что согласный (никогда не появляется как затворный. Поэтому нельзя встретить ai, в котором i производило бы тот же эффект, что и j в aija (ср. англ. boy и франц. pied); следовательно, j является согласным, a i — гласным по положению, раз эти разновидности типа I не могут появляться одинаково всюду. Эти же замечания применимы и к u, w, а также к y, ÿ.

Это проливает свет на вопрос о дифтонгах. Дифтонг есть частный случай имплозивного отрезка; сочетания arta и auta абсолютно параллельны; они отличаются лишь степенью раствора второго элемента: дифтонг — это такой имплозивный отрезок из двух фонем, второй элемент которого относительно открыт, что создает особое акустическое впечатление: сонант как бы длится во втором элементе группы. Наоборот, сочетание типа tja ничем не отличается от сочетания типа tra, разве что степенью раствора последнего эксплозивного члена. Это равносильно утверждению, что сочетания звуков, именуемые у фонологов восходящими дифтонгами, на самом деле не дифтонги, а эксплозивно-имплозивные группы, первый элемент которых относительно открыт, что, однако, не приводит ни к чему исключительному с акустической точки зрения (tja). Что касается сочетаний типа uо, ia с ударением на u и i, которые встречаются в некоторых немецких диалектах (ср. buob, liab), то это тоже ложные дифтонги, не производящие впечатления единства, как ou, ai и т. д.; нельзя произнести ouкак группу из двух имплозивных, не нарушив непрерывного характера цепочки, если только какой-нибудь искусственный прием не сообщит этому сочетанию не свойственного ему от природы единства.

Такое определение дифтонга, подводящее его под общий принцип имплозивных отрезков, показывает, что дифтонг не есть, как это можно было бы подумать, нечто ни с чем не согласное, не укладывающееся в норму фонологическое явление. Нет надобности выделять его особо. Свойства его не представляют в действительности никакого интереса и никакой важности: важно фиксировать не конец сонанта, а его начало.

Сиверc и многие лингвисты различают на письме i, u, ü, r, n и т. д. и i, u, ü, r, n и т. д. (i = «неслоговые» i, i = «слоговые» i) и пишут mirta, mairta, miarta, тогда как мы пишем mirta, mairta, mjarta. Найдя, что i и у относятся к одному и тому же фонологическому типу, они пожелали изображать их единым родовым знаком (это опять та же идея, будто звуковая цепочка состоит из сополагаемых звуковых типов). Но это написание, хотя и покоящееся на слуховом впечатлении, противоречит здравому смыслу и устраняет как раз наиболее существенное различие. Вследствие этого:

1) i, u растворные (= j, w) смешиваются с i, u затворными, в результате чего становится невозможным отличить newo от nеuо;

2) наоборот, расчленяются на два i, u затворные (ср. mirta и mairta). Вот несколько примеров несообразности такого написания. Возьмем др.-греч. dwís и dusí, с другой стороны, rhéwō и rheûma; эти два противопоставления происходят в тех же точно фонологических условиях и нормально отражаются одинаковым графическим противопоставлением: в зависимости от того, следует ли за и более или менее открытая фонема, оно становится то растворным (w), то затворным (u). Если же писать dyis, dusi, rheuō, rheuma, то все это различие стирается. Также и в индоевропейском языке оба ряда māter, mātrai, māteres, mātrsu и sūneu, sūnewai, sūnewes, sūnusu строго параллельны в своей двоякой трактовке, с одной стороны — r, с другой стороны — u.

Ныне противопоставление имплозии и эксплозии отражается на письме по крайней мере в одном втором ряду; но, если принять критикуемое нами написание, это противопоставление исчезнет (sūneu, sūneuai, sūneues, sūnusu). He только следовало бы сохранить освященные обычаем различения между растворными и затворными (u : w и т. д.), но и распространить их на всю систему и писать, к примеру: māter, mātρai, māteρes, mātrsu; тогда слогоделение обнаружилось бы со всей очевидностью, а вокалические точки и слогоразделы выявились бы сами собой.

**Часть первая**

**ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ**

***Глава I***

**Природа языкового знака**

**§ 1. Знак, означаемое, означающее**

Многие полагают, что язык есть по существу номенклатура, то есть перечень названий, соответствующих каждое одной определенной вещи. Например:

**ARBOR**



**EQUOS**

*и т.д.*

Такое представление может быть подвергнуто критике во многих отношениях. Оно предполагает наличие уже готовых понятий, предшествующих словам; оно ничего не говорит о том, какова природа названия — звуковая или психическая, ибо слово arborможет рассматриваться и под тем и под другим углом зрения; наконец, оно позволяет думать, что связь, соединяющая название с вещью, есть нечто совершенно простое, а это весьма далеко от истины. Тем не менее такая упрощенная точка зрения может приблизить нас к истине, ибо она свидетельствует о том, что единица языка есть нечто двойственное, образованное из соединения двух компонентов.

Рассматривая акт речи, мы уже выяснили, что обе стороны языкового знака психичны и связываются в нашем мозгу ассоциативной связью. Мы особенно подчеркиваем этот момент.

Языковой знак связывает не вещь и ее название, а понятие и акустический образ. Этот последний является не материальным звучанием, вещью чисто физической, а психическим отпечатком звучания, представлением, получаемым нами о нем посредством наших органов чувств; акустический образ имеет чувственную природу, и если нам случается называть его «материальным», то только по этой причине, а также для того, чтобы противопоставить его второму члену ассоциативной пары — понятию, в общем более абстрактному.

Психический характер наших акустических образов хорошо обнаруживается при наблюдении над нашей собственной речевой практикой. Не двигая ни губами, ни языком, мы можем говорить сами с собой или мысленно повторять стихотворный отрывок. Именно потому, что слова языка являются для нас акустическими образами, не следует говорить о «фонемах», их составляющих. Этот термин, подразумевающий акт фонации, может относиться лишь к произносимому слову, к реализации внутреннего образа речи. Говоря о *звуках* и *слогах,* мы избежим этого недоразумения, если только будем помнить, что дело идет об акустическом образе.

Языковой знак есть, таким образом, двусторонняя психическая сущность, которую можно изобразить следующим образом:



Оба эти элемента теснейшим образом связаны между собой и предполагают друг друга. Ищем ли мы смысл латинского arbor или, наоборот, слово, которым римлянин обозначал понятие «дерево», ясно, что только сопоставления типа



кажутся нам соответствующими действительности, и мы отбрасываем всякое иное сближение, которое может представиться воображению.

Это определение ставит важный терминологический вопрос. Мы называем *знаком* соединение понятия и акустического образа, но в общепринятом употреблении этот термин обычно обозначает только акустический образ, например слово arbor и т. д. Забывают, что если arbor называется знаком, то лишь постольку, поскольку в него включено понятие «дерево», так что чувственная сторона знака предполагает знак как целое.

Двусмысленность исчезнет, если называть все три наличных понятия именами, предполагающими друг друга, но вместе с тем взаимно противопоставленными. Мы предлагаем сохранить слово *знак* для обозначения целого и заменить термины *понятие* и *акустический образ* соответственно терминами *означаемое* и *означающее;* последние два термина имеют то преимущество, что отмечают противопоставление, существующее как между ними самими, так и между целым и частями этого целого. Что же касается термина «знак», то мы довольствуемся им, не зная, чем его заменить, так как обиходный язык не предлагает никакого иного подходящего термина.

Языковой знак, как мы его определили, обладает двумя свойствами первостепенной важности. Указывая на них, мы тем самым формулируем основные принципы изучаемой нами области знания.

**§ 2. Первый принцип: произвольность знака**

Связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна; поскольку под знаком мы понимаем целое, возникающее в результате ассоциации некоторого означающего с некоторым означаемым, то эту же мысль мы можем выразить проще: *языковой знак произволен*.

Так, понятие «сестра» не связано никаким внутренним отношением с последовательностью звуков s-œ:-r, служащей во французском языке ее означающим; оно могло бы быть выражено любым другим сочетанием звуков; это может быть доказано различиями между языками и самим фактом существования различных языков: означаемое «бык» выражается означающим b-œ-f (франц. bœuf) по одну сторону языковой границы и означающим o-k-s (нем. Ochs) по другую сторону ее.

Принцип произвольности знака никем не оспаривается; но часто гораздо легче открыть истину, нежели указать подобающее ей место. Этот принцип подчиняет себе всю лингвистику языка; следствия из него неисчислимы. Правда, не все они обнаруживаются с первого же взгляда с одинаковой очевидностью; их можно открыть только после многих усилий, но именно благодаря открытию этих последствий выясняется первостепенная важность названного принципа.

Заметим мимоходом: когда семиология сложится как наука, она должна будет поставить вопрос, относятся ли к ее компетенции способы выражения, покоящиеся на знаках, в полной мере «естественных», как, например, пантомима. Но даже если семиология включит их в число своих объектов, все же главным предметом ее рассмотрения останется совокупность систем, основанных на произвольности знака. В самом деле, всякий принятый в данном обществе способ выражения в основном покоится на коллективной привычке или, что то же, на соглашении. Знаки учтивости, например, часто характеризуемые некоторой «естественной» выразительностью (вспомним о китайцах, приветствовавших своего императора девятикратным падением ниц), тем не менее фиксируются правилом, именно это правило, а не внутренняя значимость обязывает нас применять эти знаки. Следовательно, можно сказать, что знаки, целиком произвольные, лучше других реализуют идеал семиологического подхода; вот почему язык — самая сложная и самая распространенная из систем выражения — является вместе с тем и наиболее характерной из них; в этом смысле лингвистика может служить моделью (patron général) для всей семиологии в целом, хотя язык — только одна из многих семиологических систем.

Для обозначения языкового знака, или, точнее, того, что мы называем означающим, иногда пользуются словом *символ.* Но пользоваться им не вполне удобно именно в силу нашего первого принципа. Символ характеризуется тем, что он всегда не до конца произволен; он не вполне пуст, в нем есть рудимент естественной связи между означающим и означаемым. Символ справедливости, весы, нельзя заменить чем попало, например колесницей.

Слово *произвольный* также требует пояснения. Оно не должно пониматься в том смысле, что означающее может свободно выбираться говорящим (как мы увидим ниже, человек не властен внести даже малейшее изменение в знак, уже принятый определенным языковым коллективом); мы хотим лишь сказать, что означающее *немотивировано,* то есть произвольно по отношению к данному означаемому, с которым у него нет в действительности никакой естественной связи .

Отметим в заключение два возражения, которые могут быть выдвинуты против этого первого принципа.

1. В доказательство того, что выбор означающего не всегда произволен, можно сослаться на *звукоподражания* . Но ведь звукоподражания не являются органическими элементами в системе языка. Число их к тому же гораздо ограниченней, чем обычно полагают. Такие французские слова, как fouet «хлыст», glas «колокольный звон», могут поразить ухо суггестивностью своего звучания, но достаточно обратиться к их латинским этимонам (fouet от fāgus «бук», glas от classicum «звук трубы»), чтобы убедиться в том, что они первоначально не имели такого характера: качество их теперешнего звучания, или, вернее, приписываемое им теперь качество, есть случайный результат фонетической эволюции.

Что касается подлинных звукоподражаний типа *буль-буль, тик-так,* то они не только малочисленны, но и до некоторой степени произвольны, поскольку они лишь приблизительные и наполовину условные имитации определенных звуков (ср. франц. оuаоuа, но нем. wauwau «гав! гав!»). Кроме того, войдя в язык, они в большей или меньшей степени подпадают под действие фонетической, морфологической и всякой иной эволюции, которой подвергаются и все остальные слова (ср. франц. pigeon «голубь», происходящее от на-роднолатинского pipiō, восходящего в свою очередь к звукоподражанию), — очевидное доказательство того, что звукоподражания утратили нечто из своего первоначального характера и приобрели свойство языкового знака вообще, который, как уже указывалось, немотивирован.

2. Что касается междометий, весьма близких к звукоподражаниям, то о них можно сказать то же самое, что говорилось выше о звукоподражаниях. Они также ничуть не опровергают нашего тезиса о произвольности языкового знака. Весьма соблазнительно рассматривать междометия как непосредственное выражение реальности, так сказать продиктованное самой природой. Однако в отношении большинства этих слов можно доказать отсутствие необходимой связи между означаемым и означающим. Достаточно сравнить соответствующие примеры из разных языков, чтобы убедиться, насколько в них различны эти выражения (например, франц. aїe! соответствует нем. аи! «ой!»). Известно к тому же, что многие междометия восходят к знаменательным словам (ср. франц. diable! «черт возьми!» при diable «черт», mordieu! «черт возьми!» из mort Dieu, букв. «смерть бога» и т. д.).

Итак, и звукоподражания и междометия занимают в языке второстепенное место, а их символическое происхождение отчасти спорно.

**§ 3. Второй принцип: линейный характер означающего**

Означающее, являясь по своей природе воспринимаемым на слух, развертывается только во времени и характеризуется заимствованными у времени признаками: а) оно обладает протяженностью и б) эта протяженность имеет одно измерение — это линия.

Об этом совершенно очевидном принципе сплошь и рядом не упоминают вовсе, по-видимому, именно потому, что считают его чересчур простым, между тем это весьма существенный принцип и последствия его неисчислимы. Он столь же важен, как и первый принцип. От него зависит весь механизм языка. В противоположность означающим, воспринимаемым зрительно (морские сигналы и т. п.), которые могут комбинироваться одновременно в нескольких измерениях, означающие, воспринимаемые на слух, располагают лишь линией времени; их элементы следуют один за другим, образуя цепь. Это их свойство обнаруживается воочию, как только мы переходим к изображению их на письме, заменяя последовательность их во времени пространственным рядом графических знаков.

В некоторых случаях это не столь очевидно. Если, например, я делаю ударение на некотором слоге, то может показаться, что я куму-лирую в одной точке различные значимые элементы. Но это иллюзия; слог и его ударение составляют лишь один акт фонации: внутри этого акта нет двойственности, но есть только различные противопоставления его со смежными элементами.

***Глава II***

**Неизменчивость и изменчивость знака**

**§ 1. Неизменчивость знака**

Если по отношению к выражаемому им понятию означающее представляется свободно выбранным, то, наоборот, по отношению к языковому коллективу, который им пользуется, оно не свободно, а навязано. У этого коллектива мнения не спрашивают, и выбранное языком означающее не может быть заменено другим. Этот факт, кажущийся противоречивым, можно было бы, грубо говоря, назвать «вынужденным ходом». Языку как бы говорят: «Выбирай!», но тут же добавляют: «.. .вот этот знак, а не другой!» Не только отдельный человек не мог бы, если бы захотел, ни в чем изменить сделанный уже языком выбор, но и сам языковой коллектив не имеет власти ни над одним словом; общество принимает язык таким, какой он есть (telle qu'elle).

Таким образом, язык не может быть уподоблен просто договору; именно с этой стороны языковой знак представляет особый интерес для изучения, ибо если мы хотим показать, что действующий в коллективе закон есть нечто, чему подчиняются, а не свободно принимают, то наиболее блестящим подтверждением этому является язык.

Рассмотрим, каким же образом языковой знак не подчиняется нашей воле, и укажем затем на вытекающие из этого важные следствия.

Во всякую эпоху, как бы далеко в прошлое мы ни углублялись, язык всегда выступает как наследие предшествующей эпохи. Нетрудно себе представить возможность в прошлом акта, в силу которого в определенный момент названия были присвоены вещам, то есть в силу которого было заключено соглашение о распределении определенных понятий по определенным акустическим образам, хотя реально такой акт никогда и нигде не был засвидетельствован. Мысль, что так могло произойти, подсказывается нам лишь нашим очень острым чувством произвольности знака.

Фактически всякое общество знает и всегда знало язык только как продукт, который унаследован от предшествующих поколений и который должен быть принят таким, как он есть. Вот почему вопрос о происхождении языка не так важен, как это обычно думают. Такой вопрос не к чему даже ставить; единственный реальный объект лингвистики — это нормальная и регулярная жизнь уже сложившегося языка. Любое данное состояние языка всегда есть продукт исторических факторов, которые и объясняют, почему знак неизменчив, то есть почему он не поддается никакой произвольной замене.

Но утверждение, что язык есть наследие прошлого, решительно ничего не объясняет, если ограничиться только этим. Разве нельзя изменить в любую минуту существующие законы, унаследованные от прошлого?

Высказав такое сомнение, мы вынуждены, подчеркнув социальную природу языка, поставить вопрос так, как если бы мы его ставили в отношении прочих общественных установлений. Каким образом передаются эти последние? Таков более общий вопрос, покрывающий и вопрос о неизменчивости. Прежде всего надо выяснить, какой степенью свободы пользуются прочие общественные установления; мы увидим, что в отношении каждого из них баланс между навязанной обществу традицией и свободной от традиции деятельностью общества складывается по-разному. Затем надо выяснить, почему для данного общественного установления факторы первого рода более или, наоборот, менее действенны, чем факторы второго рода. И наконец, обратившись вновь к языку, мы должны спросить себя, почему исторический фактор преемственности господствует в нем полностью и исключает возможность какого-либо общего и внезапного изменения.

В ответ на этот вопрос можно было бы выдвинуть множество аргументов и указать, например, на то, что изменения языка не связаны со сменой поколений, которые вовсе не накладываются одно на другое наподобие ящиков комода, но перемешаны между собой и проникают одно в другое, причем каждое из них включает лиц различных возрастов. Можно было бы указать и на то, как много усилий требуется при обучении родному языку, чтобы прийти к выводу о невозможности общего изменения его. Можно было бы добавить, что рефлексия не участвует в пользовании тем или другим языком: сами говорящие в значительной мере не осознают законов языка, а раз они их не осознают, то каким же образом они могут их изменить? Допустим, однако, что говорящие относились бы сознательно к языковым фактам; тогда следовало бы напомнить, что эти факты не вызывают критики со стороны говорящих в том смысле, что каждый народ в общем доволен доставшимся ему языком.

Все эти соображения не лишены основания, но суть не в них: мы предпочитаем нижеследующие, более существенные, более прямые соображения, от которых зависят все прочие.

1. Произвольность знака. Выше мы приняли допущение о теоретической возможности изменения языка. Углубляясь в вопрос, мы видим, что в действительности сама произвольность знака защищает язык от всякой попытки сознательно изменить его. Говорящие, будь они даже сознательнее, чем есть на самом деле, не могли бы обсуждать вопросы языка. Ведь для того чтобы подвергать обсуждению какую-либо вещь, надо, чтобы она отвечала какой-то разумной норме. Можно, например, спорить, какая форма брака рациональнее — моногамия или полигамия, и приводить доводы в пользу той или другой. Можно также обсуждать систему символов, потому что символ связан с обозначаемой вещью рационально; в отношении же языка, системы произвольных знаков, не на что опереться. Вот почему исчезает всякая почва для обсуждения: ведь нет никаких оснований для того, чтобы предпочесть означающее sœur означающему sister для понятия «сестра» и означающее Ochs означающему bœuf для понятия «бык».

2. Множественность знаков, необходимых в любом языке. Значение этого обстоятельства немаловажно. Система письма, состоящая из 20-40 букв, может быть, если на то пошло, заменена другою. То же самое можно было бы сделать и с языком, если бы число элементов, его составляющих, было ограниченным. Но число знаков языка бесконечно.

3. Слишком сложный характер системы. Язык является системой. Хотя, как мы увидим ниже, с этой именно стороны он не целиком произволен и, таким образом, в нем господствует относительная разумность, но вместе с тем именно здесь и обнаруживается неспособность говорящих преобразовать его. Дело в том, что эта система представляет собой сложный механизм и постичь ее можно лишь путем специальных размышлений. Даже те, кто изо дня в день ею пользуются, о самой системе ничего не знают. Можно было бы представить себе возможность преобразования языка лишь путем вмешательства специалистов, грамматистов, логиков и т. д. Но опыт показывает, что до сего времени такого рода попытки успеха не имели.

4. Сопротивление коллективной косности любым языковым инновациям. Все вышеуказанные соображения уступают по своей убедительности следующему: в каждый данный момент язык есть дело всех и каждого; будучи распространен в некотором коллективе и служа ему, язык есть нечто такое, чем каждый человек пользуется ежечасно, ежеминутно . В этом отношении его никак нельзя сравнивать с другими общественными установлениями. Предписания закона, обряды религии, морские сигналы и пр. затрагивают единовременно лишь ограниченное количество лиц и на ограниченный срок; напротив, языком каждый пользуется ежеминутно, почему язык и испытывает постоянное влияние всех. Это фундаментальный фактор, и его одного достаточно, чтобы показать невозможность революции в языке. Из всех общественных установлений язык предоставляет меньше всего возможностей для проявления инициативы. Он составляет неотъемлемую часть жизни общества, которое, будучи по природе инертным, выступает прежде всего как консервативный фактор.

Однако еще недостаточно сказать, что язык есть продукт социальных сил, чтобы стало очевидно, что он несвободен; помня, что язык всегда унаследован от предшествующей эпохи, мы должны добавить, что те социальные силы, продуктом которых он является, действуют в зависимости от времени. Язык устойчив не только потому, что он привязан к косной массе коллектива, но и вследствие того, что он существует во времени. Эти два факта неотделимы. Связь с прошлым ежеминутно препятствует свободе выбора. Мы говорим *человек* и *собака,* потому что и до нас говорили *человек* и *собака*. Это не препятствует тому, что во всем явлении в целом всегда налицо связь между двумя противоречивыми факторами —произвольным соглашением, в силу которого выбор означающего свободен, и временем, благодаря которому этот выбор оказывается жестко определенным. Именно потому, что знак произволен, он не знает другого закона, кроме закона традиции, и, наоборот, он может быть произвольным только потому, что опирается на традицию.

**§ 2. Изменчивость знака**

Время, обеспечивающее непрерывность языка, оказывает на него и другое действие, которое на первый взгляд противоположно первому, а именно: оно с большей или меньшей быстротой изменяет языковые знаки, так что в известном смысле можно говорить одновременно как о неизменчивости языкового знака, так и о изменчивости его.

В конце концов, оба эти факта взаимно обусловлены: знак может изменяться, потому что его существование не прерывается. При всяком изменении преобладающим моментом является устойчивость прежнего материала, неверность прошлому лишь относительна. Вот почему принцип изменения опирается на принцип непрерывности.

Изменение во времени принимает различные формы, каждая из которых могла бы послужить материалом для большой главы в теории лингвистики. Не вдаваясь в подробности, необходимо подчеркнуть следующее.

Прежде всего требуется правильно понимать смысл, который приписывается здесь слову «изменение». Оно может породить мысль, что в данном случае речь идет специально о фонетических изменениях, претерпеваемых означающим, или же специально о смысловых изменениях, затрагивающих обозначаемое понятие. Такое понимание изменения было бы недостаточным. Каковы бы ни были факторы изменения, действуют ли они изолированно или в сочетании друг с другом, они всегда приводят к *сдвигу отношения между означаемым и означающим*.

Вот несколько примеров. Лат. nесārе, означающее «убивать», превратилось во французском в nоуеr со значением «топить (в воде)». Изменились и акустический образ и понятие; однако бесполезно различать обе эти стороны данного факта, достаточно констатировать in globo, что связь понятия со знаком ослабла и что произошел сдвиг в отношениях между ними. Несколько иначе обстоит дело, если сравнивать классически латинское nесārе не с французским nоуеr, а с народнолатинским nесārе IV и V вв., означающим «топить»; но и здесь, при отсутствии изменения в означающем, имеется сдвиг в отношении между понятием и знаком.

Старонемецкое dritteil «треть» в современном немецком языке превратилось в Drittel*.* В данном случае, хотя понятие осталось тем же, отношение между ним и означающим изменилось двояким образом: означающее видоизменилось не только в своем материальном аспекте, но и в своей грамматической форме; оно более не включает элемента Teil «часть», оно стало простым словом. Так или иначе, и здесь имеет место сдвиг в отношении между понятием и знаком.

В англосаксонском языке дописьменная формаfōt «нога» сохранилась в виде fōt (совр. англ. foot), а форма мн. ч. \*fōti «ноги» превратилась в fēt (совр. англ. feet). Какие бы изменения здесь ни подразумевались, ясно одно: произошел сдвиг в отношении, возникли новые соответствия между звуковым материалом и понятием .

Язык коренным образом не способен сопротивляться факторам, постоянно меняющим отношения между означаемым и означающим. Это одно из следствий, вытекающих из принципа произвольности знака.

Прочие общественные установления — обычаи, законы и т. п. — основаны, в различной степени, на естественных отношениях вещей; в них есть необходимое соответствие между использованными средствами и поставленными целями. Даже мода, определяющая наш костюм, не вполне произвольна: нельзя отклониться далее определенной меры от условий, диктуемых свойствами человеческого тела. Язык же, напротив, ничем не ограничен в выборе своих средств, ибо нельзя себе представить, что могло бы воспрепятствовать ассоциации какого угодно понятия с какой угодно последовательностью звуков.

Желая ясно показать, что язык есть общественное установление в чистом виде, Уитни справедливо подчеркивал произвольный характер знаков: тем самым он направил лингвистику по правильному пути. Однако он не развил до конца это положение и не разглядел, что своим произвольным характером язык резко отличается от всех прочих общественных установлений. Это ясно обнаруживается в том, как он развивается; нет ничего сложнее его развития: так как язык существует одновременно и в обществе и во времени, то никто ничего не может в нем изменить; между тем произвольность его знаков теоретически обеспечивает свободу устанавливать любые отношения между звуковым материалом и понятиями. Из этого следует, что оба элемента, объединенные в знаке, живут в небывалой степени обособленно и что язык изменяется, или, вернее, эволюционирует, под воздействием всех сил, которые могут повлиять либо на звуки, либо на смысл. Эта эволюция является неизбежной: нет языка, который был бы от нее свободен. По истечении некоторого промежутка времени в каждом языке можно всегда констатировать ощутимые сдвиги.

Это настолько верно, что принцип этот можно проверить и на материале искусственных языков. Любой искусственный язык, пока он еще не перешел в общее пользование, является собственностью автора, но, как только он начинает выполнять свое назначение и становится общим достоянием, контроль над ним теряется. К числу языков этого рода принадлежит эсперанто; если он получит распространение, ускользнет ли он от неизбежного действия закона эволюции? По истечении первого периода своего существования этот язык подчинится, по всей вероятности, условиям семиологического развития: он станет передаваться в силу законов, ничего общего не имеющих с законами, управляющими тем, что создается продуманно; возврат к исходному положению будет уже невозможен. Человек, который пожелал бы создать неизменяющийся язык для будущих поколений, походил бы на курицу, высидевшую утиное яйцо: созданный им язык волей-неволей был бы захвачен течением, увлекающим вообще все языки.

Непрерывность знака во времени, связанная с его изменением во времени, есть принцип общей семиологии: этому можно было бы найти подтверждения в системе письма, в языке глухонемых и т. д.

Но на чем же основывается необходимость изменения? Нас могут упрекнуть в том, что мы разъяснили этот пункт в меньшей степени, нежели принцип неизменчивости. Это объясняется тем, что мы не выделили различных факторов изменения; надо было бы рассмотреть их во всем разнообразии, чтобы установить, в какой степени они необходимы.

Причины непрерывности a priori доступны наблюдению; иначе обстоит дело с причинами изменения во времени. Лучше пока отказаться от их точного выяснения и ограничиться общими рассуждениями о сдвиге отношений. Время изменяет все, и нет оснований считать, что язык представляет исключение из этого общего правила.

Резюмируем этапы нашего рассуждения, увязывая их с установленными во введении принципами.

1. Избегая бесплодных дефиниций слов, мы прежде всего выделили внутри общего явления, каким является *речевая* *деятельность,* две ее составляющих (facteur): *язык* и *речь.* Язык для нас — это речевая деятельность минус речь. Он есть совокупность языковых навыков, позволяющих отдельному человеку понимать других и быть ими понятым.

2. Но такое определение все еще оставляет язык вне социальной реальности, оно представляет его чем-то нереальным, так как включает лишь один аспект реальности, аспект индивидуальный: чтобы был язык, нужен *говорящий коллектив*. Вопреки видимости, язык никогда не существует вне общества, ибо язык — это семиологическое явление. Его социальная природа — одно из его внутренних свойств; полное его определение ставит нас перед лицом двух неразрывно связанных явлений, как это показано на нижеследующей схеме:



Но в этих условиях язык только жизнеспособен, но еще не живет; мы приняли во внимание лишь социальную реальность, но не исторический факт.

3. Может показаться, что язык в силу произвольности языкового знака представляет собой свободную систему, организуемую по воле говорящих, зависящую исключительно от принципа рациональности. Такой точке зрения, собственно, не противоречит и социальный характер языка, взятый сам по себе. Конечно, коллективная психология не оперирует чисто логическим материалом; нелишне вспомнить и о том, как разум сдает свои позиции в практических отношениях между людьми. И все же рассматривать язык как простую условность, доступную изменению по воле заинтересованных лиц, препятствует нам не это, но действие времени, сочетающееся с действием социальных сил; вне категории времени языковая реальность неполна, и никакие заключения относительно нее невозможны.

Если бы мы взяли язык во времени, но отвлеклись от говорящего коллектива (представим себе человека, живущего изолированно в течение многих веков), то мы не обнаружили бы в нем, возможно, никакого изменения: время было бы не властно над ним. И наоборот, если мы будем рассматривать говорящий коллектив вне времени, то не увидим действия на язык социальных сил. Чтобы приблизиться к реальности, нужно, следовательно, добавить к приведенной выше схеме знак, указывающий на движение времени:

**Время**



Теперь уже язык теряет свою свободу, так как время позволяет воздействующим на него социальным силам оказывать свое действие; мы приходим, таким образом, к принципу непрерывности, аннулирующей свободу. Однако непрерывность по необходимости подразумевает изменение, то есть более или менее значительные сдвиги в отношениях между означаемым и означающим.

***Глава III***

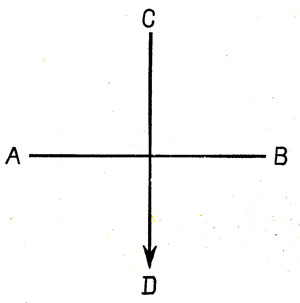
**Статическая лингвистика и эволюционная лингвистика**

**§ 1. Внутренняя двойственность всех наук, оперирующих понятием значимости**

Едва ли многие лингвисты догадываются, что появление фактора времени способно создать лингвистике особые затруднения и ставит ее перед двумя расходящимися в разные стороны путями.

Большинство наук не знает этой коренной двойственности: фактор времени не сказывается на них сколь-нибудь существенным образом. Астрономия установила, что небесные светила претерпевают заметные изменения, но ей не пришлось из-за этого расчлениться на две дисциплины. Геология почти всегда имеет дело с последовательными изменениями во времени, но, когда она переходит к уже сложившимся состояниям земли, эти состояния не рассматриваются как предмет совсем другой науки. Есть описательная наука о праве и есть история права, но никто не противопоставляет их друг другу. Политическая история государств развертывается целиком во времени, однако, когда историк рисует картину какой-либо эпохи, у нас не создается впечатления, что мы выходим за пределы истории. И наоборот, наука о политических институтах является по существу своему наукой описательной, но она отлично может, когда встретится надобность, рассматривать исторические вопросы, не теряя при этом своего единства.

Наоборот, та двойственность, о которой мы говорим, властно тяготеет, например, над экономическими науками. В противоположность указанным выше отраслям знания политическая экономия и экономическая история составляют две резко разграниченные дисциплины в недрах одной науки. Это различие двух дисциплин особо подчеркивается в экономических работах последних лет. Разграничивая указанные дисциплины, специалисты по политической экономии подчиняются внутренней необходимости, хотя и не отдают себе в этом полного отчета. Вполне аналогичная необходимость заставляет и нас членить лингвистику на две части, каждая из которых имеет свои собственные основания. Дело в том, что в лингвистике, как и в политической экономии, мы сталкиваемся с понятием *значимости.* В политической экономии ее именуют *стоимостью.* В обеих науках речь идет о *системе эквивалентностей между вещами различной природы:* в политической экономии — между трудом и заработной платой, в лингвистике — между означаемым и означающим. Совершенно очевидно, что в интересах всех вообще наук следовало бы более тщательно разграничивать те оси, по которым располагаются входящие в их компетенцию объекты. Всюду следовало бы различать, как указано на нижеследующем рисунке: 1) *ось одновременности* (АВ), касающуюся отношений между сосуществующими явлениями,где исключено всякое вмешательство времени, и 2) *ось последовательности* (CD), на которой никогда нельзя рассматривать больше одной вещи сразу и по которой располагаются все явления первой оси со всеми их изменениями.



Для наук, оперирующих понятием значимости, такое различение становится практической необходимостью, а в некоторых случаях — абсолютной необходимостью. Смело можно сказать, что в этих областях невозможно строго научно организовать исследование, не принимая в расчет наличия двух осей, не различая системы значимостей, взятых сами по себе, и этих же значимостей, рассматриваемых как функция времени.

С наибольшей категоричностью различение это обязательно для лингвиста, ибо язык есть система чистых значимостей, определяемая исключительно наличным состоянием входящих в нее элементов. Поскольку одной из своих сторон значимость связана с реальными вещами и с их естественными отношениями (как это имеет место в экономической науке: например, ценность земельного участка пропорциональна его доходности), постольку можно до некоторой степени проследить эту значимость во времени, не упуская, однако, при этом из виду, что в каждый данный момент она зависит от системы сосуществующих с ней других значимостей. Тем не менее ее связь с вещами дает ей естественную базу, а потому вытекающие из этого оценки никогда не являются вполне произвольными, они могут варьировать, но в ограниченных пределах. Однако, как мы видели, естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к лингвистике.

Следует, далее, заметить, что чем сложней и строже организована система значимостей, тем необходимее, именно вследствие сложности этой системы, изучать ее последовательно, по обеим осям. Никакая система не может сравниться в этом отношении с языком: нигде мы не имеем в наличии такой точности обращающихся значимостей, такого большого количества и такого разнообразия элементов, и притом связанных такими строгими взаимозависимостями. Множественность знаков, о которой мы уже говорили при рассмотрении непрерывности языка, полностью препятствует одновременному изучению отношений знаков во времени и их отношений в системе.

Вот почему мы различаем две лингвистики. Как их назвать? Не все предлагаемые термины в полной мере способны обозначить проводимое нами различение. Термины «история» и «историческая лингвистика» непригодны, так как они связаны со слишком расплывчатыми понятиями; поскольку политическая история включает и описание отдельных эпох и повествование о событиях, постольку можно было бы вообразить, что, описывая последовательные состояния языка, мы тем самым изучаем язык, следуя по вертикальной, временной оси; для этого пришлось бы тогда рассмотреть отдельно те явления, которые заставляют язык переходить из одного состояния в другое. Термины *эволюция* и *эволюционная лингвистика* более точны, и мы часто будем ими пользоваться; по контрасту другую науку можно было бы называть наукой о *состояниях языка* или *статической лингвистикой*.

Однако, чтобы резче оттенить это противопоставление и это скрещение двоякого рода явлений, относящихся к одному объекту, мы предпочитаем говорить о *синхронической* лингвистике и о *диахронической* лингвистике. Синхронично все, что относится к статическому аспекту нашей науки, диахронично все, что касается эволюции. Существительные же *синхрония* и *диахрония* будут соответственно обозначать состояние языка и фазу эволюции.

**§ 2. Внутренняя двойственность и история лингвистики**

Первое, что поражает, когда приступаешь к изучению языка, — это то, что для говорящего не существует последовательности этих фактов во времени: ему непосредственно дано толькоих состояние. Поэтому и лингвист, желающий понять это состояние, должен закрыть глаза на то, как оно получилось, и пренебречь диахронией.

Только отбросив прошлое, он может проникнуть в сознание говорящих. Вторжение истории может только сбить его с толку. Было бы нелепостью, рисуя панораму Альп, фиксировать ее одновременно с нескольких вершин Юрских гор, панорама должна быть зафиксирована из одной точки. Так и в отношении языка: нельзя ни описывать его, ни устанавливать нормы его применения, не отправляясь от одного определенного его состояния. Следуя за эволюцией языка, лингвист уподобляется наблюдателю, который передвигается с одного конца Юрских гор до другого, отмечая при этом изменения перспективы.

Можно сказать, что современная лингвистика, едва возникнув, с головой ушла в диахронию. Сравнительная грамматика индоевропейских языков использует добытые ею данные для гипотетической реконструкции предшествующего языкового типа; для нее сравнение не более как средство воссоздания прошлого. Тот же метод применяется и при изучении языковых подгрупп (романских языков, германских языков и т. д.), состояния языка привлекаются лишь отрывочно и весьма несовершенным образом. Таково направление, начало которому положил Бопп; поэтому его научное понимание языка неоднородно и шатко.

С другой стороны, как поступали те, кто изучал язык до возникновения лингвистической науки, то есть «грамматисты», вдохновлявшиеся традиционными методами? Любопытно отметить, что их точка зрения по занимающему нас вопросу абсолютно безупречна. Их работы ясно показывают нам, что они стремились описывать состояния; их программа была строго синхронической. Например, так называемая грамматика Пор-Ройяля пытается описать состояние французского языка в эпоху Людовика XIV и определить составляющие его значимости. Для этого у нее не возникает необходимости обращаться к средневековому французскому языку; она строго следует горизонтальной оси и никогда от нее не отклоняется. Такой метод верен; это не значит, впрочем, что он применялся безукоризненно. Традиционная грамматика игнорирует целые отделы лингвистики, как, например, отдел о словообразовании; она нормативна и считает нужным предписывать правила, а не констатировать факты; она упускает из виду целое; часто она не умеет даже отличить написанное слово от произносимого и т. п.

Классическую грамматику упрекали в том, что она не научна, между тем ее научная база менее подвержена критике, а ее предмет лучше определен, чем у той лингвистики, которую основал Бопп. Эта последняя, покоясь на неопределенном основании, не знает даже в точности, к какой цели она стремится. Не умея строго разграничить наличное состояние и последовательность состояний во времени, она совмещает два подхода одновременно (elle est à cheval sur deux domaines).

Лингвистика уделяла слишком большое место истории; теперь ей предстоит вернуться к статической точке зрения традиционной грамматики, но уже понятой в новом духе, обогащенной новыми приемами и обновленной историческим методом, который, таким образом, косвенно помогает лучше осознавать состояния языка. Прежняя грамматика видела лишь синхронический факт; лингвистика открыла нам новый ряд явлений, но этого недостаточно: надо почувствовать противоположность обоих подходов, чтобы извлечь из этого все вытекающие последствия.

**§ 3. Внутренняя двойственность лингвистики, показанная на примерах**

Противоположность двух точек зрения — синхронической и диахронической — совершенно абсолютна и не терпит компромисса. Приведем несколько фактов, чтобы показать, в чем состоит это различие и почему оно неустранимо.

Латинское crispus «волнистый, курчавый» оставило в наследство французскому языку корень сréр-, откуда таголы crépir «покрывать штукатуркой» и décrépir «отбивать штукатурку». С другой стороны, в какой-то момент из латинского языка во французский было заимствовано слово dēcrepitus «дряхлый» с неясной этимологией, и из него получилось décrépit с тем же значением. Несомненно, в настоящее время говорящие связывают между собою un mur décrépi «облупившаяся стена» и un homme décrépit «дряхлый человек», хотя исторически эти два слова ничего общего между собой не имеют; часто говорт façade décrépite d'une maison в смысле «облупившийся фасад дома». И это есть факт статический, поскольку речь идет об отношении между двумя сосуществующими в языке явлениями. Для того чтобы он проявился, оказалось необходимым стечение целого ряда обстоятельств из области эволюции: потребовалось, чтобы crisp- стало произноситься сréр- и чтобы в некий момент из латинского было заимствовано новое слово. Вполне очевидно, что эти диахронические факты не находятся ни в каком отношении с порожденным ими синхроническим фактом; они — явления иного порядка.

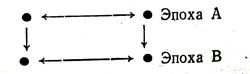
Вот еще один пример, имеющий общее значение. В древневерхненемецком языке множественное число от существительного gast «гость» первоначально имело форму gasti, от существительного hant «рука» — hanti и т. д. Впоследствии это i вызвало умлаут, то есть привело к изменению (в предшествующем слоге) *a* на *e*: gasti → gesti, hanti → henti. Затем это i утратило свой тембр, откуда gesti → geste и т. д. В результате ныне мы имеем Gast: Gäste, Hand: Hände; целый разряд слов обнаруживает то же различие между единственным и множественным числом. Аналогичное, в общем, явление произошло и в англосаксонском языке: первоначально было fōt «нога», мн. ч. \*fōti; tōþ «зуб», мн.ч. \*tōþi; gōs «гусь», мн.ч. \*gōsi и т. д.; затем, в результате первого фонетического изменения — умлаута, \*fōti превратилось в \*fēti, a в результате второго фонетического изменения — падения конечного I — fēti дало fēt, так возникло отношение ед. ч. fōt: мн. ч.. fēt и аналогично tōþ: tēþ, gōs: gēs (совр. англ. foot: feet, tooth: teeth, goose: geese).

Первоначально, когда говорили gast: gasti, fōt: fōti, множественное число выражалось простым прибавлением i; Gast: Gäste и fōt: fēt выявляют иной механизм для выражения множественного числа. Этот механизм неодинаков в обоих случаях: в староанглийском — только противопоставление гласных, в немецком — еще и наличие или отсутствие конечного -е, но это различие для нас несущественно.

Отношение между единственным числом и множественным, образованным от него, каковы бы ни были их формы, для каждого данного момента может быть выражено на горизонтальной оси, а именно

img117

Те же факты (каковы бы они ни были), которые вызвали переход от одной формы к другой, должны, наоборот, быть расположены на вертикальной оси, так что в результате мы получаем



Наш типовой пример порождает целый ряд соображений, непосредственно относящихся к нашей теме:

1. Диахронические факты вовсе не имеют своей целью выразить другим знаком какую-то определенную значимость в языке: переход gasti в gesti, geste (Gäste) нисколько не связан с множественным числом существительных, так как в tragit → trägt тот же умлаут связан со спряжением. Таким образом, диахронический факт является самодовлеющим событием, и те конкретные синхронические последствия, которые могут из него проистекать, ему совершенно чужды.

2. Диахронические факты вовсе не стремятся изменить систему. Здесь отсутствует намерение перейти от одной системы отношений к другой; перемена касается не упорядоченного целого, а только отдельных элементов его.

Здесь мы снова встречаемся с уже высказанным нами принципом: система никогда не изменяется непосредственно, сама по себе она неизменна, изменению подвержены только отдельные элементы независимо от связи, которая соединяет их со всей совокупностью. Это можно сравнить с тем, как если бы одна из планет, обращающаяся вокруг Солнца, изменилась в размере и массе: этот изолированный факт повлек бы за собой общие последствия и нарушил бы равновесие всей солнечной системы в целом. Для выражения множественного числа необходимо противопоставление двух явлений: либо fōt: \*fōti, либо fōt: \*fēt; эти два способа в равной мере возможны, и говорящие перешли от одного к другому, как бы и не прикасаясь к ним: не целое было сдвинуто и не одна система породила другую, но один из элементов первой системы изменился, и этого оказалось достаточно для того, чтобы произвести новую систему.

3. Это наблюдение помогает нам понять *случайный* характер всякого состояния. В противоположность часто встречающемуся ошибочному представлению язык не есть механизм, созданный и приспособленный для выражения понятий. Наоборот, как мы видели, новое состояние, порожденное изменением каких-либо его элементов, вовсе не предназначается для выражения значений, которыми оно оказалось пропитанным. Дано случайное состояние fōt: fēt*,* и им воспользовались для выражения различия между единственным и множественным числом. Противопоставление fōt: fēt служит этому не лучше, чем fōt: \*fōti. Каждый раз, как возникает новое состояние, разум одухотворяет уже данную материю и как бы вдыхает в нее жизнь. Этот взгляд, внушенный нам исторической лингвистикой, не был известен традиционной грамматике, которая свойственными ей методами не могла бы никогда прийти к нему. Равным образом ничего о нем не знает и большинство философов, между тем нет ничего более важного с философской точки зрения, чем эта концепция.

4. Имеют ли факты, принадлежащие к диахроническому ряду, по крайней мере ту же природу, что и факты синхронического ряда? Нет, не имеют, ибо, как мы уже установили, изменения происходят без всякого намерения. Синхронический факт, напротив, всегда облечен значением; он всегда апеллирует к двум одновременно существующим членам отношения: множественное число выражается не формой Gäste, a противоположением Gast: Gäste. В диахроническом плане верно как раз обратное: он затрагивает лишь один член отношения и для появления новой формы Gäste надо, чтобы старая форма gasti уступила ей место и исчезла.

Попытка объединить внутри одной дисциплины столь различные по характеру факты представляется фантастическим предприятием. В диахронической перспективе мы имеем дело с явлениями, которые не имеют никакого отношения к системам, хотя и обусловливают их.

Приведем еще несколько примеров, подтверждающих и дополняющих выводы, извлеченные из первых.

Во французском языке ударение всегда падает на последний слог, если только он не содержит в себе немого *е* (ə). Это факт синхронический: отношение между совокупностью французских слов и ударением французского слова. Откуда он взялся? Из предшествовавшего состояния. В латинском языке система ударения была иная и более сложная: ударение падало на предпоследний слог, если он был долгим; если же он был кратким, то ударение переносилось на третий слог от конца (ср. amīcus «друг», но ánǐmа «душа»). Этот закон описывает отношения, не имеющие ни малейшей аналогии с законом французского ударения. Тем не менее это то же самое ударение — в том смысле, что оно осталось на тех же местах; во французском слове оно падает всегда на тот слог, который имел его в латинском языке: amīcum → amí, ánimam → âme*.* Между тем формулы ударения во французском и латинском различны, и это потому, что изменилась форма слов. Как известно, все, что следовало за ударением, либо исчезло, либо свелось к немому е. Вследствие этого изменения слова позиция ударения по отношению к целому слову стала иной; в результате говорящие, сознавая наличие нового отношения, стали инстинктивно ставить ударение на последнем слоге даже в заимствованных, унаследованных через письменность словах (facile, consul, ticket, burgrave и т. п.). Ясно, что у говорящих не было намерения изменить систему, сознательного стремления к новой формуле ударения, ибо в словах типа amīcum → amí ударение осталось на прежнем слоге; однако тут вмешалась диахрония: место ударения оказалось измененным, хотя к нему никто и не прикасался. Закон ударения, как и все, относящееся к лингвистической системе, есть соотношение (disposition) членов системы, то есть случайный и невольный результат эволюции .

Приведем еще более разительный пример. В старославянском языке лЬто имеет в творительном падеже единственного числа форму л·Ьтомъ, в именительном падеже множественного числа — лЬта, в родительном падеже множественного числа — яЬтъ и т. д.; в этом склонении у каждого падежа свое окончание. Однако славянские «слабые» гласные **ь** и **ъ**, восходящие к и.-е. ǐ и ŭ, в конце концов, исчезли; вследствие этого данное существительное, например, в русском языке, склоняется так: *лето, летом, лета, лет.* Равным образом *рукá* склоняется так: вин. п. ед. ч. *рýку,* им. п. мн. ч. *рýки,* род. п. мн. ч. *рук* и т. д. Таким образом, здесь в формах *лет, рук* показателем родительного падежа множественного числа является нуль. Итак, оказывается, что материальный знак не является необходимым для выражения понятия; язык может ограничиться противопоставлением чего-либо ничему. Так, в приведенном примере мы узнаем родительный падеж множественного числа *рук* просто потому, что это ни *рука*, ни *руку*, ни какая-либо из прочих форм. На первый взгляд кажется странным, что столь специфическое понятие, как понятие родительного падежа множественного числа, стало обозначаться *нулем,* но это как раз доказывает, что все происходит по чистой случайности. Язык есть механизм, продолжающий функционировать, несмотря на повреждения, которые ему наносятся.

Все вышеизложенное подтверждает уже сформулированные нами принципы, которые мы резюмируем здесь следующим образом:

Язык есть система, все части которой могут и должны рассматриваться в их синхронической взаимообусловленности.

Изменения никогда не происходят во всей системе в целом, а лишь в том или другом из ее элементов, они могут изучаться только вне ее. Конечно, всякое изменение сказывается в свою очередь на системе, но исходный факт затрагивает лишь одну ее точку; он не находится ни в какой внутренней связи с теми последствиями, которые могут из него проистечь для целого. Это различие по существу между сменяющимися элементами и элементами сосуществующими, между частными фактами и фактами, затрагивающими систему, препятствует изучению тех и других в рамках одной науки.

**§ 4. Различие синхронии и диахронии, показанное на сравнениях**

Чтобы показать одновременно и автономность и зависимость синхронического ряда от диахронического, первый из них можно сравнить с проекцией тела на плоскость. В самом деле, всякая проекция непосредственно зависит от проецируемого тела, и все-таки она представляет собою нечто особое, отличное от самого тела. Иначе не было бы специальной науки о проекциях: достаточно было бы рассматривать сами тела. В лингвистике таково же отношение между исторической действительностью и данным состоянием языка, представляющим как бы проекцию этой действительности в тот или иной момент. Синхронические состояния познаются не путем изучения тел, то есть диахронических событий, подобно тому как понятие геометрических проекций не постигается в результате изучения, хотя бы весьма пристального, различных видов тел.

Возьмем еще одно сравнение, воспользовавшись следующим рисунком:



Если сделать поперечный срез стебля растения, то на месте среза мы увидим более или менее сложный рисунок — это не что иное, как перспектива продольных волокон, которые мы и обнаружим, если произведем второй срез, перпендикулярный первому. Здесь опять одна из перспектив зависит от другой: продольный срез показывает нам самые волокна, образующие растение, а поперечный срез — их группировку на перпендикулярной им плоскости; но второй срез отличается от первого, ибо он обнаруживает между волокнами некоторые отношения, не доступные наблюдению на продольной плоскости.

Из всех сравнений, которые можно было бы придумать, наиболее показательным является сравнение, которое можно провести между функционированием языка и игрой в шахматы. И здесь и там налицо система значимостей и наблюдаемое изменение их. Партия в шахматы есть как бы искусственная реализация того, что в естественной форме представлено в языке.

Рассмотрим это сравнение детальнее.

Прежде всего, понятие позиции в шахматной игре во многом соответствует понятию состояния в языке. Соответствующая значимость фигур зависит от их положения в каждый данный момент на доске, подобно тому как в языке значимость каждого элемента зависит лишь от его противоположения всем прочим элементам.

Далее, система всегда моментальна; она видоизменяется от позиции к позиции. Правда, значимость фигур зависит также, и даже главным образом, от неизменного соглашения: от правил игры, существующих еще до начала партии и сохраняющих свою силу после каждого хода. Но такие правила, принятые раз навсегда, существуют и в области языка: это неизменные принципы семиологии.

Наконец, для перехода от одного состояния равновесия к другому или — согласно принятой нами терминологии — от одной синхронии к другой достаточно сделать ход одной фигурой; не требуется передвижки всех фигур сразу. Здесь мы имеем полное соответствие диахроническому факту со всеми его особенностями. В самом деле:

а) Каждый шахматный ход приводит в движение только одну фигуру; так и в языке изменениям подвергаются только отдельные элементы.

б) Несмотря на это, каждый ход сказывается на всей системе; игрок не может в точности предвидеть последствия каждого хода. Изменения значимостей всех фигур, которые могут произойти вследствие данного хода, в зависимости от обстоятельств будут либо ничтожны, либо весьма значительны, либо, в общем, скромны. Один ход может коренным образом изменить течение всей партии и повлечь за собой последствия даже для тех фигур, которые в тот момент, когда его делали, были им не затронуты. Мы уже видели, что точно то же верно и в отношении языка.

в) Ход отдельной фигурой есть факт, абсолютно отличный от предшествовавшего ему и следующего за ним состояния равновесия. Произведенное изменение не относится ни к одному из этих двух состояний; для нас же важны одни лишь состояния.

В шахматной партии любая данная позиция характеризуется, между прочим, тем, что она совершенно независима от всего того, что ей предшествовало; совершенно безразлично, каким путем она сложилась; зритель, следивший за всей партией с самого начала, не имеет ни малейшего преимущества перед тем, кто пришел взглянуть на положение партии в критический момент; для описания данной шахматной позиции совершенно незачем вспоминать о том, что происходило на доске десять секунд тому назад. Все это рассуждение применимо и к языку и еще раз подчеркивает коренное различие, проводимое нами между диахронией и синхронией. Речь функционирует лишь в рамках данного состояния языка, и в ней нет места изменениям, происходящим между одним состоянием и другим.

Лишь в одном пункте наше сравнение неудачно: у шахматиста *имеется* *намерение* сделать определенный ход и воздействовать на систему отношений на доске, язык же ничего не замышляет — его «фигуры» передвигаются, или, вернее, изменяются, стихийно и случайно. Умлаут в формах Hände вместо hanti и Gäste вместо gasti создал множественное число нового вида, но он также вызвал к жизни и глагольную форму trägt вместо tragit и т. д. Чтобы партия в шахматы во всем уподобилась функционированию языка, необходимо представить себе бессознательно действующего или ничего не смыслящего игрока. Впрочем, это единственное отличие делает сравнение еще более поучительным, показывая абсолютную необходимость различать в лингвистике два ряда явлений. В самом деле, если диахронические факты несводимы к обусловленной ими синхронической системе даже тогда, когда соответствующие изменения подчиняются разумной воле, то тем более есть основания полагать, что так обстоит дело и тогда, когда эти диахронические факты проявляют свою слепую силу при столкновении с организованной системой знаков.

**§ 5. Противопоставление синхронической и диахронической лингвистик в отношении их методов и принципов**

Противопоставление между диахроническим и синхроническим проявляется всюду. Прежде всего (мы начинаем с явления наиболее очевидного) они неодинаковы по своему значению для языка. Ясно, что синхронический аспект превалирует над диахроническим, так как для говорящих только он — подлинная и единственная реальность. Это же верно и для лингвиста: если он примет диахроническую перспективу, то увидит отнюдь не язык, а только ряд видоизменяющих его событий. Часто утверждают, что нет ничего более важного, чем познать генезис данного состояния; это в некотором смысле верно: условия, создавшие данное состояние, проясняют нам его истинную природу и оберегают нас от некоторых иллюзий , но этим как раз и доказывается, что диахрония не является самоцелью. О ней можно сказать то же, что было как-то сказано о прессе: она открывает дорогу решительно ко всему — надо только [вовремя] уйти из нее.

Методы синхронии и диахронии тоже различны, и притом в двух отношениях:

а) Синхрония знает только одну перспективу, перспективу говорящих, и весь ее метод сводится к собиранию от них языковых фактов; чтобы убедиться, в какой мере то или другое языковое явление реально, необходимо и достаточно выяснить, в какой *мере* оно существует в сознании говорящих. Напротив, диахроническая лингвистика должна различать две перспективы: одну *проспективную,* следующую за течением времени, и другую *ретроспективную*, направленную вспять; отсюда — раздвоение метода, о чем будет идти речь в пятой части этой работы.

б) Второе различие вытекает из разницы в объеме той области, на которую распространяется та и другая дисциплина. Объектом синхронического изучения является не все совпадающее по времени, а только совокупность фактов, относящихся к тому или другому языку; по мере надобности подразделение доходит до диалектов и поддиа-лектов. В сущности, термин *синхрония* не вполне точен: его следовало бы заменить термином *идиосинхрония*, хотя он и несколько длинный. Наоборот, диахроническая лингвистика не только не требует подобной специализации, но и отвергает ее; рассматриваемые ею элементы не принадлежат обязательно к одному языку (ср. и.-е. \*esti, греч. ésti, нем. ist, франц. est). Различие же между отдельными языками создается последовательным рядом событий, развертывающихся в языке на временной оси и умножаемых действием пространственного фактора. Для сопоставления двух форм достаточно, если между ними есть историческая связь, какой бы косвенной она ни была.

Эти противопоставления не самые яркие и не самые глубокие: из коренной антиномии между фактом эволюционным и фактом статическим следует, что решительно все понятия, относящиеся к тому или другому, в одинаковой мере не сводимы друг к другу. Любое из этих понятий может служить доказательством этой несводимости. Таким образом, синхроническое явление не имеет ничего общего с диахроническим: первое есть отношение между одновременно существующими элементами, второе — замена во времени одного элемента другим, то есть событие. Мы увидим ниже, что тождества диахронические и синхронические суть вещи совершенно различные: исторически французское отрицание pas «не» тождественно существительному pas «шаг», тогда как в современном языке это два совершенно разных элемента. Уже этих констатации, казалось бы, было достаточно для уяснения того, что смешивать обе точки зрения нельзя; но нигде необходимость такого разграничения не обнаруживается с такой очевидностью, как в том различии, к которому мы сейчас переходим.

**§ 6. Синхронический закон и закон диахронический**

Мы привыкли слышать о законах в лингвистике, но действительно ли факты языка управляются законами и какого рода могут быть эти законы? Поскольку язык есть общественное установление, можно было бы a priori сказать, что он регулируется предписаниями, аналогичными тем, которые управляют жизнью общества. Как известно, всякий общественный закон обладает двумя основными признаками: он является *императивным* и *всеобщим.* Он обязателен для всех, и он распространяется на все случаи, разумеется, в определенных временных и пространственных границах.

Отвечают ли такому определению законы языка? Чтобы выяснить это, надо прежде всего, в соответствии с только что сказанным, и здесь еще раз разделить сферы синхронического и диахронического. Перед нами две разные проблемы, смешивать которые нельзя: говорить о лингвистическом законе вообще равносильно желанию схватить призрак.

Вот несколько примеров из области греческого языка, причем «законы» синхронии и диахронии здесь умышленно смешаны:

1. Индоевропейские звонкие придыхательные превратились в глухие придыхательные: dhūmus → thūmόs «жизнь», \*bherō → phérō «несу» и т. д.

2. Ударение в слове никогда не бывает далее третьего слога от юнца.

3. Все слова оканчиваются на гласный или на s, n, r, но не на какой-либо иной согласный.

4. Начальное s перед гласным превратилось в h (густое придыхание): *\*septm* (лат. septem) → heptá «семь».

5. Конечное m изменилось в n: \*jugom → zugόn (ср. лат. jugum)«ярмо».

6. Конечные смычные отпали: \*gιιnaik → gúnai, зв. п. «(о) жена!», «(о) женщина!», \*epheret → éphere «он нес», \*epheront → épheron «они несли».

Первый из этих законов является диахроническим: что было dh, то стало th и т. д. Второй выражает отношение между словом как целым и ударением — своего рода «соглашение» между двумя сосуществующими элементами: это синхронический закон. Таков же и третий закон, так как он касается слова как целого и его окончания. Четвертый, пятый и шестой законы являются диахроническими: что было s, то стало h; конечное m изменилось в n; конечное t, k и другие смычные исчезли бесследно.

Необходимо, кроме того, заметить, что третий закон есть результат пятого и шестого: два диахронических факта создали один синхронический.

Разделив таким образом эта две категории законов, мы убеждаемся, что второй и третий законы не однородны с первым, четвертым, пятым и шестым.

Синхронический закон — общий закон, но не императивный: попросту отображая существующий порядок вещей, он только констатирует некое состояние; он является законом постольку же, поскольку законом может быть названо, например, утверждение, что в данном фруктовом саду деревья посажены косыми рядами. Отображаемый им порядок вещей непрочен как раз потому, что этот порядок не императивен. Казалось бы, можно возразить, что в речи синхронический закон обязателен в том смысле, что он навязан каждому человеку принуждением коллективного обычая, это верно, но мы ведь понимаем слово «императивный» не в смысле обязательности по отношению к говорящим — отсутствие императивности означает, что в *языке* нет никакой силы, гарантирующей сохранение регулярности, установившейся в каком-либо пункте. Так, нет ничего более регулярного, чем синхронический закон, управляющий латинским ударением (в точности сравнимый с законом греческого ударения, приведенным выше под рубрикой 2); между тем эти правила ударения не устояли перед факторами изменения и уступили место новому закону, действующему во французском языке. Таким образом, если и можно говорить о законе в синхронии, то только в смысле упорядочения, в смысле принципа регулярности.

Диахрония предполагает, напротив того, динамический фактор, приводящий к определенному результату, производящий определенное действие. Но этого императивного характера недостаточно для применения понятия закона к фактам эволюции языка; о законе можно говорить лишь тогда, когда целая совокупность явлений подчиняется единому правилу, а диахронические события всегда в действительности носят случайный и частный характер, несмотря на видимые исключения из этого.

В отношении семантических фактов это сразу же бросается в глаза: если франц. poutre «кобыла» приняло значение «балка», то это было вызвано частными причинами и не зависело от прочих изменений, которые могли произойти в языке в тот же период времени; это было чистой случайностью из числа многих случайностей, регистрируемых историей языка.

В отношении синтаксических и морфологических изменений вопрос на первый взгляд не так ясен. В какой-то период все формы прежнего именительного падежа во французском языке исчезли. Разве здесь нет совокупности фактов, подчиненных общему закону? Нет, так как все это является лишь многообразным проявлением одного и того же отдельного факта. Затронутым преобразованием оказалось самое понятие именительного падежа, и исчезновение его, естественно, повлекло за собою исчезновение всей совокупности его форм. Для всякого, кто видит лишь поверхность языка, единственный феномен оказывается скрытым за множеством его проявлений; в действительности же он один, по самой глубинной своей сути, и составляет историческое событие, столь же отдельное в своем роде, как и семантическое изменение, происходящее со словом poutre «кобыла»; он принимает облик «закона» лишь постольку, поскольку осуществляется в системе; строгая упорядоченность этой последней и создает иллюзию, будто диахронический факт подчиняется тем же условиям, что и синхронический.

Так же обстоит дело и в отношении фонетических изменений, а между тем обычно говорят о фонетических законах. В самом деле, констатируется, что в данный момент, в данной области все слова, представляющие одну и ту же звуковую особенность, подвергаются одному и тому же изменению. Так, рассмотренный выше закон 1 (\*dhūmos → \*гpeч. thūmόs) затрагивает все греческие слова, содержавшие звонкий придыхательный согласный: ср. \*nebhos → néphos «облако», \*medhu → méthu «вино», \*anghō → ánkhō «душить» и т. д. Рассмотренный выше закон 4 (\*septm → heptá) применим к \*serpō → hérpō «пресмыкающееся», \*sūs → hūs «свинья» и вообще ко всем словам, начинающимся с s. Эта регулярность, которую иногда оспаривали, представляется нам весьма прочно установленной; кажущиеся исключения не устраняют неизбежного характера изменений этого рода, так как они объясняются либо более частными фонетическими законами (ср., например, tríkhes : thriksí), либо вмешательством фактов иного порядка (например, аналогии и т. п.). Ничто, казалось бы, лучше не отвечает данному выше определению понятия «закон». А между тем, сколь бы ни были многочисленны случаи, на которых подтверждается фонетический закон, все охватываемые им факты являются всего лишь проявлением одного частного факта.

Суть вопроса заключается в том, что затрагивают фонетические изменения — слова или только звуки. Ответ не вызывает сомнений: в néphos, méthu, ánkhō и т. д. изменению подвергается определенная фонема: в одном случае звонкая придыхательная превращается в глухую придыхательную, в другом — начальное s превращается в h и т. д., и каждое из этих событий изолировано, независимо от прочих событий того же порядка, а также независимо от слов, в которых оно происходит. Естественно, все эти слова меняются в своем звуковом составе, но это не должно нас обманывать относительно истинной природы явления.

В своем утверждении, что сами слова непосредственно не участвуют в фонетических изменениях, мы опираемся на то простое наблюдение, что такие изменения происходят фактически независимо от слов и не могут затронуть их в их сущности. Единство слова образовано ведь не только совокупностью его фонем, оно держится не на его материальном качестве, а на иных его свойствах. Предположим, что в рояле фальшивит одна струна: всякий раз, как, исполняя мелодию, будут к ней прикасаться, зазвучит фальшивая нота. Но где именно она зазвучит? В мелодии? Конечно, нет: затронута не она, поврежден ведь только рояль. Совершенно то же самое происходит и в фонетике. Система наших фонем представляет собою инструмент, на котором мы играем, произнося слова языка; видоизменись одинизэлементов системы, могут произойти различные последствия, но сам факт изменения затрагивает совсем не слова, которые, так сказать, являются лишь мелодиями нашего репертуара.

Итак, диахронические факты носят частный характер; сдвиги в системе происходят в результате событий, которые не только ей чужды, но сами изолированы и не образуют в своей совокупности системы.

Резюмируем: синхронические факты, каковы бы они ни были, обладают определенной регулярностью, но совершенно лишены какого-либо императивного характера; напротив, диахронические факты навязаны языку, но не имеют характера общности.

Короче говоря — к чему мы и хотели прийти, — ни синхронические, ни диахронические факты не управляются законами в определенном выше смысле. Если тем не менее, невзирая ни на что, угодно говорить о лингвистических законах, то термин этот должен иметь совершенно разное значение в зависимости от того, с чем мы его соотносим: с явлениями синхронического или с явлениями диахронического порядка.

**§ 7. Существует ли панхроническая точка зрения?**

До сих пор мы понимали термин «закон» в юридическом смысле. Но быть может, в языке существуют законы в том смысле, как их понимают науки физические и естественные, то есть отношения, обнаруживающие свою истинность всюду и всегда? Иначе говоря, нельзя ли изучать язык с точки зрения панхронической?

Разумеется, можно. Поскольку, например, всегда происходили и будут происходить фонетические изменения, постольку можно рассматривать это явление вообще как одно из постоянных свойств языка — это, таким образом, один из его законов. В лингвистике, как и в шахматной игре, есть правила, переживающие все события. Но это лишь общие принципы, не зависимые от конкретных фактов; в отношении же частных и осязаемых фактов никакой панхронической точки зрения бьпъ не может. Так, всякое фонетическое изменение, каково бы ни было его распространение, всеща ограничено определенным временем и определенной территорией; оно отнюдь не простирается на все времена и все местности, оно существует лишь диахронически. В этом мы и можем найти критерий для отличения того, что относится к языку, от того, что к нему не относится. Конкретный факт, допускающий панхроничесиое объяснение, не может принадлежать языку. Возьмем французское слово chose «вещь»; с диахронической точки зрения оно противопоставлено лат. causa, от которого оно происходит, а с синхронической точки зрения — всем словам, которые могут быть с ним ассоциированы в современном французском языке. Одни лишь звуки этого слова, взятые сами по себе (∫o:z), допускают панхронический подход, но они не имеют лингвистической значимости; и даже с панхронической точки зрения ∫o:z, взятое в потоке речи, например в составе yn ∫o:z admirablə (une chose admirable «восхитительная вещь»), не является единицей; это бесформенная масса, не ограниченная ничем. В самом деле, почему именно ∫o:z, а не о:zа или n∫o:? Все это не обладает значимостью, потому что не имеет смысла. Конкретные факты языка не могут изучаться с панхронической точки зрения.

**§ 8. Последствия смешения синхронии и диахронии**

Могут представиться два случая:

а) При поверхностном взгляде может показаться, что синхроническая истина отрицает истину диахроническую и что между ними надо выбирать; в действительности этого не требуется: ни одна из этих истин не исключает другую. Если французское слово dépit «досада» прежде означало «презрение», это не мешает ему ньгае иметь совершенно иной смысл; этимология и синхроническая значимость — это две различные вещи. Или еще: традиционная грамматика современного французского языка учит, что причастие настоящего времени в одних случаях изменяется и согласуется с существительным как прилагательное (например, unе еаu *courante* «проточная (букв. «бегущая») вода»), а в других случаях остается неизменяемым (например, une personne *courant* dans la rue «человек, бегущий по улице»). Однако историческая грамматика нам показывает, что в данном случае дело идет не об одной форме, а о двух: первая из них восходит к латинскому причастию currentem, которое изменяется по родам, а второе происходит от неизменяющегося по родам творительного падежа герундия currendō. Противоречит ли синхроническая истина истине диахронической и нужно ли осудить традиционную грамматику во имя грамматики исторической? Нет, потому что поступать так значило бы видеть лишь половину действительности; не следует думать, что только исторический факт важен и достаточен для образования языка. Разумеется, причастие courant имеет два разных источника, но языковое сознание их сближает и сводит к одному — эта синхроническая истина столь же абсолютна и непререкаема, как и другая, диахроническая.

б) Синхроническая истина до такой степени согласуется с истиной диахронической, что их смешивают или считают излишним их различать. Считают, например, достаточным для объяснения нынешнего значения франц. рèrе «отец» сказать, что латинское pater имело то же значение. Другой пример: латинское краткое *а* в открытом, не начальном слоге изменилось в i: наряду с faciō «делаю» мы имеем conficiō «совершаю», наряду с anīcus «друг» — inimīcus «недруг» и т. д. Часто закон формулируется так, что *а* в слове faciō переходит в i в слове conficiō потому, что оно оказывается уже не в первом слоге. Это неточно: никогда *а* в слове faciō не переходило в i в слове conficiō. Для восстановления истины необходимо различать две эпохи и четыре члена отношения: сперва говорили faciō — confaciō; затем, после того как confaciō превратилось в conficiō, а faciō осталось без изменения, стали произносить faciō — conficiō. Получается, таким образом, следующее:

img129

Если говорить об «изменении», то произошло оно между confaciō и conficiō; правило же, приведенное выше, было столь плохо сформулировано, что даже не упоминало о первом изменении! Далее, наряду с этим изменением, которое является, конечно, фактом диахроническим, существует другой факт, абсолютно отличный от первого и касающийся чисто синхронического противопоставления между faciō и conficiō. Обычно говорят, что это не факт, а результат. Однако это факт определенного порядка, и нужно подчеркнуть, что такими именно фактами являются все синхронические явления. Вскрыть истинный вес противопоставления faciō — conficiō мешает то обстоятельство, что значимость этого противопоставления невелика. Однако если рассмотреть пары Gast — Gäste, gebe — gibt, то нетрудно убедиться, что эти противопоставления, хотя они тоже являются случайным результатом фонетической эволюции, образуют в синхроническом срезе существеннейшие грамматические феномены. Поскольку оба ряда явлений, сверх того, тесно между собою связаны и взаимообусловлены, возникает мысль, что нечего их и различать, — и, действительно, лингвистика их смешивала в течение целых десятилетий, не замечая, что метод ее никуда не годится.

Однако в некоторых случаях эта ошибка явно бросается в глаза. Так, для объяснения греч. phuktόs «избежный», казалось бы, достаточно сказать: в греческом g и kh изменяются в k перед глухими согласными, что и обнаруживается в таких синхронических соответствиях, как phugeîn «бежать»: phuktόs «избежный», lékhos «ложе»: léktron «ложе» (вин. п.) и т. д. Но тут мы наталкиваемся на такие случаи, как tríkhes «волосы»: thriksí «волосам», где налицо осложнение в виде «перехода» t в th. Формы этого слова могут быть объяснены лишь исторически, путем использования относительной хронологизации явлений. Первоначальная основа \*thrikh при наличии окончания -si дала thriksí — явление весьма древнее, тождественное тому, которое произвело léktron от корня lekh-. Впоследствии всякий придыхательный, за которым в том же слове следовал другой придыхательный, перешел в соответствующий глухой, и \*thríkhes превратилось в tríkhes; естественно, что thriksí избежало действия этого закона.

**§ 9. Выводы**

Так лингвистика подходит ко второй своей дихотомии. Сперва нам пришлось выбирать между языком и речью, теперь мы находимся у второго перекрестка, откуда ведут два пути: один — в диахронию, другой — в синхронию.

Используя этот двойной принцип классификации, мы можем теперь сказать, что *все диахроническое в языке является таковым лишь через речь* . Именно в речи источник всех изменений; каждое из них, прежде чем войти в общее употребление, начинает применяться некоторым числом говорящих. Теперь по-немецки говорят: ich war «я был», wir waren «мы были», тогда как в старом немецком языке до XVI в. спрягали: ich was, wir waren (по-английски до сих пор говорят: I was. We were). Каким же образом произошла эта перемена: war вместо was? Отдельные лица под влиянием waren создали по аналогии war *—* это был факт речи; такая форма, часто повторявшаяся, была принята коллективом и стала фактом языка. Но не все инновации речи увенчиваются таким успехом, и, поскольку они остаются индивидуальными, нам незачем принимать их во внимание, так как мы изучаем язык; они попадают в поле нашего зрения лишь с момента принятия их коллективом.

Факту эволюции всегда предшествует факт или, вернее, множество сходных фактов в сфере речи: это ничуть не противоречит установленному выше различию, которое этим только подтверждается, так как в истории любой инновации мы отмечаем всегда два момента: 1) момент появления ее у отдельных лиц и 2) момент превращения ее в факт языка, когда она, внешне оставаясь той же, принимается всем языковым коллективом.

Нижеследующая таблица показывает ту рациональную форму, которую должна принять лингвистическая наука:

img131

Следует признать, что отвечающая теоретическим потребностям рациональная форма науки не всегда совпадает с той, которую навязывают ей требования практики. В лингвистике требования практики еще настоятельней, чем в других науках; они до некоторой степени оправдывают ту путаницу, которая в настоящее время царит в лингвистических исследованиях. Даже если бы устанавливаемые нами различения и были приняты раз и навсегда, нельзя было бы, быть может, во имя этого идеала связывать научные изыскания чересчур строгими требованиями.

Так, например, производя синхроническое исследование старофранцузского языка, лингвист оперирует такими фактами и принципами, которые не имеют ничего общего с теми, которые ему бы открыла история этого же языка с XIII до XX в.; зато они сравнимы с теми фактами и принципами, которые обнаружились бы при описании одного из нынешних языков банту, греческого (аттического) языка V в. до нашей эры или, наконец, современного французского. Дело в том, что все такие описания покоятся на сходных отношениях; хотя каждый отдельный язык образует замкнутую систему, все они предполагают наличие некоторых постоянных принципов, на которые мы неизменно наталкиваемся, переходя от одного языка к другому, так как всюду продолжаем оставаться в сфере явлений одного и того же порядка. Совершенно так же обстоит дело и с историческим исследованием: обозреваем ли мы определенный период в истории французского языка (например, от XIII до XX в.), или яванского языка, или любого другого, всюду мы имеем дело со сходными фактами, которые достаточно сопоставить, чтобы установить общие истины диахронического порядка. Идеалом было бы, чтобы каждый ученый посвящал себя либо одному, либо другому аспекту лингвистических исследований и охватывал возможно большее количество фактов соответствующего порядка; но представляется весьма затруднительным научно овладеть столь разнообразными языками. С другой стороны, каждый язык представляет собой практически одну единицу изучения, так что силою вещей приходится рассматривать его попеременно и статически и исторически. Все же никогда не следует забывать, что чисто теоретически это единство отдельного языка как объекта изучения есть нечто поверхностное, тогда как различия языков таят в себе глубокое единство. Пусть при изучении отдельного языка наблюдатель обращается как к синхронии, так и к диахронии; всегда надо точно знать, к какому из двух аспектов относится рассматриваемый факт, и никогда не следует смешивать методы синхронических и диахронических исследований.

Разграниченные указанным образом части лингвистики будут в дальнейшем рассмотрены одна за другой.

*Синхроническая лингвистика* должна заниматься логическими и психологическими отношениями, связывающими сосуществующие элементы и образующими систему, изучая их так, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием.

*Диахроническая лингвистика,* напротив, должна изучать отношения, связывающие элементы, следующие друг за другом во времени и не воспринимаемые одним и тем же коллективным сознанием, то есть элементы, последовательно сменяющие друг друга и не образующие в своей совокупности системы.

**Часть вторая**

**СИНХРОНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА**

***Глава I***

**Общие положения**

Задачей общей синхронической лингвистики является установление принципов, лежащих в основе любой системы, взятой в данный момент времени, и выявление конститутивных факторов любого состояния языка. Многое из того, о чем говорилось выше, относится, по существу, к синхронии. Так, все сказанное об общих свойствах знака можно рассматривать в качестве одного из разделов синхронической лингвистики, хотя эти общие свойства знака и были использованы нами для доказательства необходимости различать обе лингвистики.

К синхронии относится все, что называют «общей грамматикой», ибо те различные отношения, которые входят в компетенцию грамматики, устанавливаются только в рамках отдельных состояний языка. В дальнейшем мы ограничимся лишь основными принципами, без которых не представляется возможным ни приступить к более специальным проблемам статики, ни объяснить детали данного состояния языка.

Вообще говоря, статической лингвистикой заниматься гораздо труднее, чем историей языка. Факты эволюции более конкретны, они больше говорят воображению; наблюдаемые и без труда улавливаемые в них отношения завязываются между последовательно сменяющимися элементами, понять которые легко, а за рядом преобразований следить иногда даже занятно. Та же лингвистика, которая оперирует сосуществующими значимостями и отношениями, представляет для нас более значительные трудности.

Состояние языка не есть математическая точка. Это более или менее продолжительный промежуток времени, в течение которого сумма происходящих изменений остается ничтожно малой. Он может равняться десяти годам, жизни одного поколения, одному столетию и даже больше. Случается, что в течение сравнительно долгого промежутка времени язык почти не изменяется, а затем в какие-нибудь несколько лет претерпевает значительные изменения. Из двух сосуществующих в одном периоде языков один может сильно эволюционировать, а другой почти вовсе не измениться: во втором случае изучение будет неизбежно синхроническим, в первом случае потребуется диахронический подход. Абсолютное состояние определяется отсутствием изменений, но поскольку язык всегда, хотя бы и минимально, все же преобразуется, постольку изучать состояние языка означает практически пренебрегать маловажными изменениями, подобно тому как математики при некоторых операциях, например при вычислении логарифмов, пренебрегают бесконечно малыми величинами.

В политической истории различаются: *эпоха —* точка во времени, и *период —* отрезок, охватывающий некоторый промежуток времени. Однако историки сплошь и рядом говорят об эпохе Антонинов, об эпохе крестовых походов, разумея в данном случае совокупность признаков, сохранявшихся в течение соответствующего времени. Можно было бы говорить, что и статическая лингвистика занимается эпохами, но термин *состояние* все же предпочтительней. Начало и конец любой эпохи обычно отмечаются какими-либо переворотами, более или менее резкими, направленными к изменению установившегося порядка вещей. Употребляя термин *состояние,* мы тем самым отводим предположение, будто в языке происходит нечто подобное. Сверх того, термин *эпоха* именно потому, что он заимствован у исторической науки, заставляет думать не столько о самом языке, сколько об окружающих и обусловливающих его обстоятельствах,— одним словом, он вызывает, скорее всего, представление о том, что мы назвали выше внешней лингвистикой.

Впрочем, разграничение во времени — это не единственное затруднение, встречаемое нами при определении понятия «состояние языка»; такой же вопрос встает и относительно разграничения в пространстве. Короче говоря, понятие «состояние языка» не может не быть приблизительным. В статической лингвистике, как и в большинстве наук, никакое доказательное рассуждение невозможно без условного упрощения исходных данных .

***Глава II***

**Конкретные языковые сущности**

**§ 1. [Конкретные языковые] сущности и [речевые] единицы.**

**Определение этих понятий**

Составляющие язык знаки представляют собой не абстракции, а реальные объекты; эти реальные объекты и их отношения и изучает лингвистика; их можно назвать *конкретными* [*языковыми*] *сущностями* этой науки.

Напомним прежде всего два основных принципа этой проблемы.

1. [Конкретная] языковая сущность реально возможна лишь в силу ассоциации означающего с означаемым: если упустить из виду один из этих компонентов сущности, она исчезнет, и вместо конкретного объекта мы окажемся перед чистой абстракцией. Ежеминутно мы рискуем овладеть лишь одной стороной [конкретной языковой] сущности, воображая при этом, что мы схватываем ее целиком. Это, например, неизбежно случится, если мы станем делить звуковую цепочку на слоги; у слога есть значимость лишь в фонологии. Звуковая цепочка только в том случае является языковым фактом, если она служит опорой понятия; взятая сама по себе, она представляет собою лишь материал для физиологического исследования.

То же верно и относительно означаемого, как только мы изолируем его от означающего. Такие понятия, как «дом», «белый», «видеть» и т. д., рассматриваемые сами по себе, относятся к психологии; они становятся [конкретными] языковыми сущностями лишь благодаря ассоциации с акустическими образами. В языке понятие есть свойство звуковой субстанции , так же как определенное звучание есть свойство понятия.

Эту двустороннюю единицу часто сравнивали с человеческой личностью как целым, состоящим из тела и души. Сближение малоудовлетворительное. Правильнее было бы сравнивать ее с химическим соединением, например с водой, состоящей из водорода и кислорода; взятый в отдельности каждый из этих элементов не имеет ни одного из свойств воды .

2. [Конкретная] языковая сущность определяется полностью лишь тогда, когда она отграничена, отделена от всего того, что ее окружает в речевой цепочке . Именно эти отграниченные [конкретные языковые] *сущности,* то есть [речевые] *единицы,* и противополагаются друг другу в механизме языка.

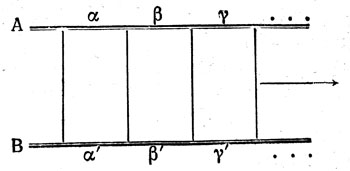
На первый взгляд кажется соблазнительным уподобить языковые знаки зрительным, которые могут сосуществовать в пространстве, не смешиваясь между собою; при этом создается ложное представление, будто разделение языковых знаков может производиться таким же способом, не требуя никаких особых размышлений. Термин «форма», часто используемый для их обозначения (ср. выражения «глагольная форма», «именная форма» и т. п.), способствует сохранению этого заблуждения. Но, как мы знаем, основным свойством речевой цепочки является ее линейность. Поток речи, взятый сам по себе, есть линия, непрерывная лента, где ухо не различает никаких ясных и точных делений: чтобы найти эти деления, надо обратиться к значениям . Когда мы слышим речь на неизвестном языке, мы не в состоянии сегментировать воспринимаемый поток звуков. Такая сегментация вообще невозможна, если принимать во внимание лишь звуковой аспект языкового факта. Лишь тогда, когда мы знаем, какой смысл и какую функцию нужно приписать каждой части звуковой цепочки, эти части выделяются нами, и бесформенная лента разрезается на куски. В этом анализе, по существу, нет ничего материального.

Итак, язык — это не просто совокупность заранее разграниченных знаков, значение и способы комбинирования (agencement) которых только и требовалось бы изучать; в действительности язык представляет собой расплывчатую массу, в которой только внимательность и привычка могут помочь нам различить составляющие ее элементы. [Речевая] единица не обладает никакими специальными звуковыми особенностями, и ее можно определить только так: [*речевая*] *единица — это отрезок звучания, который, будучи взятым отдельно, то есть безо всего того, что ему предшествует, и всего того, что за ним следует в потоке речи, является означающим некоторого понятия.*

**§ 2. Метод разграничения сущностей и единиц**

Всякий владеющий языком разграничивает его единицы весьма простым способом, по крайней мере в теории. Способ этот состоит в том, чтобы, взяв в качестве отправного момента речь как манифестацию (document) языка, изобразить ее в виде двух параллельных цепочек: цепочки понятий А и цепочки акустических образов В.

Для правильности разграничения требуется, чтобы деления, установленные в акустической цепочке (α, β, γ...), соответствовали делениям в цепочке понятий (α', β', γ'...):



Возьмем французское sizəlaprã; можно ли рассечь эту цепочку после l и выделить sizəl как особую единицу? Нет, нельзя: достаточно обратиться к цепочке понятий, чтобы убедиться в ошибочности такого деления. Разделение на слоги sizə-la-prã также не является a priori языковым. Единственно возможными делениями оказываются: si-zə-la-prã (пишется si je la prends) «если я ее возьму» и si-zə-1-aprã (пишется si je l'apprends) «если я это узнаю», так как они оправдываются тем смыслом, который связывается с этими отрезками .

Чтобы проверить результат подобной операции и убедиться в правильности выделения какой-либо единицы, нужно, сравнив целый ряд предложений, где встречается одна и та же единица, убедиться в каждом отдельном случае в возможности ее выделения из контекста и удостовериться, что такое выделение оправдано по смыслу. Возьмем два отрезка: laf(?)rsdyvã (пишется la force du vent) «сила ветра» и abudəf(?)rs (пишется à bout de force) «в упадке сил». Как в том, так и в другом отрезке одно и то же понятие — «сила» — соотносится с одной и той же звуковой цепочкой f(?)rs, из чего мы заключаем, что это [речевая] единица. Но в предложении ilməf(?)rsaparlę (пишется il mе force à parler) «он принуждает меня говорить» f(?)rs «принуждает» имеет совсем другой смысл, из чего мы заключаем, что это другая [речевая] единица.

**§ 3. Практические трудности разграничения сущностей и единиц**

Легко ли на практике применить этот способ, теоретически столь простой? Может показаться, будто легко, если исходить при этом из представления, что подлежащие выделению единицы — это слова; в самом деле, что такое предложение, как не сочетание слов, и есть ли что-либо более непосредственно данное, нежели слово? Так, возвращаясь к прежнему примеру, можно сказать, что звуковая цепочка sizəlaprã распадается на четыре единицы, разграничиваемые нашим анализом, которые оказываются четырьмя словами: si-je-l'-apprends. Но вместе с тем у нас тотчас же возникает сомнение, как только мы вспомним, сколько споров ведется по поводу того, что такое слово; по зрелом размышлении мы убеждаемся в том, что обычное понимание слова несовместимо с нашим представлением о конкретной единице.

Чтобы удостовериться в этом, вспомним хотя бы франц. ∫əval (пишется cheval) «лошадь» и его множественное число ∫əvo (пишется chevaux). Обычно говорят, что это две формы одного и того же слова; однако, взятые в целом, это все же две совсем разные вещи — как по смыслу, так и по звукам. Во франц. mwa (в lе *mois* de décembre «*месяц* декабрь») и mwaz (в un *mois* après «*месяцем* позже») мы также имеем одно и то же слово в двух разновидностях, но и здесь опять-таки нельзя говорить об одной конкретной единице: смысл, несомненно, один, но отрезки звучаний разные. Таким образом, если бы мы пожелали приравнять конкретные единицы к словам, то сразу оказались бы перед дилеммой: либо игнорировать, несмотря на его очевидность, отношение, объединяющее ∫əval и ∫əvo, mwa и mwaz и т. д., и утверждать, что это разные слова, либо довольствоваться вместо конкретных единиц абстракцией, объединяющей различные формы одного и того же слова. Итак, конкретную единицу следует искать не в слове. К тому же многие слова представляют собой сложные единицы, в которых нетрудно распознать единицы низшего уровня (суффиксы, префиксы, корни); производные слова, как, например, désir-eux «жаждущий», malheur-eux «несчастный», распадаются на отдельные части, каждая из которых явно наделена особым смыслом и особой функцией. И наоборот, есть единицы высшего уровня, большие, чем слово, как, например, композиты (porte-plume «ручка для пера»), устойчивые сочетания (s'il vous plaît «сделайте милость!»), аналитические формы спряжения (il a été «он был») и т. д. Но при выделении и этих единиц наталкиваешься на такие же трудности, как и при выделении собственно слов. Представляется вообще чрезвычайно трудным выяснить функционирование встречающихся в потоке речи единиц и установить, какими конкретными элементами оперирует язык.

Говорящие не знают, разумеется, этих затруднений. Все, что в какой-либо мере является значимым, воспринимаетсяими как конкретный элемент, и они безошибочно распознают его в речи. Но одно дело — интуитивно владеть всеми тонкостями мгновенного функционирования этих единиц, и совсем другое дело — уметь их систематически анализировать.

Одна довольно распространенная теория утверждает, будто единственными конкретными единицами являются предложения: мы говорим только предложениями и лишь потом извлекаемиз них слова. Но прежде всего, в какой мере предложение относится к сфере языка? Если оно принадлежит к сфере речи, то оно не может служить единицей языка. Допустим, однако, что это затруднение устранено. Если мы представим себе всю совокупность предложений, которые могут быть сказаны, то их наиболее характерным свойством окажется их совершенное несходство. На первый взгляд кажется заманчивым уподобление огромного разнообразия предложений не меньшему разнообразию особей, составляющих какой-либо зоологический вид. Однако это иллюзия: у животных одного вида общие свойства гораздо существенней, нежели разъединяющиеих различия; в предложениях же преобладает различие, и если поискать, что же их связывает на фоне всего этого разнообразия, то невольно опять натолкнешься на слово с его грамматическими свойствами и снова окажешься перед теми же трудностями.

**§4. Выводы**

В большинстве областей, являющихся предметом той или иной науки, вопрос о единицах даже не ставится: они даны непосредственно. Так, в зоологии мы с самого начала имеем дело с отдельными животными. Астрономия оперирует единицами, разделенными в пространстве, — небесными телами. В химии можно изучать природу и состав двухромовокислого калия, ни минуты не усомнившись в том, что это некий вполне определенный объект.

Если в какой-либо науке отсутствуют непосредственно наблюдаемые конкретные единицы, это значит, что в ней они не имеют существенного значения. В самом деле, что является конкретной единицей, например, в истории: личность, эпоха, народ? Неизвестно! Но не все ли равно? Можно заниматься историческими изысканиями и без выяснения этого вопроса.

Но подобно тому, как шахматная игра целиком и полностью сводится к комбинации различных фигур на доске, так и язык является системой, целиком основанной на противопоставлении его конкретных единиц. Мы не можем отказаться от попытки уяснить себе, что это такое, точно так же мы не можем и шага ступить, не прибегая к этим единицам. Вместе с тем их выделение сопряжено с такими трудностями, что возникает вопрос, существуют ли они реально.

Итак, удивительное и поразительное свойство языка состоит в том, что мы не видим в нем непосредственно данных и различимых с самого начала [конкретных] сущностей, между тем как в их существовании усомниться невозможно, точно так же как нельзя усомниться и в том, что язык образован их функционированием. Это и есть, несомненно, та черта, которая отличает язык от всех прочих семиологических систем.

***Глава III***

**Тождества, реальности, значимости**

Высказанные только что соображения приводят нас к проблеме тем более важной, что в статической лингвистике любое основное понятие непосредственно зависит от того, как именно мы будем представлять себе единицу языка. Это мы и постараемся показать в связи с рассмотрением понятий тождества, реальности и значимости в синхронии.

А. Что такое синхроническое *тождество*? Здесь речь идет не о тождестве, объединяющем французское отрицание *pas* с латинским существительным possum «шаг»; такое тождество является диахроническим, и речь о нем будет ниже. Нет, мы имеем в виду то не менее любопытное тождество, на основании которого мы утверждаем, что предложения je ne sais pas «я не знаю» и ne dites *pas* cela «не говорите этого» содержат один и тот же элемент. Нам скажут, что это вопрос праздный, что тождество имеется уже потому, что в обоих предложениях одинаковый отрезок звучания — pas *—*наделен одинаковым значением. Но такое объяснение недостаточно: ведь если соответствие звуковых отрезков и понятий и доказывает тождество (см. выше пример la *force* du vent: à bout de *force*), то обратное неверно: тождество возможно и без такого соответствия. Когда мы слышим на публичной лекции неоднократно повторяемое обращение Messieurs!, «господа!», мы ощущаем, что каждый раз это то же самое выражение. Между тем вариации в произнесении и интонации его в разных оборотах речи представляют весьма существенные различия, столь же существенные, как и те, которые в других случаях служат для различения отдельных слов (ср. роmmе «яблоко» и раumе «ладонь», goutte «капля» и jе goûte «пробую», fuir «убежать» и fouir «рыть» и т. д.); кроме того, сознание тождества сохраняется, несмотря на то что и с семантической точки зрения нет полного совпадения одного употребления слова Messieurs с другим. Вспомним, наконец, что слово может обозначать довольно далекие понятия, а его тождество самому себе тем не менее не оказывается серьезно нарушенным (ср. *adapter* une mode «перенимать моду» и *adapter* un enfant «усыновлять ребенка», la *fleur* du pommier «цвет яблони» и la *fleur* de la noblesse «цвет аристократии» и т. д.).

Весь механизм языка зиждется исключительно на тождествах и различиях, причем эти последние являются лишь оборотной стороной первых. Поэтому проблема тождеств возникает повсюду; но, с другой стороны, она частично совпадает с проблемой [конкретных] сущностей и единиц, являясь усложнением этой последней, впрочем весьма плодотворным. Это ясно видно при сопоставлении проблемы языковых тождеств и различий с фактами, лежащими за пределами языка. Мы говорим, например, о тождестве по поводу двух скорых поездов «Женева — Париж с отправлением в 8 ч. 45 м. веч.», отходящих один за другим с интервалом в 24 часа. На наш взгляд, это тот же самый скорый поезд, а между тем и паровоз, и вагоны, и поездная бригада — все в них, по-видимому, разное. Или другой пример: уничтожили улицу, снесли на ней все дома, а затем застроили ее вновь; мы говорим, что это все та же улица, хотя материально от старой, быть может, ничего не осталось. Почему можно перестроить улицу до самого последнего камешка и все же считать, что она не перестала быть той же самой? Потому что то, что ее образует, не является чисто материальным: ее существо определяется некоторыми условиями, которым безразличен ее случайный материал, например ее положение относительно других улиц. Равным образом представление об одном и том же скором поезде складывается под влиянием времени его отправления, его маршрута и вообще всех тех обстоятельств, которые отличают его от всех прочих поездов. Всякий раз, как осуществляются одни и те же условия, получаются одни и те же сущности. И вместе с тем эти сущности не абстрактны, потому что улицу или скорый поезд нельзя себе представить вне материальной реализации.

Противопоставим этим двум примерам совсем иной случай, а именно кражу у меня костюма, который я затем нахожу.у торговца случайными вещами. Здесь дело идет о материальном характере сущности, заключающейся исключительно в инертной субстанции: сукне, подкладке, прикладе и т. д. Другой костюм, как бы он ни был схож с первым, не будет моим. И вот оказывается, что тождество в языке подобно тождеству скорого поезда и улицы, а не костюма. Употребляя неоднократно слово Messieurs!, я каждый раз пользуюсь новым материалом: это новый звуковой акт и новый психологический акт. Связь между двумя употреблениями одного и того же слова основана не на материальном тождестве, не на точном подобии смысла, а на каких-то иных элементах, которые надо найти и которые помогут нам вплотную подойти к истинной природе языковых единиц.

Б. Что такое синхроническая/реальность ? Какие конкретные или абстрактные элементы языка можно считать синхроническими реальностями?

Возьмем для примера различение частей речи: на что опирается классификация слов на существительные, прилагательные и т. д.? Производится ли она во имя чисто логического, внелингвистическо-го принципа, накладываемого извне на грамматику, подобно тому как сетка меридианов и параллелей наносится на земной шар? Или же она соответствует чему-то, имеющемуся в системе языка и ею обусловленному? Одним словом, является ли различение частей речи синхронической реальностью? Это второе предположение кажется правдоподобным, но можно было бы защитить и первое. Так, например, можно ли сказать, что в предложении сеs gants sont bon *marché* «эти перчатки дешевы» группа слов bon *marché* «дешевы» является прилагательным? Логически она имеет смысл прилагательного, но грамматически это менее очевидно: bon marché не ведет себя как прилагательное (оно не изменяется, никогда не ставится перед существительным и т. д.), к тому же bon marché составлено из двух слов; между тем именно различение частей речи должно служить для классификации слов языка, а каким же образом группа слов может быть отнесена к одной из этих «частей»? Но bon marché нельзя истолковать и иначе, сказав, что bon — прилагательное, a marché — существительное. Таким образом, здесь мы имеем дело с неточной и неполной классификацией; деление слов на существительные, глаголы, прилагательные и т. д. не есть бесспорная языковая реальность.

Итак, лингвистика непрестанно работает на почве придуманных грамматистами понятий, о которых мы не знаем, соответствуют ли они в действительности конститутивным элементам системы языка. Но как это узнать? И если эти понятия — фикция, то какие же реальностиим противопоставить?

Чтобы избежать заблуждений, надо прежде всего проникнуться убеждением, что конкретные языковые сущности не даны нам непосредственно в наблюдении. Надо стараться их уловить, понять и лишь тогда мы соприкоснемся с реальностью; исходя из нее, можно будет разработать все классификации, необходимые лингвистике для приведения в порядок подлежащих ее ведению фактов. С другой стороны, базироваться при этих классификациях не на конкретных языковых сущностях, а на чем-либо ином, говорить, например, что части речи суть элементы языка только в силу того, что они соответствуют логическим категориям, — значит забывать, что не бывает языковых фактов вне звукового материала, расчлененного на значимые элементы.

В. В конце концов, все затронутые в этой главе понятия, по существу, не отличаются от того, что мы раньше называли значимостями . Новое сравнение с игрой в шахматы поможет это понять. Возьмем коня: является ли он сам по себе элементом игры? Конечно, нет, потому что в своей чистой материальности вне занимаемогоим поля на доске и прочих условий игры он ничего для игрока не представляет; он становится реальным и конкретным элементом в игре лишь постольку, поскольку он наделен значимостью и с нею неразрывно связан. Предположим, что во время игры эта фигура сломается или потеряется; можно ли будет заменить ее другой, равнозначной? Конечно, можно. Не только другая фигура, изображающая коня, но любой предмет, не имеющий с ним никакого сходства, может быть отождествлен с конем, если только ему будет придана та же значимость. Мы видим, таким образом, что в семиологических системах, как, например, в языке, где все элементы связаны друг с другом, образуя равновесие согласно определенным правилам, понятие тождества сливается с понятием значимости и наоборот.

Вот почему понятие значимости в конечном счете покрывает и понятие единицы, и понятие конкретной языковой сущности, и понятие языковой реальности. Но если между этими различными аспектами вообще не существует коренной разницы, то из этого следует, что проблема может последовательно ставиться в разной форме. Что бы мы ни хотели определить: единицу, реальность, конкретную сущность или значимость, — все будет сводиться к постановке одного и того же центрального вопроса, который доминирует над всем в статической лингвистике.

С практической точки зрения интересно начать с единиц языка, определить их и дать их классификацию с учетом всего их разнообразия. Необходимо выяснить, на чем основывается членение на слова, так как слово, несмотря на все трудности, связанные с определением этого понятия, есть единица, неотступно представляющаяся нашему уму как нечто центральное в механизме языка; одной этой темы было бы достаточно для целого тома. Далее следовало бы перейти к классификации единиц низшего уровня, затем более крупных единиц и т. д. Таким образом, наша наука, определив элементы, которыми она оперирует, выполнила бы свою задачу целиком, так как тем самым свела бы все входящие в ее ведение явления к их основному принципу. Нельзя сказать, что в лингвистике эта центральная проблема когда-либо уже ставилась и что все ее значение и трудность ее решения полностью осознаны; до сих пор в области языка всегда довольствовались операциями над единицами, как следует не определенными.

Но все же, несмотря на первостепенную важность понятия единицы, предпочтительнее подойти к проблеме со стороны понятия значимости, так как, по нашему мнению, в ней выражается наиболее существенный ее аспект.

***Глава IV***

**Языковая значимость**

**§ 1. Язык как мысль, организованная в звучащей материи**

Для того чтобы убедиться в том, что язык есть не что иное, как система чистых значимостей, достаточно рассмотреть оба взаимодействующих в нем элемента: понятия и звуки.

В психологическом отношении наше мышление, если отвлечься от выражения его словами, представляет собою аморфную, нерасчлененную массу. Философы и лингвисты всегда сходились в том, что без помощи знаков мы не могли бы с достаточной ясностью и постоянством отличать одно понятие от другого. Взятое само по себе мышление похоже на туманность, где ничто четко не разграничено. Предустановленных понятий нет, равным образом как нет никаких различений до появления языка.

Но быть может, в отличие от этой расплывчатой области мысли расчлененными с самого начала сущностями являются звуки как таковые? Ничуть не бывало! Звуковая субстанция не является ни более определенной, ни более устоявшейся, нежели мышление. Это — не готовая форма, в которую послушно отливается мысль, но пластичная масса, которая сама делится на отдельные части, способные служить необходимыми для мысли означающими. Поэтому мы можем изобразить язык во всей его совокупности в виде ряда следующих друг за другом сегментаций, произведенных одновременно как в неопределенном плане смутных понятий (А), так и в столь же неопределенном плане звучаний (В). Все это можно весьма приблизительно представить себе в виде схемы:



Специфическая роль языка в отношении мысли заключается не в создании материальных звуковых средств для выражения понятий, а в том, чтобы служить посредствующим звеном между мыслью и звуком, и притом таким образом, что их объединение неизбежно приводит к обоюдному разграничению единиц. Мысль, хаотичная по природе, по необходимости уточняется, расчленяясь на части.

Нет, таким образом, ни материализации мыслей, ни «спиритуализации» звуков, а все сводится к тому в некотором роде таинственному явлению, что соотношение «мысль — звук» требует определенных членений и что язык вырабатывает свои единицы, формируясь во взаимодействии этих двух аморфных масс . Представим себе воздух, соприкасающийся с поверхностью воды; при перемене атмосферного давления поверхность воды подвергается ряду членений, то есть, попросту говоря, появляются волны; вот эти-то волны и могут дать представление о связи или, так сказать, о «спаривании» мысли со звуковой материей.

Язык можно называть областью членораздельности, понимая членораздельность так, как она определена выше. Каждый языковый элемент представляет собою arriculus — вычлененный сегмент, в котором понятие закрепляется определенными звуками, а звуки становятся знаком понятия.

Язык можно также сравнить с листом бумаги. Мысль — его лицевая сторона, а звук —оборотная; нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав и оборотную. Так и в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от мысли; этого можно достигнуть лишь путем абстракции, что неизбежно приведет либо к чистой психологии, либо к чистой фонологии.

Лингвист, следовательно, работает в пограничной области, где сочетаются элементы обоего рода; *это сочетание создает форму, а не субстанцию*.

Эти соображения помогут лучше уяснить то, что было сказано выше о произвольности знака. Не только обе области, связанные в языковом факте, смутны и аморфны, но и выбор определенного отрезка звучания для определенного понятия совершенно произволен. Если бы это было иначе, понятие значимости утратило бы одну из своих характерных черт, так как в ней появился бы привнесенный извне элемент. Но в действительности значимости целиком относительны, вследствие чего связь между понятием и звуком произвольна по самому своему существу.

Произвольность знака в свою очередь позволяет нам лучше понять, почему языковую систему может создать только социальная жизнь. Для установления значимостей необходим коллектив; существование их оправдывает только обычай и общее согласие; отдельный человек сам по себе не способен создать вообще ни одной значимости.

Определенное таким образом понятие языковой значимости показывает нам, кроме того, что взгляд на член языковой системы как на простое соединение некоего звучания с неким понятием является серьезным заблуждением. Определять подобным образом член системы — значит изолировать его от системы, в состав которой он входит; это ведет к ложной мысли, будто возможно начинать с членов системы и, складывая их, строить систему, тогда как на самом деле надо, отправляясь от совокупного целого, путем анализа доходить до составляющих его элементов.

Для развития этого положения мы последовательно встанем на точку зрения «означаемого», или понятия, «означающего» и знака в целом.

Поскольку непосредственно наблюдать конкретные сущности или единицы языка невозможно, мы будем оперировать словами. Хотя слово и не подходит в точности под определение языковой единицы, все-таки оно дает о ней хотя бы приблизительное понятие, имеющее то преимущество, что оно конкретно. Мы будем брать слова только как образцы, равнозначные реальным членам синхронической языковой системы, и принципы, установленные нами в отношении слов, будут действительны для языковых сущностей вообще.

**§ 2. Языковая значимость с концептуальной стороны**

Когда говорят о значимости слова, обыкновенно и прежде всего думают о его свойстве репрезентировать понятие — это действительно один из аспектов языковой значимости. Но если это так, то чем же значимость отличается оттого, что мы называем *значением*! Являются ли эти два слова синонимами? Мы этого не думаем, хотя смешать их легко, тем более что этому способствует не столько сходство терминов, сколько тонкость обозначаемых ими различий.

Значимость, взятая в своем концептуальном аспекте, есть, конечно, элемент значения, и весьма трудно выяснить, чем это последнее отличается от значимости, находясь вместе с тем в зависимости от нее. Между тем этот вопрос разъяснить необходимо, иначе мы рискуем низвести язык до уровня простой номенклатуры.

Возьмем прежде всего значение, как его обычно понимают и как мы его представили выше.



Как показывают стрелки на схеме, значением является то, что находится в отношении соответствия (contre-partie) с акустическим образом. Все происходит между акустическим образом и понятием в пределах слова, рассматриваемого как нечто самодовлеющее и замкнутое в себе.

Но вот в чем парадоксальность вопроса: с одной стороны, понятие представляется нам как то, что находится в отношении соответствия с акустическим образом внутри знака, а с другой стороны, сам этот знак, то есть связывающее оба его компонента отношение, также и в той же степени находится в свою очередь в отношении соответствия с другими знаками языка.

Раз язык есть система, все элементы которой образуют целое, а значимость одного элемента проистекает только от одновременного наличия прочих, согласно нижеследующей схеме, то спрашивается, как определенная таким образом значимость может быть спутана со значением, то есть с тем, что находится в соответствии с акустическим образом?

**

Представляется невозможным приравнивать отношения, изображенные здесь горизонтальными стрелками, к тем, которые выше, на предыдущей схеме, изображены стрелками вертикальными. Иначе говоря, повторяя сравнение с разрезаемым листом бумаги, мы не видим, почему отношение, устанавливаемое между отдельными листами А, В, С, D и т. д., не отличается от отношения, существующего между лицевой и оборотной сторонами одного и того же листа, а именно А:А', В:В' и т. д.

Для ответа на этот вопрос прежде всего констатируем, что и за пределами языка всякая значимость [именуемая в этом случае ценностью] всегда регулируется таким же парадоксальным принципом.

В самом деле, для того чтобы было возможно говорить о ценности, необходимо:

1) наличие какой-либо *непохожей* вещи, которую можно *обменивать* на то, ценность чего подлежит определению;

2) наличие каких-то *сходных* вещей, которые можно *сравнивать с* тем, о ценности чего идет речь.

Оба эти фактора необходимы для существования ценности. Так, для того чтобы определить, какова ценность монеты в 5 франков, нужно знать: 1) что ее можно обменять на определенное количество чего-то другого, например хлеба, и 2) что ее можно сравнить с подобной ей монетой той же системы, например с монетой в один франк, или же с монетой другой системы, например с фунтом стерлингов и т. д. Подобным образом и слову может быть поставлено в соответствие нечто не похожее на него, например понятие, а с другой стороны, оно может быть сопоставлено с чем-то ему однородным, а именно с другими словами. Таким образом, для определения значимости слова недостаточно констатировать, что оно может быть сопоставлено с тем или иным понятием, то есть что оно имеет то или иное значение; его надо, кроме того, сравнить с подобными ему значимостями, то есть с другими словами, которые можно ему противопоставить. Его содержание определяется как следует лишь при поддержке того, что существует вне его. Входя в состав системы, слово облечено не только значением, но еще главным образом значимостью, а это нечто совсем другое.

Для подтверждения этого достаточно немногих примеров. Французское слово mouton «баран», «баранина» может совпадать по значению с английским словом sheep «баран», не имея с ним одинаковой значимости, и это по многим основаниям, в частности потому, что говоря о приготовленном и поданном на стол куске мяса, англичанин скажет mutton, а не sheep. Различие в значимости между англ. sheep и франц. mouton связано с тем, что в английском наряду с sheep есть другое слово, чего нет во французском.

Внутри одного языка слова, выражающие близкие понятия, ограничивают друг друга: синонимы, например redouter «опасаться», craindre «бояться», avoir peur «испытывать страх», обладают значимостью лишь в меру взаимного противопоставления; если бы не существовало redouter, то все его содержание перешло бы к его конкурентам. И наоборот, бывают слова, обогащающиеся от контакта с другими словами: например, новый элемент, привходящий в значимость décrépit (un vieillard *décrépit* «*дряхлый* старик»), появляется в силу наличия рядом с этим словом другого слова — décrépi (un mur *décrépi* «*облупившаяся* стена»). Итак, значимость любого слова определяется всем тем, что с ним связано; даже у слова со значением «солнце» вряд ли возможно установить непосредственно его значимость, если не принять в соображение все то, что связано с этим словом; есть языки, в которых немыслимо, например, выражение «сидеть на *солнце*».

Сказанное выше о словах имеет отношение к любым явлениям языка, например к грамматическим категориям. Так, например, значимость французского множественного числа не покрывает значимости множественного числа в санскрите, хотя их значение чаще всего совпадает: дело в том, что санскрит обладает не двумя, а тремя числами («мои глаза», «мои уши», «мои руки», «мои ноги» имели бы в санскрите форму двойственного числа); было бы неточно приписывать одинаковую значимость множественному числу в санскритском и французском языках, так как в санскритском языке множественное число употребляется не во всех тех случаях, где оно употребляется во французском; следовательно, значимость множественного числа зависит от того, что находится вне и вокруг него [в системе].

Если бы слова служили для выражения заранее данных понятий, то каждое из них находило бы точные смысловые соответствия в любом языке; но в действительности это не так. По-французски говорят louer (une maison) как в смысле «снять (дом)», так и в смысле «сдать (дом)», тогда как в немецком языке употребляются для этого два слова — mieten «снять» и vermieten «сдать», — так что точного соответствия значимостей не получается. Немецкие глаголы schätzen «ценить» и urteilen «судить» представляют совокупность значений, соответствующих в общем и целом значениям французских слов estimer «ценить» wjuger «судить»; однако во многих случаях точность этого соответствия нарушается.

Словоизменение представляет в этом отношении особо поразительные примеры. Столь привычное нам различение времен чуждо некоторым языкам: в древнееврейском языке нет даже самого основного различения прошедшего, настоящего и будущего. В прагерманском языке не было особой формы для будущего времени; когда говорят, что в нем будущее передается через настоящее время, то выражаются неправильно, так как значимость настоящего времени в прагерманском языке не равна значимости его в тех языках, где наряду с настоящим временем имеется будущее время. Славянские языки последовательно различают в глаголе два вида: совершенный вид представляет действие в его завершенности, как некую точку, вне всякого становления; несовершенный вид — действие в процессе совершения и на линии времени. Эти категории затрудняют француза, потому что в его языке их нет; если бы они были предустановлены [вне зависимости от языка], таких затруднений бы не было. Во всех этих случаях мы, следовательно, находим вместо заранее данных *понятий значимости,* вытекающие из самой системы языка. Говоря, что они соответствуют понятиям, следует подразумевать, что они в этом случае чисто дифференциальны, то есть определяются не положительно — своим содержанием, но отрицательно — своими отношениями к прочим членам системы. Их наиболее точная характеристика сводится к следующему: быть тем, чем не являются другие.

Отсюда становится ясным реальное истолкование схемы знака. Схема



означает, что понятие «судить» связано с акустическим образом судить, — одним словом, схема иллюстрирует значение. Само собой разумеется, что в понятии «судить» нет ничего изначального, что оно является лишь значимостью, определяемой своими отношениями к другим значимостям того же порядка, и что без них значение не существовало бы. Когда я ради простоты говорю, что данное слово что-то означает, когда я исхожу из ассоциации акустического образа с понятием, то я этим утверждаю то, что может быть верным лишь до некоторой степени и что может дать лишь частичное представление о действительности; но я тем самым ни в коем случае не выражаю языкового факта во всей его сути и во всей его полноте.

**§ 3. Языковая значимость с материальной стороны**

Подобно концептуальной стороне, и материальная сторона значимости образуется исключительно из отношений и различий с прочими элементами языка. В слове важен не звук сам по себе, а те звуковые различия, которые позволяют отличать это слово от всех прочих, так как они-то и являются носителем значения.

Подобное утверждение способно породить недоумение, а между тем иначе в действительности и быть не может. Поскольку нет звукового образа, отвечающего лучше других тому, что он должен выразить, постольку очевидно уже a priori, что любой сегмент языка может в конечном счете основываться лишь на своем несовпадении со всем остальным. *Произвольность и дифференциальность* суть два коррелятивных свойства.

Изменяемость языковых знаков является хорошим свидетельством этой коррелятивности. Каждый из членов отношения *а:b* сохраняет свободу изменяться согласно законам, независимым от его знаковой функции именно потому, что a и b по самой своей сути не способны проникнуть как таковые в сферу сознания, которое всегда замечает лишь различие *а:b.* Русский родительный падеж множественного числа *жен* не отмечен никаким положительным признаком, а между тем пара форм *жена: жен* функционирует столь же исправно, как и предшествовавшая ей исторически пара *жена: жень,* и это потому, что в языке важно лишь отаичие одного знака от другого: форма *жена* имеет значимость только потому, что она отличается от другой формы.

Другой пример еще лучше показывает, сколь важна системность в этом функционировании звуковых различий. В греческом языке éphēn — имперфект, a éstēn —аорист, хотя обе формы образованы тождественным образом; объясняется это тем, что первая из них принадлежит к системе настоящего времени изъявительного наклонения глагола phēmi «говорю», тогда как настоящего времени \*stēmí не существует; между тем именно отношение phēmi: éphēn и отвечает отношению между настоящим временем и имперфектом (ср. deíknūmi «показываю» : edeíknūn «я показывал»). Указанные знаки функционируют, следовательно, не в силу своей внутренней значимости, а в силу своего положения относительно других членов системы.

К тому же звук, элемент материальный, не может сам по себе принадлежать языку. Для языка он нечто вторичное, лишь используемый языком материал. Вообще, все условные значимости характеризуются именно этим свойством не смешиваться с чувственно воспринимаемым элементом, который служит им лишь опорой. Так, ценность монеты определяет отнюдь не металл: серебряное экю номинальной ценой в пять франков содержит в себе серебра лишь на половину обозначенной суммы; она будет стоить несколько больше или несколько меньше в зависимости от вычеканенного на ней изображения, в зависимости от тех политических границ, внутри которых она имеет хождение. В еще большей степени это можно сказать об означающем в языке, которое по своей сущности отнюдь не является чем-то звучащим; означающее в языке бестелесно, и его создает не материальная субстанция, а исключительно те различия, которые отграничивают его акустический образ от всех прочих акустических образов.

Этот принцип имеет столь существенное значение, что он действует в отношении всех материальных элементов языка, включая фонемы. Каждый язык образует слова на базе своей системы звуковых элементов, каждый из которых является четко отграниченной единицей и число которых точно определено. И каждый из них характеризуется не свойственным ему положительным качеством, как можно было бы думать, а исключительно тем, что он не смешивается с другими. Фонемы — это прежде всего оппозитивные, относительные и отрицательные сущности.

Доказывается это той свободой, которой пользуется говорящий при произнесении того или иного звука при условии соблюдения границ, которыми данный звук отделяется от других. Так, например, по-французски почти всеобщее обыкновение произносить картавое r не препятствует отдельным лицам произносить его раскатисто; язык от этого ничуть не страдает, он требует только различения, а отнюдь не того, как можно было бы думать, чтобы у каждого звука всегда было неизменное качество. Я даже могу произносить французское r как немецкое ch в словах Bach, doch и т. п., но по-немецки я не могу произнести ch вместо r, так как в этом языке имеются оба элемента, которые и должны различаться. Так и по-русски не может быть свободы в произношении t наподобие t' (смягченного t), потому что в результате получилось бы смешение двух различаемых в языке звуков (ср. *говорить* и *говорит*), но может быть допущено отклонение в сторону th (придыхательного t), так как th отсутствует в системе фонем русского языка.

Поскольку такое же положение вещей наблюдается в иной системе знаков, каковой является письменность, мы можем привлечь ее для сравнения в целях лучшего уяснения этой проблемы . В самом деле:

1) знаки письма произвольны; нет никакой связи между написанием, например, буквы t и звуком, ею изображаемым;

2) значимость букв чисто отрицательная и дифференциальная: одно и то же лицо может писать t по-разному, например:



соблюдая единственное условие: написание знака *t* не должно смешиваться с написанием l, d и прочих букв;

3) значимости в письме имеют силу лишь в меру взаимного противопоставления в рамках определенной системы, состоящей из ограниченного количества букв. Это свойство, не совпадая с тем, которое сформулировано в п. 2, тесно с ним связано, так как оба они зависят от первого. Поскольку графический знак произволен, его форма малосущественна или, лучше сказать, существенна лишь в пределах, обусловленных системой;

4) средство, используемое для написания знака, совершенно для него безразлично, так как оно не затрагивает системы (это вытекает уже из первого свойства): я могу писать буквы любыми чернилами, пером или резцом и т. д. — все это никак не сказывается на значении графических знаков.

**§ 4. Рассмотрение знака в целом**

Все сказанное выше приводит нас к выводу, что *в* *языке нет ничего, кроме различий.* Вообще говоря, различие предполагает наличие положительных членов отношения, между которыми оно устанавливается. Однако в языке имеются только различия *без положительных членов системы.* Какую бы сторону знака мы ни взяли, означающее или означаемое, всюду наблюдается одна и та же картина: в языке нет ни понятий, ни звуков, которые существовали бы независимо от языковой системы, а есть только смысловые различия и звуковые различия, проистекающие из этой системы. И понятие и звуковой материал, заключенные в знаке, имеют меньше значения, нежели то, что есть вокруг него в других знаках. Доказывается это тем, что значимость члена системы может изменяться без изменения как его смысла, так и его звуков исключительно вследствие того обстоятельства, что какой-либо другой, смежный член системы претерпел изменение.

Однако утверждать, что в языке все отрицательно, верно лишь в отношении означаемого и означающего, взятых в отдельности; как только мы начинаем рассматривать знак в целом, мы оказываемся перед чем-то в своем роде положительным. Языковая система есть ряд различий в звуках, связанных с рядом различий в понятиях, но такое сопоставление некоего количества акустических знаков с равным числом отрезков, выделяемых в массе мыслимого, порождает систему значимостей; и эта-то система значимостей создает действительную связь между звуковыми и психическими элементами внутри каждого знака. Хотя означаемое и означающее, взятые в отдельности, — величины чисто дифференциальные и отрицательные, их сочетание есть факт положительный. Это даже единственный вид фактов, которые имеются в языке, потому что основным свойством языкового устройства является как раз сохранение параллелизма между этими двумя рядами различий.

Некоторые диахронические факты весьма характерны в этом отношении: это все те бесчисленные случаи, когда изменение означающего приводит к изменению понятия и когда обнаруживается, что в основном сумма различаемых понятий соответствует сумме различающих знаков. Когда в результате фонетических изменений два элемента смешиваются (например, франц. décrépit при лат. dēcrepitus и франц. décrépi при лат. crispus), то и понятие проявляет тенденцию к смешению, если только этому благоприятствуют данные. А если слово дифференцируется, как, например, франц. chaise «стул» и chaire «кафедра»? В таком случае возникшее различие неминуемо проявляет тенденцию стать значимым , что, впрочем, удается далеко не всегда и не сразу. И наоборот, всякое концептуальное различие, усмотренное мыслью, стремится выразить себя в различных означающих, а два понятия, более неразличаемые в мысли, стремятся слиться в одном означающем.

Если сравнивать между собой знаки, положительные члены системы, то говорить в данном случае о различии уже больше нельзя. Это выражение здесь не вполне подходит, так как оно может применяться лишь в случае сравнения двух акустических образов, например *отец* и *мать,* или сравнения двух понятий, например понятия «отец» и понятия «мать». Два знака, каждый из которых содержит в себе означаемое и означающее, не различны (différents), а лишь различимы (distincts). Между ними есть лишь *оппозиция.* Весь механизм языка, о чем речь будет ниже, покоится на такого рода противопоставлениях и на вытекающих из них звуковых и смысловых различиях.

То, что верно относительно значимости, верно и относительно единицы. Последняя есть сегмент в речевом потоке, соответствующий определенному понятию, причем как сегмент, так и понятие по своей природе чисто дифференциальны.

В применении к единице принцип дифференциации может быть сформулирован так: *отличительные свойства единицы сливаются с самой единицей.* В языке, как и во всякой семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и есть все то, что его составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу.

Из того же принципа вытекает еще одно несколько парадоксальное следствие: то, что обычно называют «грамматическим фактом», в конечном счете соответствует определению единицы, так как он всегда выражает противопоставление членов системы; просто в данном случае противопоставление оказывается особо значимым. Возьмем, например, образование множественного числа типа Nacht: Nächte в немецком языке. Каждый из членов Этого грамматического противопоставления (ед. ч. без умлаута и без конечного е, противопоставленное мн. ч. с умлаутом и с е) сам образован целым рядом взаимодействующих противопоставлений внутри системы; взятые в отдельности, ни Nacht, ни Nächte ничего не значат; следовательно, все дело в противопоставлении. Иначе говоря, отношение Nacht: Nächte можно выразить алгебраической формулой *а:b*, где *a* и *b* являются результатом совокупного ряда отношений, а не простыми членами данного отношения. Язык — это, так сказать, такая алгебра, где имеются лишь сложные члены системы. Среди имеющихся в нем противопоставлений одни более значимы, чем другие; но «единица» и «грамматический факт» — лишь различные названия для обозначения разных аспектов одного и того же явления: действия языковых противопоставлений. Это до такой степени верно, что к проблеме единицы можно было бы подходить со стороны фактов грамматики. При этом нужно было бы, установив противопоставление Nacht: Nächte, спросить себя, какие единицы участвуют в этом противопоставлении: только ли данные два слова, или же весь ряд подобных слов, или же а и ä, или же все формы обоих чисел и т. д.?

Единица и грамматический факт не покрывали бы друг друга, если бы языковые знаки состояли из чего-либо другого, кроме различий. Но поскольку язык именно таков, то с какой бы стороны к нему ни подходить, в нем не найти ничего простого: всюду и всегда он предстает перед нами как сложное равновесие обусловливающих друг друга членов системы. Иначе говоря, *язык есть форма, а не субстанция*. Необходимо как можно глубже проникнуться этой истиной, ибо все ошибки терминологии, все наши неточные характеристики явлений языка коренятся в том невольном предположении, что в языке есть какая-то субстанциальность.

***Глава V***

**Синтагматические отношения и ассоциативные отношения**

**§ 1. Определения**

Итак, в каждом данном состоянии языка все покоится на отношениях. Что же представляют собою эти отношения?

Отношения и различия между членами языковой системы развертываются в двух разных сферах, каждая из которых образует свой ряд значимостей; противопоставление этих двух рядов позволит лучше уяснить природу каждого из них. Они соответствуют двум формам нашей умственной деятельности, равно необходимым для жизни языка.

С одной стороны, слова в речи, соединяясь друг с другом, вступают между собою в отношения, основанные на линейном характере языка, который исключает возможность произнесения двух элементов одновременно. Эти элементы выстраиваются один за другим в потоке речи. Такие сочетания, имеющие протяженность, можно назвать *синтагмами.* Таким образом, синтагма всегда состоит минимум из двух следующих друг за другом единиц (например, rе-lire «перечитать», contre tous «против всех», la vie humaine «человеческая жизнь», s'il fait beau temps, nous sortirons «если будет хорошая погода, мы пойдем гулять» и т. п.). Член синтагмы получает значимость лишь в меру своего противопоставления либо тому, что ему предшествует, либо тому, что за ним следует, или же тому и другому вместе.

С другой стороны, вне процесса речи слова, имеющие между собой что-либо общее, ассоциируются в памяти так, что из них образуются группы, внутри которых обнаруживаются весьма разнообразные отношения. Так, слово enseignement «обучение» невольно вызывает в сознании множество других слов (например, enseigner «обучать», геп-seigner «снова учить» и др., или armement «вооружение», changement «перемена» и др., или éducation «образование», apprentissage «учение» и др.), которые той или иной чертой сходны между собою.

Нетрудно видеть, что эти отношения имеют совершенно иной характер, нежели те отношения, о которых только что шла речь. Они не опираются на протяженность, локализуются в мозгу и принадлежат тому хранящемуся в памяти у каждого индивида сокровищу, которое и есть язык. Эти отношения мы будем называть *ассоциативными отношениями*.

Излишне указывать, что учение о *синтагмах* не совпадает с *синтаксисом,* являющимся, как мы увидим ниже, лишь частью его.

Синтагматическое отношение всегда in praesentia: оно основывается на двух или большем числе членов отношения, в равной степени наличных в актуальной последовательности. Наоборот, ассоциативное отношение соединяет члены этого отношения в виртуальный, мнемонический ряд; члены его всегда in absentia.

Языковую единицу, рассмотренную с этих двух точек зрения, можно сравнить с определенной частью здания, например с колонной: с одной стороны, колонна находится в определенном отношении с поддерживаемым ею архитравом — это взаиморасположение двух единиц, одинаково присутствующих в пространстве, напоминает синтагматическое отношение; с другой стороны, если эта колонна дорического ордера, она вызывает в мысли сравнение с другими ордерами (ионическим, коринфским и т. д.), то есть с такими элементами, которые не присутствуют в данном пространстве, — это ассоциативное отношение.

Каждый из этих рядов отношений требует некоторых специальных замечаний.

**§ 2. Синтагматические отношения**

Наши примеры уже позволяли заключить, что понятие синтагмы относится не только к словам, но и к сочетаниям слов, к сложным единицам всякого рода и любой длины (сложные слова, производные слова, члены предложения, целые предложения).

Недостаточно рассмотреть отношения, объединяющие отдельные части синтагмы между собою (например, centre «против» и tous «всех» в синтагме contre tous «против всех» или centre и maître в синтагме contremaître «старший рабочий», «мастер»); нужно также принимать во внимание то отношение, которое связывает целое с его частями (например, contre tous по отношению к contre, с одной стороны, и к tons, с другой стороны, или contremaître — по отношению к contre, с одной стороны, и maître, с другой стороны).

Здесь можно было бы возразить: поскольку типичным проявлением синтагмы является предложение, а оно принадлежит речи, а не языку, то не следует ли из этого, что и синтагма относится к области речи? Мы полагаем, что это не так. Характерным свойством речи является свобода комбинирования элементов; надо, следовательно, поставить вопрос: все ли синтагмы в одинаковой мере свободны?

Прежде всего, мы встречаемся с огромным количеством выражений, относящихся, безусловно, к языку: это те вполне готовые речения, в которых обычай воспрещает что-либо менять даже в том случае, если по зрелом размышлении в них можно различить значимые части, например à quoi bon? «к чему?», allons donc! «да полноте же!» и т. д. Приблизительно то же, хотя в меньшей степени, относится к таким выражениям, как рrendre la mouche «сердиться по пустякам», forcer la main à quelqu'un «принудить к чему-либо», rоmрrе unе lance «ломать копья», avoir mal à (la tête...) «чувствовать боль (в голове и т. д.)», pas n'est besom de... «нет никакой необходимости. ..», que vous en semble? «что вы думаете об этом?». Узуальный характер этих выражений вытекает из особенностей их значения или их синтаксиса. Такие обороты не могут быть импровизированы; они передаются готовыми, по традиции. Можно сослаться еще и на те слова, которые, будучи вполне доступными анализу, характеризуются тем не менее какой-либо морфологической аномалией, сохраняемой лишь в силу обычая (ср. difficulté «трудность» при facilité «легкость», mourrai «умру» при dormirai «буду спать»).

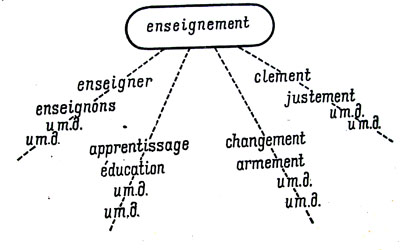
Но это не все. К языку, а не к речи надо отнести и все типы синтагм, которые построены по определенным правилам. В самом деле, поскольку в языке нет ничего абстрактного, эти типы могут существовать лишь в том случае, если в языке зарегистрировано достаточное количествоих образцов. Когда в речи возникает такая импровизация, как indécorable, она предполагает определенный тип, каковой в свою очередь возможен лишь в силу наличия в памяти достаточного количества подобных слов, принадлежащих языку (impardonnable «непростительный», intolérable «нетерпимый», infatigable «неутомимый» и т. д.). Точно то же можно сказать и о предложениях и словосочетаниях, составленных по определенному шаблону; такие сочетания, как la terre tournе «земля вращается», que vous dit-il? «что он вам сказал?», отвечают общим типам, которые в свою очередь принадлежат языку, сохраняясь в памяти говорящих.

Но надо признать, что в области синтагм нет резкой границы между фактом языка, запечатленным коллективным обычаем, и фактом речи, зависящим от индивидуальной свободы. Во многих случаях представляется затруднительным отнести туда или сюда данную комбинацию единиц, потому что в создании ее участвовали оба фактора, и в таких пропорциях, определить которые невозможно.

**§ 3. Ассоциативные отношения**

Образуемые в нашем сознании ассоциативные группы не ограничиваются сближением членов отношения, имеющих нечто общее, — ум схватывает и характер связывающих их в каждом случае отношений и тем самым создает столько ассоциативных рядов, сколько есть различных отношений. Так, в enseignement «обучение», enseigner «обучать», enseignons «обучаем» и т. д. есть общий всем членам отношения элемент — корень; но то же слово enseignement может попасть и в другой ряд, характеризуемый общностью другого элемента — суффикса: enseignement «обучение», armement «вооружение», changement «изменение» и т. д.; ассоциация может также покоиться единственно на сходстве означаемых (enseignement «обучение», instruction «инструктирование», apprentissage «учение», éducation «образование» и т. д.), или, наоборот, исключительно на общности акустических образов (например: enseigne*ment* «обучение» и juste*ment* «справедливо»). Налицо, таким образом, либо общность как по смыслу, так и по форме, либо только по форме, либо только по смыслу. Любое слово всегда может вызвать в памяти все, что способно тем или иным способом с ним ассоциироваться.

В то время как синтагма сразу же вызывает представление о последовательности и определенном числе сменяющих друг друга элементов, члены, составляющие ассоциативную группу, не даны в сознании ни в определенном количестве, ни в определенном порядке. Если начать подбирать ассоциативный ряд к таким словам, как désir-aux «жаждущий», chaleur-eux «пылкий» и т. д., то нельзя наперед сказать, каково будет число подсказываемых памятью слов и в каком порядке они будут возникать. Любой член группы можно рассматривать как своего рода центр созвездия, как точку, где сходятся другие, координируемые с ним члены группы, число которых безгранично.



Впрочем, из этих двух свойств ассоциативного ряда — неопределенности порядка и безграничности количества — лишь первое всегда налицо; второе может отсутствовать, как, например, в том характерном для этого ряда типе, каковым являются парадигмы словоизменения. В таком ряду, как лат. dominus, dominī, dominō и т. д., мы имеем ассоциативную группу, образованную общим элементом — именной основой domin-, но ряд этот небезграничен, наподобие ряда enseignement, changement и т. д.: число падежей является строго определенным, но порядок их следования не фиксирован и та или другая группировка их зависит исключительно от произвола автора грамматики; в сознании говорящих именительный падеж — вовсе не первый падеж склонения; члены парадигмы могут возникать в том или ином порядке чисто случайно.

***Глава VI***

**Механизм языка**

**§ 1. Синтагматические единства**

Итак, образующая язык совокупность звуковых и смысловых различий является результатом двоякого рода общностей — ассоциативных и синтагматических. Как те, так и другие в значительной мере устанавливаются самим языком; именно эта совокупность отношений составляет язык и определяет его функционирование.

Первое, что нас поражает в этой организации, — это *синтагматические единства:* почти все единицы языка находятся в зависимости либо от того, что их окружает в потоке речи, либо от тех частей, из коих они состоят сами.

Словообразование служит этому хорошим примером. Такая единица, как désireux «жаждущий», распадается на две единицы низшего порядка (désir-eux), но это не две самостоятельные части, попросту сложенные одна с другой (désir + еuх), а соединение или произведение двух взаимосвязанных элементов, обладающих значимостью лишь в меру своего взаимодействия в единице высшего порядка (désir X еuх). Суффикс -еuх сам по себе не существует; свое место в языке он получает благодаря целому ряду таких слов, как chaleur-eux «пылкий», chanc-eux «удачливый» и т. д. Но и корень не автономен, он существует лишь в силу своего сочетания с суффиксом: в слове roul-is «качка» элемент roul- ничего не значит без следующего за ним суффикса -is. Значимость целого определяется его частями, значимость частей — их местом в целом; вот почему синтагматическое отношение части к целому столь же важно, как и отношение между частями целого.

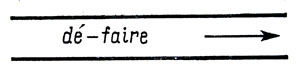
Это и есть общий принцип, обнаруживающийся во всех перечисленных выше синтагмах всюду мы видим более крупные единицы, составленные из более мелких, причем и те и другие находятся в отношении взаимной связи, образующей единство.

В языке, правда, имеются и самостоятельные единицы, не находящиеся в синтагматической связи ни со своими частями, ни с другими единицами. Хорошими примерами могут служить такие эквиваленты предложения, как oui «да», nоn «нет», merci «спасибо» и т. д. Но этого факта, к тому же исключительного, недостаточно, чтобы опорочить общий принцип. Как правило, мы говорим не изолированными знаками, но сочетаниями знаков, организованными множествами, которые в свою очередь тоже являются знаками. В языке все сводится к различениям, но в нем все сводится равным образом и к группировкам. Этот механизм, представляющий собой ряд следующих друг за другом и выполняющих определенные функции членов отношения, напоминает работу машины, отдельные части которой находятся во взаимодействии, с той лишь разницей, что члены этого механизма расположены в одном измерении.

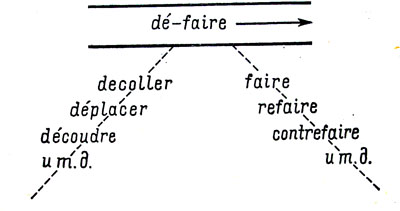
**§ 2. Одновременное действие синтагматических и ассоциативных групп**

Образующиеся таким образом синтагматические группы связаны взаимозависимостью [с ассоциативными]; они обусловливают друг друга. В самом деле, координация в пространстве способствует созданию ассоциативных координации, которые в свою очередь оказываются необходимыми для выделения составных частей синтагмы.

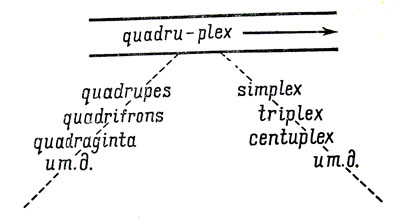
Возьмем сложное слово défaire «разрушать», «отделять». Мы можем его изобразить на горизонтальной оси, соответствующей потоку речи:



Одновременно с этим, но только по другой оси, в подсознании хранится один или несколько ассоциативных рядов, содержащих такие единицы, которые имеют по одному общему элементу от данной синтагмы, например



Равным образом и лат. quadruplex «четверной» является синтагмой лишь потому, что опирается на два ассоциативных ряда:



Défaire и quadruplex могут быть разложены на единицы низшего порядка, иначе говоря, являются синтагмами лишь постольку, поскольку вокруг них оказываются все перечисленные другие формы. Если бы эти формы, содержащие dé- или faire, исчезли из языка, défaire перестало бы быть разложимым, оно превратилось бы в простую единицу и обе его части оказались бы непротивопоставимыми друг другу.

Так выясняется функционирование этой двоякой системы в речи.

Наша память хранит все более или менее сложные типы синтагм, какого бы рода и какой бы протяженности они ни были; когда нужно их использовать, мы прибегаем к ассоциативным группам, чтобы обеспечить выбор нужного сочетания. Когда кто-либо говорит marchons! «идем!», он, сам не сознавая того, обращается к ассоциативным группам, на пересечении которых находится синтагма marchons! Эта синтагма, с одной стороны, значится в ряду marche! «иди!», marchez! «идите!», и выбор определяется противопоставлением формы marchons! этим формам; с другой стороны, marchons! вызывает в памяти ряд montons! «взойдем!», тап-geons! «съедим!», внутри которого она выбирается аналогичным образом. Известно, какие мены надо проделать в каждом ряду, чтобы получить выделение искомой единицы. Достаточно измениться смыслу, который подлежит выражению, чтобы для возникновения другой значимости, например marchez! или montons!, оказались необходимыми другие противопоставления.

Итак, недостаточно сказать, встав на позитивную точку зрения, что мы выбираем marchons! потому, что оно означает то, что нам хочется выразить. В действительности понятие вызывает не форму, а целую скрытую систему, благодаря чему возникают противопоставления, необходимые для образования нужного знака. Знак же сам по себе никакого присущего ему значения не имеет. Если бы наступил момент, когда рядом с marchons! не оказалось бы ни marche!, ни marchez!, то отпали бы некоторые противопоставления и ipso facto изменилась бы значимость знака marchons!

Этот принцип применим к синтагмам и предложениям всех типов, даже наиболее сложным. Произнося que *vous* dit-il? «что он *вам* говорит?», мы меняем один из элементов в латентном синтагматическом типе, например: que *te* dit-il? «что он *тебе* говорит?», que *nous* dit-il? «что он *нам* говорит?» и т. д. И вот таким путем наш выбор останавливается на местоимении vous «вам». Таким образом, при этой операции, состоящей в умственном отстранении всего, что не приводит к желательной дифференциации в желательной точке, действуют и ассоциативные группы, и синтагматические типы.

С другой стороны, этому приему фиксации и выбора подчиняются и самые мелкие единицы, вплоть до фонологических элементов, когда они облечены значимостью. Мы имеем в виду не только такие случаи, как французское pətit (пишется petite) «маленькая» наряду c pəti (пишется petit) «маленький» или латинское dominī «господина» наряду с dominō «господину» и т. п., где в силу случайности смысловое различие покоится на одной фонеме, но и то более характерное и сложное явление, когда фонема сама по себе играет известную роль в системе данного состояния языка. Если, например, в греческом языке m, р, t и др. никогда не могут стоять в конце слова, то это равносильно тому, что их наличие или отсутствие в том или ином месте принимается в расчет в структуре слова и в структуре предложения. Ведь во всех такого рода случаях изолированный звук выбирается, как и все прочие языковые единицы, в результате двоякого мысленного противопоставления: так, в воображаемом сочетании anma звук m находится в синтагматическом противопоставлении с окружающими его звуками и в ассоциативном противопоставлении со всеми теми, которые могут возникнуть в сознании.

a n m a

v

d

**§ 3. Произвольность знака, абсолютная и относительная**

Механизм языка может быть представлен и под другим, исключительно важным углом зрения.

Основной принцип произвольности знака не препятствует различать в каждом языке то, что в корне произвольно, то есть немотивировано, от того, что произвольно лишь относительно. Только часть знаков является абсолютно произвольной; у других же знаков обнаруживаются признаки, позволяющие отнести их к произвольным различной степени: *знак может быть относительно мотивированным.*

Так, vingt «двадцать» немотивировано; но dix-neuf «девятнадцать» немотивировано в относительно меньшей степени, потому что оно вызывает представление о словах, из которых составлено, и о других, которые с ним ассоциируются, как, например, dix «десять», neuf «девять», vingt-neuf «двадцать девять», dix-huit «восемнадцать» и т. п.; взятые в отдельности dix и neuf столь же произвольны, как и vingt, но dix-neuf представляет случай относительной мотивированности. То же можно сказать и о франц. poirier «груша» (дерево), которое напоминает о простом слове poire «груша» (плод) и чей суффикс -ier вызывает в памяти pommier «яблоня», cerisier «вишня (дерево)» и др. Совсем иной случай представляют такие названия деревьев, как frêne «ясень», chêne «дуб» и т. д. Сравним еще совершенно немотивированное berger «пастух» и относительно мотивированное vacher «пастух», а также такие пары, как geôle «тюрьма» и cachot «темница» (ср. cacher «прятать»), concierge «консьерж» и portier «портье» (ср. porte «дверь»), jadis «некогда» и autrefois «прежде» (ср. autre «другой»+fois «раз»), souvent «часто» и fréquemment «нередко» (ср. fréquent «частый»), aveugle «слепой» и boiteux «хромой» (ср. boiter «хромать»), sourd «глухой» и bossu «горбатый» (ср. bosse «горб»), нем. Laub и франц. feuillage «листва» (cp. feuille «лист»), франц. métier и нем. Handwerk «ремесло» (ср. Hand «рука» + Werk «работа»). Английское мн. ч. ships «корабли» своей формой напоминает весь ряд: flags «флаги», birds «птицы», books «книги» и т. д., a men «люди», sheep «овцы» ничего не напоминает. Греч. dōsō «дам» выражает идею будущего времени знаком, вызывающим ассоциацию с lūsō «развяжу», stēsō «поставлю», túpsō «ударю» и т. д., a eîmi «пойду» совершенно изолировано.

Здесь не место выяснять факторы, в каждом отдельном случае обусловливающие мотивацию: она всегда тем полнее, чем легче синтагматический анализ и очевиднее смысл единиц низшего уровня. В самом деле, наряду с такими прозрачными формантами, как -ier в слове роir-ier, сопоставляемом c pomm-ier, ceris-ier и т. д., есть другие, чье значение смутно или вовсе ничтожно, например, какому элементу смысла соответствует суффикс -ot в слове cachot «темница»? Сопоставляя такие слова, как coutelas «тесак», fatras «ворох», plâtras «штукатурный мусор», canevas «канва», мы смутно чувствуем, что -as есть свойственный существительным формант, но не в состоянии охарактеризовать его более точно. Впрочем, даже в наиболее благоприятных случаях мотивация никогда не абсолютна. Не только элементы мотивированного знака сами по себе произвольны (ср. dix «десять», nеuf «девять» в dix-neuf «девятнадцать»), но и значимость знака в целом никогда не равна сумме значимостей его частей; poir X ier не равно poir + ier.

Что касается самого явления, то объясняется оно на основе изложенных в предыдущем параграфе принципов: понятие относительно мотивированного предполагает 1) анализ данного элемента, следовательно, синтагматическое отношение, 2) притягивание одного или нескольких других элементов, следовательно, ассоциативное отношение. Это не что иное, как механизм, при помощи которого данный элемент оказывается пригодным для выражения данного понятия. До сих пор, рассматривая языковые единицы как значимости, то есть как элементы системы, мы брали их главным образом в их противопоставлениях; теперь мы стараемся усматривать объединяющие их единства: эти единства ассоциативного порядка и порядка синтагматического, и они-то ограничивают произвольность знака. Dix-neuf ассоциативно связано с dix-huit, soixante-dix и т. д., а синтагматически — со своими элементами dix и nеuf. Оба эти отношения создают известную часть значимости целого.

По нашему глубокому убеждению, все, относящееся к языку как к системе, требует рассмотрения именно с этой точки зрения, которой почта не интересуются лингвисты, — с точки зрения ограничения произвольности языкового знака. Это наилучшая основа исследования. В самом деле, вся система языка покоится на иррациональном принципе произвольности знака, а этот принцип в случае его неограниченного применения привел бы к неимоверной сложности. Однако разуму удается ввести принцип порядка и регулярности в некоторые участки всей массы знаков, и именно здесь проявляется роль относительной мо-тивированности. Если бы механизм языка был полностью рационален, его можно было бы изучать как вещь в себе (en lui même), но, поскольку он представляет собой лишь частичное исправление хаотичной по природе системы, изучение языка с точки зрения ограничения произвольности знаков навязывается нам самой его природой.

Не существует языков, где нет ничего мотивированного; но немыслимо себе представить и такой язык, где мотивировано было бы все. Между этими двумя крайними точками —наименьшей организованностью и наименьшей произвольностью — можно найти все промежуточные случаи. Во всех языках имеются двоякого рода элементы — целиком произвольные и относительно мотивированные, — но в весьма разных пропорциях, и эту особенность языков можно использовать при их классификации.

Чтобы лучше подчеркнуть одну из форм этого противопоставления, можно было бы в известном смысле, не придавая этому, впрочем, буквального значения, называть те языки, где немотивиро-ванность достигает своего максимума, *лексическими,* а те, где она снижается до минимума, — *грамматическими.* Это, разумеется, не означает, что «лексика» и «произвольность», с одной стороны, «грамматика» и «относительная мотивированность» — с другой, всегда синонимичны, однако между членами обеих пар имеется некоторая принципиальная общность. Это как бы два полюса, между которыми движется вся языковая система, два встречных течения, по которым направляется движение языка: с одной стороны, склонность к употреблению лексических средств — немотивированных знаков, с другой стороны — предпочтение, оказываемое грамматическим средствам, а именно — правилам конструирования.

Можно отметить, например, что в английском языке значительно больше немотивированного, чем, скажем, в немецком; примером ультралексического языка является китайский, а индоевропейский праязык и санскрит — образцы ультраграмматических языков. Внутри отдельного языка все его эволюционное движение может выражаться в непрерывном переходе от мотивированного к произвольному и от произвольного к мотивированному; в результате этих раз-нонаправленных течений сплошь и рядом происходит значительный сдвиг в отношении между этими двумя категориями знаков. Так, например, французский язык по сравнению с латинским характеризуется, между прочим, огромным возрастанием произвольного: лат. inimīcus «враг» распадается на in- (отрицание) и amīcus «друг» и ими мотивируется, а франц. ennemi «враг» не мотивировано ничем, оно всецело относится к сфере абсолютно произвольного, к чему, впрочем, в конце концов, сводится всякий языковой знак. Такой же сдвиг от относительной мотивированности к полной нeмотивированности можно наблюдать на сотне других примеров: ср. лат. constāre (stāre «стоять») : франц. coûter «стоить», лат. fabrica (faber «кузнец»): франц. forge «кузница», лат. magister (magis «больше»): франц. maître «учитель», нар. лат. berbīcārius (bеrbīх «овца»): франц. berger «пастух» и т. д. Этот прирост элементов произвольностей — одна из характернейших черт французского языка.

***Глава VII***

**Грамматика и ее разделы**

**§ 1. Определение грамматики; традиционное деление грамматики**

Статическая лингвистика, или, иначе, описание данного состояния языка, может быть названа *грамматикой* в том весьма точном и к тому же привычном смысле этого слова, который встречается в таких выражениях, как «грамматика шахматной игры», «грамматика биржи» и т. п., где речь идет о чем-то сложном и системном, о функционировании сосуществующих значимостей.

Грамматика изучает язык как систему средств выражения; понятие грамматического покрывается понятиями синхронического и значимого, а поскольку не может быть системы, охватывающей одновременно несколько эпох, мы отрицаем возможность «исторической грамматики»; то, что называется этим именем, в действительности есть не что иное, как диахроническая лингвистика .

Наше определение не согласуется с тем более узким определением, которое обычно дается грамматике. В самом деле, под этим названием принято объединять *морфологию* и *синтаксис*, а *лексикология —* иначе, наука о словах — из грамматики исключается вовсе.

Но прежде всего, в какой мере это деление отвечает действительности? Согласуется ли оно с только что установленными нами принципами?

Морфология занимается разными категориями слов (глаголы, имена, прилагательные, местоимения и пр.) и различными формами словоизменения (спряжение, склонение). Отделяя морфологию от синтаксиса, ссылаются на то, что объектом этого последнего являются присущие языковым единицам функции, тогда как морфология рассматривает только их форму: она ограничивается, например, утверждением, что родительный падеж от греческого слова phúlax «сторож» будет phúlakos*,* а синтаксис сообщает об употреблении этих двух форм.

Но это различение обманчиво: разные формы существительного phūlax объединяются в единую парадигму склонения только благодаря сравнению функций, свойственных этим формам; с другой стороны, эти функции входят в морфологию лишь постольку, поскольку каждой из них соответствует определенный звуковой показатель (signе). Склонение не есть ни перечень форм, ни ряд логических абстракций, но соединение того и другого: формы и функции образуют единство и разъединение их затруднительно, чтобы не сказать — невозможно. С лингвистической точки зрения у морфологии нет своего реального и самостоятельного объекта изучения; она не может составить отличной от синтаксиса дисциплины.

А с другой стороны, логично ли исключать лексикологию из грамматики? На первый взгляд может показаться, что слова, как они даны в словаре, как будто бы не поддаются грамматическому изучению, объектом которого обычно бывают отношения между отдельными единицами. Но сразу же мы замечаем, что многие из этих отношений могут быть выражены с равным успехом как грамматическими средствами, так и словами. Так, латинские слова fīō «делаюсь», «становлюсь» и faciō «делаю» взаимно противопоставлены, совершенно так же, как dīcor «говорюсь» (= обо мне говорят) и dīcō «говорю», являющиеся грамматическими формами одного и того же слова; в русском языке различение видов (совершенного и несовершенного) выражено грамматически в случае *спросить: спрашивать* и лексически в случае *сказать: говорить*. Предлоги обыкновенно относят к грамматике; однако предложное речение е отношении к по сути своей лексично, так как слово *отношение* фигурирует в нем в своем прямом смысле. Сравнивая греч. peíthō «убеждаю»: peíthomai «слушаюсь», «повинуюсь» с франц. je persuade «убеждаю»: j'obéis «повинуюсь», мы видим, что одно и то же противопоставление в одном языке выражено грамматически, в другом — лексически. Многие отношения, выражаемые в одних языках падежами или предлогами, в других языках передаются сложными словами, приближающимися к собственно словам (франц. royaume des cieux и нем. Himmelreich «царство небесное»), или производными (франц. moulin à vent и польск. wiatr-ak «ветряная мельница»), или, наконец, простыми словами (франц. bois de chauffage и русск. *дрова*, франц. bois de construction и русск. [строевой] *лес*). Сплошь и рядом наблюдается также взаимная замена простых слов и составных речений внутри одного языка (ср. соображать и принимать в соображение; наказывать и подвергать наказанию).

Итак, мы видим, что с точки зрения функции лексические факты могут совпадать с фактами синтаксическими. С другой стороны, всякое слово, не являющееся простой и неразложимой единицей, ничем существенным не отличается от члена предложения, то есть от факта синтаксического: комбинирование (agencement) и порядок составляющих его единиц низшего уровня подчиняются тем же основным принципам, что и образование словосочетаний из слов.

Не отрицая того, что традиционное деление грамматики практически может оказаться полезным, мы тем не менее приходим к выводу, что оно не соответствует естественным различиям; традиционно выделяемые разделы грамматики не связаны между собой какими-либо рациональными связями. Грамматика может и должна строиться на иных, более основательных принципах.

**§ 2. Рациональное деление грамматики**

Взаимопроникновение морфологии, синтаксиса и лексикологии объясняется, по существу, тождественным характером всех синхронических фактов. Между ними не может быть никаких заранее начертанных границ. Лишь установленное выше различение отношений, синтагматических и ассоциативных, представляет основу для классификации, которую навязывают сами факты и на которой единственно может строиться грамматическая система.

Все, в чем выражено данное состояние языка, надо уметь свести к теории синтагм и к теории ассоциаций. Уже сейчас без особого труда можно было бы наметить распределение по этим двум разделам некоторых частей традиционной грамматики: словоизменение является, конечно, типичным примером ассоциации форм в сознании говорящих; с другой стороны, синтаксис, то есть, согласно наиболее распространенному определению, теория словосочетаний, входит в синтагматику, так как словосочетания всегда предполагают по меньшей мере две распределенные в пространстве единицы. Не все синтагматические явления попадают в синтаксис, но все явления синтаксиса относятся к синтагматике.

На любом разделе грамматики можно было бы показать все преимущества, проистекающие от изучения каждого вопроса под этим двояким углом зрения. Так, понятие слова ставит две разные проблемы, рассматриваем ли мы его ассоциативно или синтагматически; французское прилагательное grand «большой» в синтагме выступает в двоякой форме (œ grã garso «un *grand* garçon» и œ *grãt* ã:fã «un *grand* enfant») и ассоциативно — в другой двоякости (м. р. grã «grand», ж. р. grãd «grande»).

Надо научиться сводить, таким образом, каждое явление к его ряду, синтагматическому или ассоциативному, и согласовывать все содержание грамматики с ее двумя естественными осями: только такое распределение сможет нам показать, что именно следует изменить в привычных рамках синхронической лингвистики. Разумеется, мы не берем сейчас на себя этой задачи, а ограничимся установлением самых общих принципов.

***Глава VIII***

**Роль абстрактных сущностей в грамматике**

До сих пор мы еще не касались одного важного пункта, в котором наиболее ярко обнаруживается необходимость изучать каждый грамматический вопрос с двух выделенных выше точек зрения. Дело идет об абстрактных сущностях в грамматике. Рассмотрим их сперва с ассоциативной стороны.

Ассоциирование двух форм — это не только осознание того, что они имеют нечто общее; это также различение характера отношений, управляющих данными ассоциациями. Так, говорящие сознают, что отношение, связывающее enseigner «обучать» и enseignement «обучение», juger «судить» и jugement «суждение», не тождественно тому отношению, которое они констатируют между enseignement «обучение» и jugement «суждение». Вот этой своей стороной система ассоциаций и связывается с грамматической системой. Можно сказать, что сумма осознанных и систематических классификаций, которые производит грамматист, изучающий данное состояние языка без привлечения истории, должна совпадать с суммой ассоциаций как осознаваемых, так и неосознаваемых, реализующихся в речи. При помощи этих ассоциаций и фиксируются в нашем уме гнезда слов, парадигмы словоизменения, морфологические элементы: корни, суффиксы, окончания и т. д.

Но какие же элементы выделяются путем ассоциации, только ли материальные? Конечно, нет! Мы уже видели, что ассоциация может сближать слова, связанные между собою толыоо по смыслу (ср. enseignement «обучение», apprentissage «учение», éducation «образование» и т. д.).Так же обстоит дело в грамматике; возьмем три латинские формы родительного падежа: domin-ī «господина», rēg-*is* «царя», ros-*ārum* «роз»; в звучаниях этих трех окончаний нет ничего общего, что могло бы породить ассоциацию, а между тем они вступают между собою в ассоциативную связь вследствие наличия общей значимости, выражающейся в тождественности их употребления; и этого достаточно для возникновения ассоциации, несмотря на отсутствие какой-либо материальной опоры. Именно таким образом и возникает в языке понятие родительного падежа как такового. Совершенно аналогичным образом окончания -us, -ī, -ō и т. д. (в dominus, dominī, dominō и т. д.) связываются в сознании и дают начало таким еще более общим понятиям, как падеж и падежное окончание. Такого же рода ассоциации, но еще более широкие, объединяют все существительные, все прилагательные и т.д., приводя к такому понятию, как часть речи.

Все это существует в языке, но лишь в качестве *абстрактных сущностей;* изучать их нелегко, так как нельзя знать в точности, заходит ли сознание говорящих столь же далеко, как и анализ грамматистов. Но основное состоит в том, что *абстрактные сущности в конечном счете всегда основываются на конкретных.* Никакая грамматическая абстракция немыслима без целого ряда материальных элементов, которые служат для нее субстратом и к которым в конечном счете необходимо всегда возвращаться. Встанем теперь на синтагматическую точку зрения. Значимость синтагмы часто связана с порядком ее элементов. Анализируя синтагму, говорящий не ограничивается выделением ее частей; он устанавливает также определенный порядок их следования. Смысл таких слов, как франц. désir-eux «жаждущий», лат. signi-fer «знаменосец», зависит от положения составляющих их единиц низшего уровня друг относительно друга: нельзя, например, сказать eux-désir «щий-жажду», fer-signum «носец-знаме». Значимости может вообще не соответствовать какой-либо конкретный элемент, вроде eux и fer, ее носителем может быть только сам порядок следования членов синтагмы: так, например, французские словосочетания je dois «я должен» и dois-je? «должен ли я? » различаются по значению исключительно в силу различного порядка слов. Один и тот же смысл в одном языке выражается порой простым порядком слов, тогда как в другом — одним или несколькими словами. В синтагмах типа gooseberry wine «сидр из крыжовника», gold watch «золотые часы» и т. д. английский язык выражает одним лишь порядком слов такие отношения, которые в современном французском языке выражаются предлогами: vin *de* groseilles, montre *en* or. В свою очередь современный французский язык выражает понятие прямого дополнения исключительно позицией существительного после переходного глагола (cp. je cueille une fleur «я срываю цветок»), тогда как латинский и другие языки выражают то же понятие винительным падежом, характеризующимся особыми окончаниями, и т. д.

Но если порядок слов несомненно является абстрактной сущностью, то не в меньшей мере верно и то, что она обязана своим существованием конкретным единицам, которые ее содержат и которые располагаются в одном измерении именно в этом порядке. Было бы заблуждением думать, будто существует бесплотный синтаксис вне этих расположенных в пространстве материальных единиц. При рассмотрении англ. The man I have seen «Человек, которого я видел» может показаться, что в данном случае изображается нулем то, что французский язык передает местоимением que «которого». Но это представление, будто нечто может быть выражено через ничто, основывается исключительно на сопоставлении с фактами французского синтаксиса и является ложным; в действительности же соответствующая значимость возникает исключительно благодаря выстроенным в определенном порядке материальным единицам. Нельзя обсуждать вопросы синтаксиса, не исходя из наличной совокупности конкретных слов. Впрочем, тот самый факт, что мы понимаем данное языковое сочетание (например, приведенный выше ряд английских слов) показывает, что данный ряд слов является адекватным выражением мысли.

Материальная единица существует лишь в силу наличия у нее смысла, в силу той функции, которой она облечена; этот принцип особенно важен для выделения простых единиц, так как может показаться, будто они существуют только в силу своей материальности, то есть будто, например, aimer «любить» существует лишь благодаря составляющим его звукам. И наоборот, как мы только что видели, смысл, функция существуют лишь благодаря тому, что они опираются на какую-то материальную форму; если мы сформулировали этот принцип на примере синтагм или синтаксических конструкций, то это только потому, что существует тенденция рассматривать их как нематериальные абстракции, парящие над элементами предложения. Оба эти принципа, дополняя друг друга, согласуются с нашими утверждениями о разграничении единиц.

**Часть третья**

**ДИАХРОНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА**

***Глава I***

**Общие положения**

Диахроническая лингвистика изучает отношения не между сосуществующими элементами данного состояния языка, а между последовательными, сменяющими друг друга во времени элементами.

В самом деле, абсолютной неподвижности не существует вообще; все стороны языка подвержены изменениям; каждому периоду соответствует более или менее заметная эволюция. Она может быть различной в отношении темпа и интенсивности, но самый принцип от этого не страдает; поток языка течет во времени непрерывно, а как он течет, спокойно или стремительно, — это вопрос второстепенный.

Правда, эта непрерывная эволюция весьма часто скрыта от нас вследствие того, что внимание наше сосредоточивается на литературном языке; как увидим ниже, литературный язык, подчиняющийся иным условиям существования, нежели народный язык (то есть язык естественный), наслаивается на этот последний и заслоняет его от нас. Раз сложившись, литературный язык в общем проявляет достаточную устойчивость и тенденцию оставаться тождественным самому себе; его зависимость от письма обеспечивает ему еще большую устойчивость. Литературный язык, таким образом, не может служить для нас мерилом того, до какой степени изменчивы естественные языки, не подчиненные никакой литературной регламентации.

Объектом диахронической лингвистики является в первую очередь фонетика, и притом вся фонетика в целом. В самом деле, эволюция звуков не совместима с понятием «состояния»; сравнение фонем или сочетаний фонем с тем, чем они были раньше, сводится к установлению диахронического факта. Предшествовавшая эпоха может быть в большей или меньшей степени близкой, но если она сливается со следующей, то фонетическому явлению более нет места; остается лишь описание звуков данного состояния языка, а это уже предмет фонологии. Диахронический характер фонетики вполне согласуется с тем принципом, что ничто фонетическое не является сигнификативным или грамматическим в широком смысле слова. При изучении истории звуков какого-либо слова можно, игнорируя смысл, рассматривать лишь его материальную оболочку, членить его на звуковые отрезки, не задаваясь вопросом, имеют они значение или нет. Можно, например, пытаться узнать, во что превращается в аттическом диалекте древнегреческого языка ничего не значащее сочетание *-*ewo-. Если бы эволюция языка всецело сводилась к эволюции звуков, противоположность объектов обоих разделов лингвистики сразу бы стала явной: ясно было бы видно, что диахроническое равнозначно неграмматическому, а синхроническое — грамматическому.

Но разве во времени изменяются одни только звуки? Меняют свое значение слова; эволюционируют грамматические категории; некоторые из них исчезают вместе с формами, служившими для их выражения (например, двойственное число в латинском языке). А раз у всех фактов ассоциативной и синтагматической синхронии есть своя история, то как же сохранить абсолютное различение между диахронией и синхронией? Действительно, сохранение этого различия становится весьма затруднительным, как только мы выходим из сферы чистой фонетики.

Заметим, однако, что многие изменения, которые считаются грамматическими, сводятся к фонетическим. В немецком языке образование грамматического типа Hand: Händo вместо hant: hanti всецело объясняется фонетически. Равным образом фонетический фактор лежит в основе сложных слов типа Springbrunnen «фонтан», Reitschule «школа верховой езды» и т д. В древневерхненемецком языке первый элемент в словах этого рода был не глагольным, а именным: beta-hūs означало «дом молитвы», но после того как конечный гласный фонетически отпал (beta- → bet- и т. д.), установился семантический контакт с глаголом (beten «молиться» и т. п.), и Bethaus стало означать «дом, где молятся».

Нечто подобное произошло и в тех сложных словах, которые в древнегерманском языке образовывались с участием слова līch «внешний вид» (ср. mannolīch «имеющий мужской вид», redolīch «имеющий разумный вид»). Ныне во множестве прилагательных (ср. verzeihlich «простительный», glaublich «вероятный» и т. д.) -lich превратилось в суффикс, который можно сравнить с французским суффиксом -able в словах pardonnable «простительный», croyable «вероятный» и т. д.; одновременно изменилась интерпретация первого элемента: в нем теперь усматривается не существительное, а глагольный корень, это объясняется тем, что в ряде случаев вследствие падения конечного гласного первого элемента (например, redo → red-) этот последний уподобился глагольному корню (red- oт reden).

Так, glaub- в glaublich скорее сближается с glauben «верить», чем с Glaube «вера», a sichtlich «видимый» ассоциируется, несмотря на различие в основе, уже не с Sicht «вид», а с sehen «видеть».

Во всех этих случаях и во многих других, сходных с ними, различение двух планов остается очевидным; это следует помнить, чтобы легкомысленно не утверждать, будто мы занимаемся исторической грамматикой, тогда как в действительности мы сначала вступаем в область диахронии, когда изучаем фонетические изменения, а затем — в область синхронии, когда рассматриваем вызванные этими изменениями следствия.

Но это не устраняет всех затруднений. Эволюция любого грамматического факта, ассоциативной группы или синтагматического типа несравнима с эволюцией звука. Она не представляет собой простого явления, а разлагается на множество частных фактов, которые только частично относятся к фонетике. В генезисе такого словосочетания, как французское будущее prendre ai, превратившееся в одно слово prendrai «возьму», различаются по меньшей мере два факта: один, психологический, — синтез двух понятийных элементов, другой, фонетический, зависящий от первого, — сведение двух словесных ударений к одному (préndre aí → prendraí).

Спряжение германского сильного глагола (тип современного немецкого geben «давать»: geben, gab, gegeben и т. п.; ср. греч. leípō «оставляю»: leípō, élipon, léloipa и т. п.) в значительной мере основано на аблауте гласных корня. Эти чередования, система которых вначале была довольно простой, несомненно, возникли в результате действия чисто фонетического фактора. Однако, для того чтобы эти противопоставления получили функциональное значение, потребовалось, чтобы первоначальная система спряжения упростилась в результате целого ряда всяческих изменений: исчезновение многочисленных разновидностей форм настоящего времени и связанных с ними смысловых оттенков, исчезновение имперфекта, будущего и аориста, исчезновение удвоения в перфекте и т. д. Все эти изменения, в которых, по существу, нет ничего фонетического, уменьшили число форм глагольного спряжения, а чередования основ приобрели первостепенную смысловую значимость. Можно, например, утверждать, что противопоставление *е:а* более значимо в geben: gab, чем противопоставление *е:о* в греч. leípō: léloipa вследствие отсутствия удвоения в немецком перфекте. Итак, хотя фонетика так или иначе то и дело вторгается в эволюцию, она все же не может ее объяснить целиком; по устранении же фонетического фактора получается остаток, казалось бы, оправдывающий такое понятие, как «история грамматики»; именно здесь и скрывается настоящая трудность: различение между диахроническим и синхроническим, сохранить которое необходимо, потребовало бы сложных объяснений, что выходит за рамки этого курса.

К этому дидактическому и чисто внешнему соображению присоединяется, быть может, и другое: Ф. де Соссюр никогда не касался в своих лекциях лингвистики речи. Читатель помнит, что новая норма всегда начинается с отдельных лиц. Можно, по-видимому, признать, что автор отрицает за индивидуальными фактами свойство быть грамматическими в том смысле, что изолированный ает по необходимости чужд языку и его системе, зависящей только от совокупности коллективных навыков. Поскольку факты относятся к речи, они являются лишь специальными и чисто случайными способами использования установившейся системы. Лишь тогда, когда какая-либо инновация, часто повторяясь, запечатлевается в памяти и входит в систему, она приводит к нарушению установившегося равновесия значимостей и к тому, что язык ipso facto и спонтанно оказывается претерпевшим изменения. К грамматической эволюции можно было бы применить то, что было сказано о фонетической эволюции: она протекает вне системы, ибо последняя никогда не наблюдается в развитии; мы лишь от момента к моменту находим ее другой. Впрочем, эта попытка объяснения представляет с нашей стороны только предположение.

**§ 3. Вопросы метода**

При описании фонетических явлений можно прибегать лишь к таким формулировкам, которые не противоречат указанным выше различениям; в противном случае мы рискуем представить факты в ложном свете.

Вот несколько примеров подобных неточностей.

Согласно прежней формулировке закона Вернера, «в германском языке всякое неначальное þ перешло в đ, если за ним следовало ударение»; ср., с одной стороны, \*faþer → \*fađer (нем. Vater «отец»), \*liþumé → liđumé (нем. litten «страдали»), с другой стороны, \*þrīs (нем. drei «три»), \*brōþer (нем. Bruder «брат»), \*liþо (нем. leide «страдаю»), где þ сохраняется. Такая формулировка приписывает активную роль ударению и вводит ограничительное условие относительно начального þ. В действительности же дело совсем не в этом: в германском, как и в латинском языке, þ проявляло тенденцию к спонтанному озвончению внутри слова; помешать этому могло только ударение на предшествующем гласном. Итак, все оказывается наоборот: изменение является спонтанным, а не комбинаторным, и ударение выступает в качестве препятствующего фактора, а не порождающей причины. Закон следует формулировать так: «всякое þ внутри слова перешло в đ*,* если только этому не препятствовало ударение на предыдущем гласном».

Для правильного различения фактов спонтанного и комбинаторного изменения надо проанализировать фазы преобразования и не принимать опосредствованного результата за непосредственный. Так, для объяснения ротацизма (ср. лат, \*genesis → generis) неточно утверждать, будто s между двумя гласными превратилось в r, так как глухое s ни в коем случае не может перейти прямо в r. В действительности было два события: s комбинаторно изменилось в z, а z, не сохранившееся в звуковой системе латинского языка, было заменено очень близким ему звуком r, и это есть спонтанное изменение. Выходит, таким образом, что прежде ошибочно смешивали в одном явлении два различных факта; ошибка состояла в том, что, с одной стороны, принимали опосредствованный результат за непосредственный (s→r вместо z→r), а, с другой стороны, все явление рассматривали как комбинаторное, тогда как таковым является только его первая часть. Это равносильно тому, как если бы кто-либо стал утверждать, что во французском *е* перешло в *а* перед носовым согласным. В действительности сперва произошло комбинаторное изменение — назализация *е* перед *n* (ср. лат. ventum «ветер» → франц. vēnt, лат. fēmina «женщина» → франц. fеme → fēme), а затем спонтанное изменение ē в ā (ср. vānt, fāmə, теперь — vā, fam (пишется vent, femme)). Напрасно было бы возражать, утверждая, что это могло произойти лишь перед носовым согласным: вопрос не в том, почему *е* назализовалось, но только в том, спонтанным или комбинаторным является переход ē в ā.

Грубейшая методологическая ошибка, на которую мы считаем нужным указать, хотя она и не связана с изложенными выше принципами, состоит в том, что фонетический закон формулируется в настоящем времени, как если бы предусматриваемые им факты существовали раз и навсегда, тогда как в действительности они возникают и исчезают в определенные отрезки времени. Такая формулировка приводит к путанице, ибо в результате устраняется всякая хронологическая последовательность событий. Мы уже обращали внимание на это, когда анализировали цепь явлений, объясняющих пару trikhes: thriksí. Когда говорят «s в латинском переходит в r», то этим хотят внушить мысль, будто ротацизм присущ этому языку по природе, а в результате попадают в тупик перед такими исключениями, как causa «причина», rīsus «смех» и др. Только формула «интервокальное s в определенный период развития латинского языка переходит в r» позволяет говорить, что в тот момент, когда s переходило в r, в таких словах, как causa, rīsus и т. п., еще не было интервокального s, почему они и были защищены от изменения; и, действительно, тогда еще говорили caussa, rīssus. По той же причине следует говорить: «в ионическом диалекте древнегреческого языка [в определенный период его развития] ā перешло в ē (ср. mātēr → mētēr «мать»)», ибо в противном случае нельзя объяснить таких форм, как pāsa «вся», phāāsi «они говорят» и т. п. (которые в эпоху изменения произносились еще как pánsa, phánsi и т. д.).

**§ 4. Причины фонетических изменений**

Выяснение причин фонетических изменений является одним из труднейших вопросов лингвистики. Было предложено несколько объяснений, ни одно из которых не пролило окончательного света на этот вопрос.

1. Высказывалось мнение, что предрасположения, предопределяющие направление фонетических изменений, заложены в расовых особенностях говорящих. Но тут возникает вопрос, относящийся к компетенции сравнительной антропологии: различен ли речевой аппарат у разных рас? Едва ли в большей степени, чем у разных людей. Ведь негр, живущий со своего рождения во Франции, столь же хорошо говорит по-французски, как и местные жители. Кроме того, когда пользуются такими выражениями, как «органы речи у итальянцев», «уста германцев не допускают этого», то рискуют чисто историческому факту придать постоянный характер. Это ошибка, аналогичная той, какую делают, когда формулируют фонетическое явление в настоящем времени; утверждать, что органы речи ионических греков противятся произнесению я и изменяют его в е, столь же ошибочно, как говорить, что в ионическом диалекте древнегреческого языка ā переходит в ē.

Органы речи ионических греков вовсе не отказывались произносить а: звук этот в названном диалекте встречается. Дело, следовательно, не в антропологической неспособности, а в изменении артикуляционных навыков. Сошлемся также на латинский язык, в котором не сохранилось первоначального интервокального s (\*genesis → generis «рода»), которое, однако, вновь появилось позже (ср. \*rīssus → rīsus «смех»); эти изменения указывают на отсутствие у римлян постоянной предрасположенности к определенному артикуляционному навыку.

Конечно, у каждого народа в каждую данную эпоху обнаруживается определенная направленность фонетических изменений; в монофтонгизации дифтонгов в новом французском языке отражается одна и та же общая тенденция. Но ведь и в политической истории можно найти аналогичные общие течения без того, чтобы ставить под сомнение их чисто исторический характер, и без того, чтобы объяснять их непосредственно влиянием расы.

2. Фонетические изменения часто рассматриваются как результат приспособления к природным и климатическим условиям. Некоторые северные языки нагромождают согласные, некоторые южные языки весьма широко пользуются гласными, чем и объясняется их гармоничность. Разумеется, климат и условия жизни могут влиять на язык, но при внимательном рассмотрении вся проблема оказывается более сложной: ведь наряду со скандинавскими наречиями, столь перегруженными согласными, саамский и финский языки изобилуют гласными еще в большей степени, чем даже итальянский язык. Заметим также, что нагромождение согласных в современном немецком языке во многих случаях оказывается новейшим явлением, вызванным отпадением послеударных гласных; далее, некоторые диалекты Юга Франции допускают скопления согласных более охотно, чем северные французские диалекты; в сербском языке их столько же, сколько и в русском и т. д.

3. Далее, иногда ссылаются на закон наименьшего усилия, вследствие которого будто бы две артикуляции заменяются одной, трудная артикуляция — более легкой. Что бы ни говорили об этой идее, она все же заслуживает рассмотрения; она до некоторой степени может разъяснить причину явления или по крайней мере наметить пути для ее отыскания.

Закон наименьшего усилия, по-видимому, объясняет некоторые случаи, как, например, переход смычного согласного в спирант (лат. hаbēre → франц. avoir «иметь»), отпадение конечных согласных во многих языках, явления ассимиляции (например, ly → ll, \*atyos → греч. állos «другой», tn → nn, \*аtnоs → лат. annus «год»), монофтонгизацию дифтонгов, представляющую собой лишь частный случай ассимиляции (например, ai → ε, франц. Maizõn → mεzō (пишется maison) «дом») и т. п.

Но дело в том, что можно указать на такое же количество случаев, когда происходит как раз обратное. Монофтонгизации можно, например, противопоставить переход ī, ū, ü в ei, au, еu в немецком. Если считать, что сокращение ā, ē в ă, ě, которое наблюдается на славянской почве, объясняется действием закона наименьшего усилия, тогда обратное явление, наблюдаемое в немецком языке (făter → Vāter «отец», gěben → gēben «давать»), придется объяснять действием закона наибольшего усилия. Если считать, что звонкие произносить легче, нежели глухие (ср. лат. opera «труды» → пров. obra «труд»), тогда для объяснения обратных случаев надо будет привлечь понятие наибольшего усилия; между тем, такие обратные случаи наблюдаются и в испанском языке, где перешло в χ (ср. hiχο (пишется hijo) «сын»), и в германских языках, где b, d, g перешли в р, t, k. Если утрата придыхания (ср. и.-е. \*bherō → герм. beran «нести») рассматривается как уменьшение усилия, то что сказать тогда о немецком языке, в котором оно появляется там, где его раньше не было (Таnnе «ель», Pute «индейка», которые произносятся соответственно Thanne, Phute)?

Наши замечания нисколько не претендуют на то, чтобы опровергнуть теорию наименьшего усилия. Просто фактически едва ли возможно определить в отношении каждого языка, что является более легким для произношения и что более трудным. Совершенно верно, что сокращение звука соответствует меньшему усилию, в смысле уменьшения длительности, но ведь верно и то, что небрежное произношение приводит к удлинению гласных и что краткие гласные требуют большего внимания при их произношении. Таким образом, предполагая различные предрасположения, можно два противоположных факта представить в одинаковом свете. Возьмем еще случай с k, которое перешло в t∫ (ср. лат. cēdere → итал. cedere «уступать»); если принимать во внимание только крайние точки этого процесса, то может показаться, что произошло увеличение усилия; но это впечатление меняется, стоит только восстановить всю цепь преобразования: k становится нёбным k' вследствие уподобления последующему гласному; затем k' переходит в kj, но произношение не становится от этого более трудным, наоборот, оба включенных в А'элемента в результате перехода оказываются четко разграниченными, и дальнейший переход от kj к tj, tχ' и, наконец, к t∫ каждый раз сопровождается уменьшением усилия.

Здесь открывается обширное поле для исследований, которые, чтобы стать полными, должны принять во внимание и физиологическую точку зрения (проблема артикуляции), и психологическую точку зрения (проблема внимания).

4. Согласно распространившемуся за последние годы взгляду, изменения в произношении приписываются нашему фонетическому воспитанию в детстве. Только после долгих проб, ошибок и исправлений ребенок научается произносить то, что он слышит от окружающих; здесь будто бы таится источник фонетических изменений: некоторые не исправленные в детстве неточности в произношении закрепляются у целого ряда лиц и охватывают все подрастающее поколение. Наши дети часто произносят t вместо k, хотя в истории наших языков соответствующее фонетическое изменение не встречается. Иначе обстоит дело с некоторыми другими отступлениями от нормы; так, в Париже многие дети произносят fl'еur, bl'аnс со смягченным l; между тем в итальянском вследствие аналогичного процесса лат. florem перешло в fl'ore, затем в fiore «цветок».

Эти наблюдения заслуживают внимания, но все же не решают проблемы. В самом деле, нельзя понять, почему данное поколение удерживает одни из усвоенных в детстве неточностей, а не другие, в одинаковой мере естественные; действительно, выбор неправильных произношений представляется чисто произвольным, рационально не обоснованным. Далее, почему данное явление прокладывает себе путь именно в данную эпоху, а не в другую?

Впрочем, это замечание относится и ко всем перечисленным выше факторам, если только допускать эффективность их действия: и влияние климата, и предрасположение, коренящееся в расовых особенностях говорящих, и тенденция к наименьшему усилию существуют постоянно или, во всяком случае, длительно. Почему же они действуют эпизодически, то в одной точке фонологической системы, то в другой? У исторического события должна быть определяющая его причина, а между тем для нас остается неясным, что же именно в каждом отдельном случае вызывает данное изменение, причина которого в общем виде существовала уже давно. А ведь в этом-то и состоит вопрос, требующий разрешения.

5. Иногда стараются найти эти определяющие причины в общих условиях бытия народа в данный момент. Одни из переживаемых языками эпох связаны с большими сдвигами, чем другие; пытаются приурочить такие эпохи к бурным периодам внешней политической истории, устанавливая таким образом связь между политической неустойчивостью и неустойчивостью языка; полагают, что, исходя из этого, к фонетическим изменениям можно применить выводы, сделанные в отношении языка вообще. Указывают, например, что наиболее резкие перемены в латинском языке в период сложения романских языков совпадают с весьма беспокойной эпохой вражеских нашествий. Чтобы не запутаться в этом вопросе, следует принимать во внимание следующие два момента:

а) Политическая стабильность влияет на развитие языка вовсе не так, как политическая нестабильность, никакой симметрии здесь нет. Когда политическое равновесие замедляет эволюцию языка, речь идет о положительной, хотя и внешней, причине, тогда как политическая неустойчивость, эффект которой должен быть обратным, может действовать лишь отрицательно. Неподвижность, большая или меньшая фикси-рованность данного конкретного языка может проистекать из явлений, внешних по отношению к языку (langue) (влияние двора, школы, академии, письменности и т. п.), которым в свою очередь благоприятствует установившееся социальное и политическое равновесие. Наоборот, если какое-либо внешнее потрясение, происшедшее в истории народа, ускоряет языковую эволюцию, то это значит только, что язык вновь обрел состояние свободы и следует своему нормальному течению. Неподвижность латинского языка в классическую эпоху объясняется внешними факторами и не может сравниваться с теми изменениями, которые он испытал впоследствии, ибо эти изменения произошли сами собой благодаря отсутствию сдерживающих внешних причин.

б) Здесь речь идет лишь о фонетических явлениях, а не о всякого рода изменениях в языке. Можно еще понять, что грамматические изменения связаны с вышеуказанными причинами; грамматические факты какими-то своими сторонами всегда связаны с мышлением и легче отражают на себе действие внешних потрясений, поскольку эти последние более непосредственно влияют на человеческий ум. Но у нас нет никаких данных утверждать что бурным эпохам в истории народа соответствуют резкие фонетические изменения в языке.

Впрочем, нельзя указать ни одной эпохи, даже из числа тех, когда язык пребывает в состоянии искусственной неподвижности, в течение которой не произошло бы никакого фонетического изменения.

6. Высказывалась также гипотеза о «предшествующем языковом субстрате»: некоторые изменения будто бы обязаны своим возникновением туземному населению, поглощенному новыми пришельцами. Так, различие между langue d'oc (говоры Юга Франции) и langue d'oїl (говоры Севера Франции) будто бы соответствует различной пропорции коренного кельтского элемента в южной и северной Галлии; эту теорию применяли также для объяснения диалектных различий итальянского языка, сводя их в зависимости от географического положения диалектов к лигурским, этрусским и другим влияниям. Прежде всего, следует сказать, что эта гипотеза предполагает наличие ситуации, которая встречается довольно редко. Кроме того, следует уточнить, что имеют в виду, говоря о языковом субстрате. Если этим хотят сказать, что, принимая новый язык, местное население вводит в него нечто от своих произносительных навыков, то это вполне допустимо и естественно. Но если при этом опять начинают ссылаться на неуловимые факторы расы и т. п., то мы снова сталкиваемся с теми же затруднениями, о которых говорилось выше.

7. Наконец, последнее объяснение, совсем не заслуживающее такого названия, приравнивает фонетические изменения к изменениям моды. Но причин изменения моды пока никто не вскрыл: известно только, что они зависят от законов подражания, интересующих многих психологов. Однако, хотя такое объяснение и не решает вопроса, оно все же имеет то преимущество, что делает его частью более широкой проблемы: причина фонетических изменений оказывается чисто психологической. Тайной остается лишь одно: где же искать отравную точку для подражания как у изменений моды, так и у фонетических изменений?

**§ 5. Неограниченность действия фонетических изменений**

Если кто-либо пожелает выяснить действие тех или иных фонетических изменений, тог легко убедится, что они безграничны и неисчислимы; иначе говоря, невозможно предвидеть, где они прекратятся. Наивно думать, что слово может видоизменяться лишь до определенного предела, как будто в нем есть нечто оберегающее его от дальнейших изменений. Это свойство фонетических изменений обусловлено произвольностью знака, ничем не связанного со значением .

В каждый данный момент можно констатировать, как и в какой мере видоизменились звуки какого-либо слова, но нельзя предвидеть заранее, до какой степени это слово стало или станет неузнаваемым.

Индоевропейское \*aiwom (ср. лат. aеvоm) «вечность», «век» в германском языке перешло, как и все слова с подобным окончанием, в \*aiwan, \*aiwa, \*aiw; в дальнейшем \*aiw, как и все слова с этой группой звуков, превратилось в древненемецком языке в ēw «вечность», «время», затем, поскольку всякое конечное w изменилось в *о*, получилось ēо, в свою очередь ēо перешло в ео, io в соответствии с другими, столь же общими законами; в дальнейшем io дало ie, je и, наконец, в современном немецком языке — jē (ср. das schönste, was ich *je* gesehen habe «прекраснейшее из того, что я *когда-либо* видел»).

Если рассматривать только исходный и конечный пункты, современное слово не содержит ни одного из первоначальных элементов; тем не менее каждый этап, взятый в отдельности, абсолютно определен и регулярен; кроме того, каждый из них ограничен в своем действии, а совокупность их создает впечатление безграничной суммы модификаций. Аналогичные наблюдения можно сделать относительно лат. calidun (вин. п. от calidus «теплый»), сравнив его сперва непосредственно с тем, во что оно превратилось в современном французском языке (∫o, пишется chaud «теплый»), а затем восстановив все этапы: calidun, calidu, caldu, cald, calt, t∫alt, t∫aut, ∫aut, ∫ōt, ∫o. Ср. также нар.-лаг. \*waidanju → gε (Пишется gain) «выигрыш», minus → mwẽ (пишется moins) «меньше», hoc illī → wi (пишется οui) «да».

Действие фонетических изменений безгранично и неисчислимо еще и в том смысле, что оно захватывает любого рода знаки, не делая различий между прилагательным, существительным и т. д., между основой, суффиксом, окончанием и т. д. Так и должно быть, рассуждая а priori, ибо, если бы сюда вторгалась грамматика, фонетический факт сливался бы с синхроническим фактом — вещь совершенно невозможная. В этом-то и состоит «слепой» характер звуковых изменений.

Так, в греческом s отпало после n не только в \*khānses «гуси», \*mēnses «месяцы» (откуда chēnes, mēnes), где у него не было грамматической значимости, но и в глагольных формах типа \*etensa, \*ephansa и т. д. (откуда éteina, éphēna и т. д.), где оно характеризовало аорист. В средневерхненемецком языке послеударные гласные ĭ, ě, ă, ŏ слились в *е* (gibil → Giebel «конек крыши», meistar → Meister «мастер»), несмотря на то что различиями в качестве гласного характеризовались многие окончания; вследствие этого, например, формы винительного падежа ед. ч. boton «вестника», «гонца» и родительного — дательного падежа ед. ч. boten «вестнику», «гонцу» совпали в boten.

Если, таким образом, фонетические явления не встречают никакого ограничения, они должны вызывать глубочайшие потрясения в грамматическом организме в целом. К рассмотрению их под этим углом зрения мы теперь и перейдем.

***Глава III***

**Грамматические последствия фонетической эволюции**

**§ 1. Разрыв грамматической связи**

Первым последствием фонетического изменения является разрыв грамматической связи, соединяющей два или несколько слов. В результате этого получается, что одно слово не воспринимается уже как произведенное от другого, например:

лат. mansiō «жилище» — *\**mansiōnāucus

франц. maison «дом» || ménage «хозяйство».

Языковое сознание видело прежде в *\**mansiōnāucusслово, производное от mansiō*,* потом превратности фонетической судьбы развели их врозь. Другой пример:

(verv*ē*x — verv*ē*cārius)

нар.-лат. berbix «баран» — berbicārius «пастух»

франц. brebis «овца» || berger «пастух».

Такой разрыв связи, естественно, отзывается и на значимости: так, в некоторых французских говорах berger означает ныне «коровий пастух». Или еще пример:

лат. Grātiānopolis «Грацианополь»—grātianopolitānus «Грациа-нопольский [округ]»'

франц. Grenoble «Гренобль» || Grésivaudan «Грезиводан»

лат. decem «десять»—undecim «одиннадцать»

франц. *dix* «десять» || onze «одиннадцать».

Аналогичный случай представляет собой гот. bĩtan «кусать»—bitum «мы кусали»—bitr «кусающий», «горький»; вследствие перехода t→ts(z), с одной стороны, и сохранения группы согласных tr*, с* другой стороны, в западногерманском получилось: bĩzan, bizum || bitr .

Фонетическая эволюция может также разрывать нормальную связь между двумя формами одного и того же слова. Так, форма именительного падежа лат.сотяет «спутник»—винительного падежа comitem «спутника» дает в старофранцузском evens «граф» (прямой падеж) || соmte «графа» (косвенный падеж); ср. также нар.-лат. bаrō «свободнорожденный»—barōnem «свободнорождeннoгo» → cтapoфpaнц. ber «барон» || baron «барона», лат. presbiter «старейшина», «пресвитер» — вин. п. presbiterum «пресвитера» → старофранц. pzestre «священник» || provoire «священника».

В других случаях надвое расчленяется окончание. В индоевропейском языке винительный падеж ед. ч. во всех случаях характеризовался звуком -m\* например: \*ek1wom, \*owim, \*podm, \*mātern и т. д.

В латинском языке никаких существенных изменений в этом окончании не произошло; но в греческом языке очень разная трактовка носового сонанта и носового консонанта привела к двум различным рядам форм: hĩрроn «коня», ó(w)in «овцу»: póda «ногу», mātera«мать». Нечто вполне аналогичное представляет собой и форма винительного падежа мн. ч.: ср. hippous «коней», но podas «ноги».

**§ 2. Стирание сложного строения слов**

Другое грамматическое следствие фонетического изменения состоит в том, что отдельные значимые части слова теряют способность выделяться: слово становится неделимым целым. Примеры: франц. ennemi «враг» (ср. лат. in-rmĩcus «нéдруг» — amĩcus «друг»), лат. perdere «губить» (ср. более древнее *per-dare*—dare «давать»), amiciō «окутываю» (вместо *\**ambjaciō *—* jaciō «бросаю, кладу»), нем. Drittel «треть» (вместо drit-teil «третья часть» — teil «часть»).

Нетрудно заметить, что подобные случаи сводятся к тем, которые были рассмотрены в предыдущем параграфе; если, например, Drittel неразложимо, то это значит, что его более нельзя сближать, подобно drit-teil*, со* словом teil*.* Формула

teil — dritteil

Teil || Drittel

во всем подобна формуле

mansiō — mansiōnāticus

maison || ménage*.*

Ср. еще decem— undecim, но dix || onze*.*

Простые формы классической латыни hunc «этот» (форма винительного падежа от местоимения мужского рода «этот»), hanc «это» (форма винительного падежа от местоимения среднего рода «это»), hāc «здесь» и т. д., восходящие к засвидетельствованным в эпиграфических памятниках hon-ce, han-ce, hā-ce*,* сложились в результате агглютинации местоимения с частицей -се*;* прежде hon-ceи др. можно было сближать с ес-се*;* но впоследствии после фонетического отпадения -е это стало невозможно; таким образом, перестали различаться составные элементы, входящие в hunc, hane, hācи т. д.

Прежде чем сделать разложение на значимые элементы совершенно невозможным, фонетическая эволюция начинает с того, что делает его в большей или меньшей мере затрудненным. Примером этого является индоевропейское склонение.

В индоевропейском существительное \*pods склонялось следующим образом: им. п. ед. ч. \*pod-s*,* вин. п. ед. ч. \*pod-m*,* дат. п. ед. ч.

\*pod-ai, мест. п. ед. ч. \*pod-i,им. п. мн. ч. \*pod-es, вин. п. мн. ч.

\*pod-ns и т. д.; первоначально точно таким же образом склонялось и

\*ek1wo-s:им**.** п. ед. ч. \*ek1wo-s,вин. п**.** ед. ч. \*ek1wo-m, дат. п. ед. ч.

\*ek1wo-ai, мест. п. ед. ч. \*ek1wo-i, им. п. мн. ч. \*ek1wo-es*,* вин. п. мн. ч. \*ek1wo-ns и т. д. В ту эпоху основа \*ek1wo *-* выделялась столь же легко, как и \*pod-. Но впоследствии стяжения гласных внесли перемену в это положение, получилось: дат. п. ед. ч. \*ek1woi*,* места, п. ед. ч. \*ek1woi*,* им. п. мн. ч. \*ek1wōs*. С* этого момента основа \*ek1wo*-* потеряла свою прозрачность и разложение на основу и флексию стало затрудненным. В еще более позднюю эпоху дальнейшие изменения, как, например, дифференциация окончаний в винительном падеже, окончательно стерли последние черты прежнего состояния. Современникам Ксенофонта, вероятно, казалось, что основой является hipp*-* и что окончания начинаются на гласный *(*hipp-os и т. д.). Таким образом, типы \*ek1wo-s и \*pod-*s* окончательно разошлись. В области словоизменения, как и во всех прочих, все, затрудняющее разложение на значимые элементы, способствует ослаблению грамматической связи.

**§ 3. Фонетических дублетов не бывает**

В обоих случаях, рассмотренных в § 1 и 2, в результате эволюции в разные стороны расходятся элементы языка, первоначально грамматически связанные. Это явление может дать повод к грубейшей ошибке в интерпретации фактов.

Когда мы констатируем относительную тождественность нар.-лат. barō «свободнорожденный»: baronēm «свободнорожденного» и несходство старофранц. ber «барон»: baron «барона», то разве это не наводит нас на мысль, что одна и та же исходная единица bar*-* развилась в двух расходящихся направлениях и породила две формы? Между тем это неверно, потому что один элемент не может одновременно и в одном и том же месте подвергаться двум различным преобразованиям: это противоречило бы самому определению фонетического изменения. Эволюция звуков не способна сама по себе создать две формы вместо одной.

Против нашего тезиса можно выдвинуть ряд возражений. Допустим, что они подкреплены следующими примерами: нам могут сказать, что лат. collocāre «помещать», «класть» дало во французском coucher «положить» и colloquer «помещать». Но это верно лишь относительно coucher*,* colloquer является всего лишь книжным заимствованием из латинского (ср. франц. rancon«выкуп» и rédemption «искупление» и т. п.).

Но разве от лат. cathedra «кресло» не произошло два подлинно французских слова: chaire «кафедра»и chaise «стул»? Нет! В действительности chaise есть форма диалектная. В парижском говоре интервокальное r переходило в z: например, говорили pése, mése вместо рérе «отец», mére «мать»; во французском литературном сохранились лишь два образца этого местного произношения: chaise «стул» и bésides «очки» (дублет béricles восходит к béryl «берилл»). Этот случай можно сравнить со случаем недавнего перехода во французский литературный язык пикардийского слова rescapé «спасшийся», «избавившийся», оказавшегося, таким образом, противопоставленным réchappé*.* Если у нас есть такие пары слов, как cavalier «всадник» и chevalier «рыцарь», cavalcade «кавалькада» и chevauchée «поездка верхом», то это потому, что cavalier и cavalcade заимствованы из итальянского языка. В сущности, этот случай аналогичен лат. calidum(вин. п. от calidus «теплый»), которое дало во французском chaud*,* а в итальянском caldo*.* Во всех этих случаях мы имеем дело с заимствованиями.

Если нам укажут, что латинское местоимение mē «меня» представлено во французском двумя формами—*те* и *moi* (ср. il *me* volt«он видит меня» и с'est *moi* qu'il voit «он видит именно меня»), то мы ответим так: французское те восходит к безударному лат. mē*,* ударяемое лат. mēдало во французском moi*,* наличие же или отсутствие ударения зависит не от фонетических законов, превративших mē в me и moi*,* а от роли этого слова в предложении; таким образом, два способа существования (dualité) слова представляют собой явление грамматическое. Так и в немецком *\**ur*-:* под ударением осталось ur*-,* а в предударной позиции ur*-* превратилось в еr*-* (ср. Úrlaub «отпуск» и erláuben «позволять»); но ведь само место ударения связано с типами сочетаний, в которые входило ur*-, а* следовательно, с грамматической и тем самым с синхронической ситуацией. Наконец, возвращаясь к нашему первому примеру, заметим, что различия в форме и ударении, представляемые парой bárō*:* barōenem*,* несомненно, предшествуют фонетическому изменению.

Фактически нигде нельзя найти фонетических дублетов. Эволюция звуков только подчеркивает уже существовавшие до нее различия. Всюду, где эти различия не обязаны своим существованием внешним причинам, как это имеет место в отношении заимствований, они предполагают наличие грамматических и синхронических дублетов (dualités), абсолютно не совместимых с фонетическим изменением, как таковым.

**§ 4. Чередование**

По-видимому, в таких двух словах, как maison «дом» и ménage«хозяйство», нет смысла искать, что отличаетих друг от друга, отчасти вследствие того, что различительные элементы (-ezõ и -en-) дают мало материала для сопоставления, отчасти же вследствие отсутствия других слов с аналогичным противопоставлением. Но часто случается, что два близких слова различаются лишь одним или двумя элементами, выделяемыми без труда, и что то же самое различие регулярно повторяется в целом ряде аналогичных пар; в таком случае мы имеем дело с наиболее широким и наиболее обычным из тех грамматических явлений, в которых участвуют фонетические изменениям — это явление называется *чередованием* (altenance).

Всякое латинское ō в открытом слоге превратилось во французском в eu под ударением и в ou в предударной позиции; отсюда такие пары, pouvons «мы можем»: peuvent «они могут», douloureux «больной»: douleur «боль», nouveau «новый»: neuf «новый» и т. п., в которых можно без труда выделить элемент различия и регулярного варьирования. В латинском языке в связи с явлением ротацизма чередуются gerō «ношу»: gestus (причастие от gerō*),* oneris «бремени»: onus«бремя», maeror «печаль»: maestus «печальный» и т. д. Ввиду различной трактовки *s* в зависимости от места ударения в германских языках в средневерхненемецком мы имеем ferliesen «терять»: ferloren(прич. прош. вр. Отferliesen*),* kiesen «избирать»: gekoren (прич. прош. вр. от kiesen*),* friesen «мерзнуть»: gefroren (прич. прош. вр. friesen*)* и т. д. Падение и.-е. *е* отражается в современном немецком языке в виде противопоставлений beissen «кусать»: biss «кусал», leiden«страдать»: litt «страдал», reiten «ехать (верхом)»: ritt «ехал» и т. д.

Во всех этих случаях чередование затрагивает корневой элемент, однако само собой разумеется, что аналогичные противопоставления могут распространяться на все части слова. Нет более обычного явления, чем, например, изменение формы префикса в зависимости от свойств начального звука основы (ср. греч. apo-dídōmi«отдавать», «возвращать»: ap-érchomai «уходить», «возвращаться», франц. inconnu «неизвестный»: inutile «ненужный»). Индоевропейское чередование *е: о,* которое должно так или иначе иметь в конечном счете фонетические причины, встречается в большом числе суффиксальных элементов [греч. hippos «конь» (им. п. ед. ч.): hippe«конь» (зват. п. ед. *ч.),* phér-o-men «несем»: phér-e-te «несете», gén-os«род»: gén-e-os (вместо \*gén-es-os «рода») и т. д.]. В старофранцузском языке особо трактуется латинское ударяемое *а* после нёбных; отсюда чередование e:ie во многих окончаниях (ср. chant-er «петь»: jug-ier «судить, решать», chant-é «спетый» :jug-ié «присужденный, решенный», chant-ez «поете»: jug-iez «судите, решаете» и т. д.).

Итак, чередование может быть определено как *соответствие между двумя определенными звуками или сочетаниями звуков, подвергающимися регулярной пермутации по двум рядам сосуществующих форм.*

Ясно, что, подобно тому, как фонетическое изменение не объясняет само по себе дублетов, оно равным образом не является ни единственной, ни главнейшей причиной чередования. Когда говорят, что лат. nov*-* в результате фонетического изменения превратилось в neuv-и now*- (*neuve «новый» и nouveau «новый», «молодой»), то создают тем самым вымышленную единицу и пренебрегают наличием предшествующей синхронической двойственности; позиционное различие nov*-* в лат. nov-us «новый» и nov-ellus «новый», «молодой» предшествует фонетическому изменению и является исключительно грамматическим фактом (ср. barō: barōnem*).* Такая двойственность служит как источником любого чередования, так и необходимым для него условием. Фонетическое изменение не уничтожило прежней единицы, оно только сделало более наглядным противопоставление уже сосуществующих элементов, подчеркнув его расхождением звучания. Многие лингвисты до сих пор делают ошибку, полагая, что чередование есть явление фонетическое, основываясь на том, что материалом для него служат звуки, и что в его генезисе участвуют тоже изменения звуков. В действительности же чередование, как и в его исходной точке, так и в его окончательном виде, всегда принадлежит только грамматике и синхронии.

**§ 5. Законы чередования**

Можно ли свести чередования к определенным законам и какого рода эти законы?

Разберем столь часто встречающееся в современном немецком языке чередование е: i; при этом возьмем все случаи вперемешку, не упорядочивая их: geben «давать» : gibt «дает», Feld «поле»: Gefilde«нива». Wetter «погода» : wittern «чуять», helfen «помогать»: Hilfe «помощь», sehen «видеть»: Sicht «вид» и т. д.,—тут мы не можем сформулировать никакого общего принципа. Но если из этой массы извлечь пару geben*:* gibt и сопоставить ее с schelten «бранить»: schilt «бранит», helfen «помогать» : hilft «помогает», nehmen «брать» : nimmt «берет» и т. д., то окажется, что это чередование совпадает с различением времени, лица и т. д.; в lang «длинный» : Lānge «длина», stark «сильный»: Stārke«сила», hart «твердый»: Hārte «твёрдость» и т. д. подобное же противопоставление а: е связано с образованием существительных от прилагательных; в Hand «рука»: Hānde «руки», Gast «гость» : Gāste «гости» и т. д.— с образованием множественного числа, и так во всех столь многочисленных случаях, которые объединяются германистами под названием аблаута (ср. еще finden «находить»: *fand* «нашел» и finden «находить» : Fund «находка»; binden «связывать» : band «связал» и binden«связывать» : Bund «связка»; schiessen «стрелять» : schoss «стрелял»: Schuss«выстрел»*;* fliessen «течь»: floss «тёк»: Fluss «поток» и т. д.). Аблаут— иначе перегласовка гласных корня, совпадающая с грамматическим противопоставлением,—может служить прекрасным примером чередования; от явления чередования в целом он не отличается никакими особыми чертами.

Мы видим, что чередование обычно распределяется (est distibuée) между несколькими соотнесенными элементами языка регулярным образом и что оно совпадает с существенными противопоставлениями по линии функции, категории, детерминации. Благодаря этому можно говорить о грамматических законах чередования, но эти законы не более как случайный результат породивших их фонетических фактов. Эти последние создают регулярное звуковое противопоставление между двумя рядами противопоставленных по значимости языковых элементов; сознание ухватывается за это материальное различие с целью сделать его значимым и связать его с различением понятий. Как и все другие синхронические законы, грамматические законы чередования — это всего лишь отправные начала соотношений (principes de disposition), не имеющие обязательной силы. Таким образом, неправильно говорить, как это часто делают, будто а слова Nacht «ночь» изменяется в ā во множественном числе—Nāchte*, в* результате этого создается ложное представление, будто один элемент преобразуется в другой под давлением какого-то императивного начала. В действительности же мы имеем дело с простым противопоставлением форм, возникшим в результате фонетической эволюции. Совершенно верно, что аналогия, о которой будет сказано ниже, может способствовать созданию новых пар, представляющих такое же звуковое различие (ср. Kranz «венок»: Krānze «венки» по образцу Gast «гость»: Gāste «гости» и т. д.). Создается впечатление, будто закон применяется в качестве правила, достаточно императивного, чтобы изменить установившийся обычай. Но не надо забывать, что в языке все эти пермутации всегда могут подпасть под аналогические влияния, действующие в противоположном направлении. Этого достаточно, чтобы подчеркнуть всю непрочность подобного рода правил, вполне отвечающих тому определению, которое мы дали синхроническому закону.

Бывают случаи, когда фонетическое условие, вызвавшее чередование, очевидно. Так, у указанных и ел. пар в древневерхненемецком языке была следующая форма: geban «давать»: gibit «дает»,feld «поле»: gafildi «нива» и т. д. В ту эпоху, если за основой следовало i, она сама выступала с i вместо *е,* а во всех прочих случаях — с *е.* Латинское чередование faciō «делать»: conficiō «сделать», amīcus «друг» : inimīcus «недруг», facilis «легкий» : difficilis«нелегкий» и т. д. равным образом связано с фонетическим условием, которое говорящие выразили бы следующим образом: звук *а* в словах типа faciō*,* amīcus и т. д. чередуется с i в словах того же гнезда, где это *а* оказывается во внутреннем слоге.

Но эти звуковые противопоставления вызывают совершенно те же замечания, как и все вообще грамматические законы: они синхроничны; как только это забывают, рискуют впасть в уже указанную выше ошибку. Перед лицом такой пары, как faciō*:* conficiō*,* надо остерегаться смешения отношений между этими сосуществующими элементами с тем отношением, которое связывает последовательные во времени элементы факта диахронического: confaciō→coficiō*.* Если у нас имеется соблазн впасть здесь в ошибку, то это означает, что причина фонетической дифференциации в данной паре еще ощутима, однако действие ее принадлежит прошлому, а для говорящих здесь имеет место только обыкновенное синхроническое противопоставление.

Все вышесказанное подтверждает выдвинутое нами положение о строго грамматическом характере чередования. Для его наименования пользовались термином «пермутация»; термин вполне точный, но лучше его избегать именно потому, что его часто применяли к фонетическому изменению, а также потому, что он вызывает ложное представление о движении там, где есть только состояние.

**§ 6. Чередование и грамматическая связь**

Как мы уже видели, фонетическая эволюция, изменяя форму слов, приводит к разрыву соединяющих их грамматических связей. Но это верно лишь относительно таких изолированных пар, как maison«дом»: ménage «хозяйство», Teil «часть»: Drittel «треть» и т. д. С чередованием же дело обстоит совершенно иначе.

Прежде всего, ясно, что всякое хоть сколько-нибудь регулярное звуковое противопоставление двух элементов содействует установлению между ними связи. Wetter «погода» инстинктивно сближается с wittern «чуять», так как чередование е с i является вполне обычным. Когда же говорящие осознают, что данное звуковое противопоставление регулируется общим законом, оказывается еще больше оснований к тому, чтобы это привычное соответствие навязывалось их вниманию и тем самым способствовало закреплению, а отнюдь не ослаблению грамматической связи. Вот почему немецкий аблаут только подчеркивает восприятие единства основ через их варианты с разной огласовкой.

То же относится и к незначащим чередованиям, которые обусловлены лишь фонетически. Французский префикс re- (reprendre«снова брать», regagner «снова получать», retoucher «снова трогать» и т. д.) перед гласным сокращается в r-(rouvrir «снова открывать», «снова покупать» и т. д.), равным образом префикс in-, вполне живой, несмотря на свое книжное происхождение, в тех же условиях появляется в двух различных формах: *έ-* (в inconnu «неизвестный», indigne«недостойный», invertébré «беспозвоночный» и т. д.) и in*- (*inavouable«постыдный» = «непризнаваемый», inutile «бесполезный», inesthétique «неэстетичный» и т. д.). Такие различия нисколько не разрушают смыслового единства, так как смысл и функция воспринимаются как тождественные; а случаи употребления той или другой формы строго фиксированы в языке.

***Глава IV***

**Аналогия**

**§ 1. Определение аналогии и примеры**

Из всего вышесказанного следует, что фонетические изменения являются деструктивным фактором в жизни языка. Всюду, где они не создают чередований, они способствуют ослаблению грамматических связей, объединяющих между собою слова; в результате этого бесполезно увеличивается количество форм, механизм языка затемняется и усложняется в такой степени, что порожденные фонетическим изменением неправильности берут верх над формами, которые группируются по общим образцам,— иначе говоря, в такой степени, что абсолютная произвольность оттесняет на задний план относительную произвольность.

К счастью, действие этих изменений уравновешивается действием аналогии . Аналогией объясняются все нормальные модификации внешнего вида слов, не имеющие фонетического характера.

Аналогия предполагает образец и регулярное подражание ему. *Аналогическая форма —это форма, образованная по образцу одной или нескольких других форм согласно определенному правилу.*

Так, в латинском им. п. honor «честь» есть результат аналогии. Прежде говорили honōs «честь» (им. п.): honōsem «честь» (вин. п.), затем в результате ротацизма s — honōs: honōrem*.* Основа получила, таким образом, двоякую форму; эта ее двойственность была устранена появлением новой формы honor*,* созданной по образцу ōrātor «оратор»: ōrāt**ō**rem «оратора» и т. д. посредством приема, который мы проанализируем ниже, а сейчас сведем к формуле вычисления четвертого члена в пропорции

ōrātōrem: ōrātor = honōrem: x

x = honor

Итак, мы видим, что, уравновешивая действие фонетического изменения, приводящего к расхождению (honōs : honōrem)*,* аналогия снова воссоединила формы и восстановила регулярность (honor : honōrem).

По-французски долгое время говорили il preuve «он доказывает», nous prouvons «мы доказываем», ils preuvent «они доказывают». Теперь же говорят il prouve, ils prouvent*,* то есть употребляют формы, фонетически необъяснимые; il aime «он любит» восходит к лат. amat*,* тогда как nous aimons «мы любим» представляет собой аналогическое образование вместо amons*;* следовало бы также говорить amable вместо aimable «любезный». В греческом s исчезло между двумя гласными: *-*eso*-* превратилось в *-*ео-(ср. géneos «рода» вместо *\**genesos*).* Между тем это интервокальное *s* встречается в будущем времени и аористе всех глаголов на гласный: буд. вр. lūso*,* aop. élūsa (от lúō «развязывать») и т. д. Аналогия с формами типа буд. вр. túptō*,* aop. étupsa(от tuúptō «бить»), где s не выпадало, сохранила s в форме будущего времени и аористе указанных глаголов. В немецком языке в таких случаях, как Gast «гость»: Gäste «гости», Balg «шкура»: Bälge «шкуры» и т. д., мы имеем фонетические явления, тогда как случаи Kranz «венок»: Kränze «венки» (прежде kranz*:* kranza*),* Hals «шея»: Hälse «шеи» (прежде halsa*)* и т. д. своим происхождением обязаны подражанию.

Аналогия действует в направлении большей регулярности и стремится унифицировать способы словообразования и словоизменения. Но у нее есть и свои капризы: наряду с Kranz «венок»: Kränze«венки» и т. д. мы имеем Tag «день »: Tage «дни», Salz «соль»: Salze«соли» и т. д., по той или иной причине устоявшие против действия аналогии. Таким образом, нельзя наперед сказать, до какого предела распространится подражание образцу и каковы те типы, по которым будут равняться другие. Так, далеко не всегда образцом для подражания при аналогии служат наиболее многочисленные формы. В греческом перфекте наряду с действительным залогом pépheuga «я убежал*»,* pépheugas «ты убежал», pépheugamen «мы убежали» и т. д. весь средний залог спрягается без *a:* péphugmai «я убежал», pephúgmetha«мы убежали» и т. д., и гомеровский язык показывает нам, что это *а* первоначально отсутствовало во множественном и двойственном числах действительного залога: ср. ídmen «мы знаем», éíkton «мы (двое) похожи» и т. д. Исходной точкой для распространения аналогии явилась, таким образом, исключительно форма первого лица единственного числа действительного залога, которая и подчинила себе почти всю парадигму перфекта изъявительного наклонения. Этот случай примечателен еще в том отношении, что здесь в силу аналогии к основе отходит элемент -а-, первоначально бывший элементом словоизменительным, откуда pepheúga-men; как мы увидим ниже, обратный случай—отход элемента основы к суффиксу — встречается гораздо чаще.

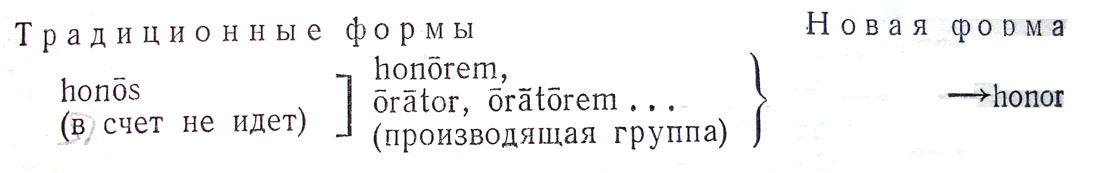
Иногда бывает достаточно двух или трех изолированных слов, чтобы образовать общую форму, например окончание; в древневерхненемецком языке слабые глаголы типа habēn «иметь», lobōn «хвалить» и т. д. в первом лице единственного числа настоящего времени имеют -m: habēm, lobōm*.* Это -m восходит к нескольким глаголам, аналогичным греческим глаголам на -mi: bim «я есмь», stām «стою», gēm «иду», tuom «делаю», под влиянием которых это окончание охватило все слабое спряжение. Заметим, что в данном случае аналогия не устранила фонетического разнообразия, а просто обобщила способ образования.

**§ 2. Явления аналогии не являются изменениями**

Первые лингвисты не поняли природы образования по аналогии и называли ее «ложной аналогией». Они полагали, что, вводя форму honor «честь» вместо honōs*,* латинский язык «ошибся». Всякое отклонение от данного порядка представлялось им неправильностью, нарушением некой идеальной формы. Отдавая дань весьма характерной для их эпохи иллюзии, они рассматривали начальное состояние языка как нечто высшее и совершенное и даже не задавались вопросом, не предшествовало ли этому состоянию какое-нибудь более древнее. С этой точки зрения всякое нарушение прежнего порядка представлялось аномалией. Истинную роль аналогии впервые обнаружили младограмматики, которые показали, что она является наряду с фонетическими изменениями могучим фактором эволюции языков, переходящих благодаря ей от одного строя (état d’organisation) к другому.

Но какова же природа аналогии? Является ли она, как это обычно думают, изменением?

Каждый факт аналогии — это событие, в котором участвуют три действующих лица: 1) традиционный законный, наследственный тип (например, honōs); 2) конкурент (honor); 3) коллективный персонаж, образованный теми формами, которые создали этого конкурента (honōrem, ōrātor, ōrātōrem и т. д.). В этих условиях проявляется тенденция рассматривать honor как модификацию, как «метаплазму» honōs*,* из которой оно будто бы извлекло наибольшую часть своей субстанции. Между тем единственная форма, не участвующая в производстве honor*,—*это именно honōs! Все это можно изобразить в виде следующей схемы:



Как видим, все сводится к «параплазме», к узаконению конкурента наряду с традиционной формой—одним словом, к новообразованию. В то время как фонетическое изменение не вводит ничего нового, не аннулировав вместе с тем предыдущего состояния *(*honōsem заменяется формой honōrem*),* образование по аналогии не связано с обязательным исчезновением прежней, дублируемой формы. Honor и honōsсосуществовали в течение некоторого промежутка времени и могли заменять одно другое. Но поскольку языку несвойственно сохранять два означающих для одного понятия, обычно первоначальная форма, как менее регулярная, сперва начинает употребляться реже, а затем и вовсе исчезает. Вот этот результат и создает впечатление преобразования. Едва только возникает образование по аналогии, как начинает казаться, что прежнее состояние (honōs: honōrem) и новое состояние (honor: hon**ō**rem) образуют такое противоположение, какое могло возникнуть вследствие фонетической эволюции. Между тем в момент возникновения honor ничего еще не изменилось, так как эта форма ничего не замещает; исчезновение honōs тоже не есть изменение, поскольку это явление не зависит от первого. Всюду, где можно проследить ход языковых событий, мы замечаем, что образование по аналогии и исчезновение прежней формы суть два независимых явления и что ни о каком преобразовании здесь нет и речи.

Аналогия, таким образом, вовсе не характеризуется заменой одной формы другой формой; это находит себе подтверждение, между прочим, и в том, что сплошь и рядом новая форма вообще ничего не замещает. В немецком языке от любого существительного с конкретным значением можно образовать уменьшительное имя на -chen;если бы в немецком языке появилась форма Elefantchen «слоненок» (от Elefant «слон»), она не заменила бы ничего существовавшего раньше. Так и во французском языке по образцу pension «пенсия»: pensionnaire «пенсионер», réaction «реакция»: réactionnaire «реакционер» и т. д. можно образовать такие слова, как interventionnaire «сторонник интервенции», répressionnaire «сторонник репрессий». Совершенно очевидно, что тут мы имеем процесс, подобный процессу возникновения honor; оба они сводятся к формуле

réaction: réactionnaire = répression: x

x = répressionnaire,

и ни в том ни в другом случае нет ни малейшего повода говорить об изменении: répressionnaire ничего не замещает. Другой пример: с одной стороны, встречается аналогическое образование finaux «конечные» вместо finals, и эта форма считается более правильной; с другой стороны, может случиться, что кто-нибудь образует от существительного firmament «небесная твердь» прилагательное firmamental*,* а от него—форму множественного числа firmamentaux*.* Можем ли мы сказать тогда, что в случае finauxмы имеем дело с изменением, а в случае firmamentaux*—*с новообразованием? В действительности в обоих случаях имеет место новообразование. По образцу mur «стена» : emmurer «обносить стеной» образовано tour «окружность»: entourer «обводить», «окружать», jour «ажурная вышивка» : ajourer«делать ажурным» (ср. un travail *ajouré* «ажурная работа»); эти образования, сравнительно недавние, представляются нам созданными заново. Но если удастся открыть, что в предшествующую эпоху существовали глаголы entomer и ajorner*,* образованные от существительных *torn vijorn,* то, спрашивается, придется ли нам изменить мнение и заявить, что entourer и ajourer являются лишь модификациями этих более старых слов? Итак, представление об аналогическом «изменении» появляется в результате установления связи между вытесненным элементом и новым; но это представление ошибочно, ибо образования, квалифицируемые как изменения (тип honor*),* по своей природе одинаковы с теми, которые мы называем новообразованиями (тип répressionnaire*).*

**§ 3. Аналогия как принцип новообразований в языке**

Выяснив, чем не является аналогия, и переходя к изучению ее с положительной точки зрения, мы сразу же замечаем, что принцип аналогии попросту совпадает с принципом языковых новообразований вообще. В чем же он заключается?

Аналогия есть явление психологического характера; но этого положения еще недостаточно, чтобы отличить ее от фонетических изменений, так как эти последние также могут рассматриваться как психологические. Надо пойти дальше и сказать, что аналогия есть явление грамматического порядка: она предполагает осознание и понимание отношения, связывающего формы между собой. Если в фонетическом изменении мысль не участвует, то участие ее в создании чего-либо по аналогии необходимо.

В фонетическом переходе интервокального s в r в латинском языке (ср. honōsem → honōrem) не принимает участия ни сравнение с иными формами, ни смысл слов; можно сказать, что в honōrem переходит только труп формы honōsem*.* Напротив, чтобы объяснить появление honor наряду с honōs*,* надо обратиться к другим формам, как это явствует из нижеследующей формулы четвертого члена в пропорции:

ōrātōrem: ōrātor = honōrem:x

x = honor

Эта пропорция не была бы возможна, если бы входящие в ее состав формы не ассоциировались по смыслу.

Итак, в явлении аналогии все грамматично. Однако прибавим тут же, что новообразование, которое является завершением аналогии, первоначально принадлежит исключительно сфере речи; оно — случайное творчество отдельного лица. Именно в этой сфере и вне языка следует искать зарождение данного явления. Однако при этом следует различать: 1) понимание отношения, связывающего между собою производящие формы, 2) подсказываемый сравнением результат, то есть форму, импровизируемую говорящим для выражения своей мысли. Только этот результат относится к области речи.

Итак, на примере аналогии мы лишний раз убедились, насколько необходимо различать язык и речь; аналогия показывает нам зависимость речи от языка и позволяет проникнуть в самую суть работы языкового механизма, как она нами описана выше. Всякому новообразованию должно предшествовать бессознательное сравнение данных, хранящихся в сокровищнице языка, где производящие формы упорядочены, согласно своим синтагматическим и ассоциативным отношениям.

Таким образом, значительная часть процесса образования по аналогии протекает еще до того, как появляется новая форма. Непрерывная деятельность языка, заключающаяся в разложении наличных в нем элементов на единицы, содержит в себе не только все предпосылки для нормального функционирования речи, но также и все возможности аналогических образований. Поэтому ошибочно думать, что процесс словотворчества приурочен точно к моменту возникновения новообразования; элементы нового слова были даны уже раньше. Импровизируемое мною слово, например in-décor-able «такой, которого невозможно украсить», уже существует потенциально в языке: все его элементы встречаются в таких синтагмах, как décor-er «украшать», décor-ation «украшение», «декорация»; pardonn-аblе «простительный», mani-able «такой, с которым удобно работать», «гибкий»; in-connu «неизвестный», *in-sense* «безрассудный» и т. д., а его реализация в речи есть факт незначительный по сравнению с самой возможностью его образования.

Резюмируя, мы приходим к выводу, что аналогия сама по себе есть лишь один из аспектов явления интерпретации, лишь частное проявление той общей деятельности, содержание которой состоит в обеспечении различения языковых единиц, чтобы затем их можно было использовать в речи. Вот почему мы утверждаем, что аналогия - явление целиком грамматическое и синхроническое.

Такая характеристика аналогии приводит нас к двум следующим замечаниям, подкрепляющим, на наш взгляд, произвольность абсолютную и произвольность относительную:

1. Все слова можно расклассифицировать в зависимости от их способности производить новые слова, что связано с их большей или меньшей разложимостью. Простые слова по основному своему свойству непродуктивны (ср. magasin «кладовая», arbre «дерево», racine «корень» и т. д.): magasinier «кладовщик» не произведено от magasin*;* оно образовано по образцу prison «тюрьма»: prisonnier«заключенный (в тюрьму)» и т. д. Точно так же emmagasiner «помещать на склад» обязано своим существованием аналогии с emmaillotter «пеленать», encadrer «вставлять в раму», encapuchonner «надевал» капюшон» и т. д., заключающим в себе maillot «пеленка», cadre «рамка», capuchon «капюшон» и т. д.

Таким образом, в каждом языке есть слова продуктивные и слова «бесплодные»; пропорция между теми и другими бывает разная. В общем это сводится к различению, проведенному нами между языками «лексическими» и «грамматическими». В китайском языке слова в большинстве случаев неразложимы; наоборот, в искусственном языке они почти все подвергаются анализу. Любой эсперантист волен создавать новые слова на основе данного корня.

2. Мы уже указывали, что всякое новообразование по аналогии может быть представлено в виде операции, сходной с вычислением четвертой величины в пропорции. Весьма часто этой формулой пользуются для объяснения самого явления аналогии; мы же старались объяснить аналогию возможностями разложения единиц на значимые элементы и использования этих имеющихся в языке готовых элементов.

Обе названные концепции противоречат одна другой. Если применение формулы пропорции является достаточным объяснением, к чему тогда гипотеза о разложимости единиц? Чтобы образовать такое слово, как indécorable*,* нет никакой необходимости извлекать соответствующие элементы: in-décor-able; совершенно достаточно взять его в целом и поместить в уравнение:

pardonner: impardonnable и т. д. = décorer: x

x = indécorable

При таком объяснении у говорящего не предполагается наличия сложной умственной операции, чересчур напоминающей сознательный анализ грамматиста. В таком случае, как Kranz «венок»: Kränze «венки» по образцу Gast «гость»: Gäste «гости», разложение на элементы как будто менее вероятно, чем решение пропорции, так как в образце основой является то Gast*-,* то Gäst*-,* и может показаться, что звуковое свойство Gästeбыло просто перенесено на Kranz*.*

Какая же из этих теорий соответствует действительности? Заметим прежде всего, что в случае с Kranz нет необходимости исключать возможность анализа. Мы ведь констатировали наличие чередований и в корнях и в префиксах, а ощущение чередования может отлично уживаться с разложением на значимые элементы.

Эти две противоположные концепции отображаются в двух различных грамматических доктринах. Наши европейские грамматики оперируют пропорциями; так, они объясняют образование немецкого прошедшего времени, исходя из целых слов; ученику говорят: по образцу setzen «поставить» : setzte «поставил» образуй прошедшее время от lachen «смеяться» и т. д. А вот если бы немецкую грамматику стал излагать древнеиндийский ученый, он коснулся бы в одной главе корней (setz-, lach-), в другой — окончаний прошедшего времени (-te и т. д.), таким образом были бы даны полученные путем анализа элементы, при помощи которых предстояло бы синтезировать целые слова. Во всех санскритских словарях глаголы располагаются в порядке, определяемом их корнями.

В зависимости от основных свойств данного языка грамматисты склоняются либо к одному, либо к другому из этих двух методов.

Древнелатинский язык, по-видимому, благоприятствовал аналитическому методу. Нижеследующее явление может служить этому блестящим доказательством. В словах făctus «искусно обработанный» и āctus «движение» количество первого гласного неодинаково, хотя и в făciō «делаю» и в ăgō «двигаю» *а* является кратким; следует предположить, что āctus восходит к \*ăgtos*,* и объяснять удлинение гласного следующим за ним звонким согласным; эта гипотеза полностью подтверждается романскими языками; противопоставление spěciō «смотрю»: spěctus (прич. прош. вр. от spěciō) наряду с těgō«крою» : tēctus «крытый» отражается во французском языке в depit«досада» (=despěctus) и toil «кровля» (=tēctum), ср. confíciō «совершаю» : confěctus «совершенный» (франц. confit «вареный [в сахаре]») наряду с rěgō «правлю» : rēctus «прямой», «правильный» (dirēctus«прямой» → франц. droit «прямой»). Но \*agtos, \*tegtos, \*regtos не унаследованы латинским языком из индоевропейского, в котором, несомненно, было \*ăktos, \*těktos и т. д.,— они появились в доисторической латыни, несмотря на трудность произносить звонкий перед глухим. Из этого явствует, что в древнейшей латыни ясно осознавались коренные единицы ag-, teg-. Следовательно, латинский язык сильно способствовал осознанию частей слова (основ, суффиксов и т. д.) и их взаимодействия. В наших современных языках это чувство развито у говорящих, вероятно, в меньшей степени, но у немцев оно все же острее, чем у французов.

***Глава V***

**Аналогия и эволюция**

**§ 1. Каким образом новообразование по аналогии**

**становится фактом языка?**

Все, что входит в язык, заранее испытывается в речи: это значит, что все явления эволюции коренятся в сфере деятельности индивида. Этот принцип, уже высказанный нами выше, особенно применим к новообразованиям по аналогии. Прежде чем honor стало опасным конкурентом honōs*,* способным вытеснить это honōs*,* оно было просто сымпровизировано одним из говорящих, примеру которого последовали другие, так что в конце концов эта новая форма сделалась общепринятой.

Отсюда вовсе не вытекает, что такая удача выпадает на долю всех новообразований по аналогии. На каждом шагу мы встречаемся с недолговечными новыми комбинациями, которые не принимаются языком. Ими изобилует детская речь, так как дети еще недостаточно освоились с обычаем и не порабощеныим окончательно: они говорят viendre вместо venir «приходить», mouru вместо mort «мертвый», «умерший» и т. д. Но примеры этого рода можно найти и в языке взрослых. Так, многие вместо trayait (прошедшее несовершенное от traire «доить») говорят traisait (встречается, между прочим, у Руссо). Все эти новообразования вполне правильны; они объясняются совершенно так же, как и те, которые приняты языком; так, viendre основано на пропорции

éteindrai: éteindre = viendrai:x

x= viendre,

a traisait образовано по образцу plaire:plaisait и т.д.

В языке удерживается лишь незначительная часть новообразований, возникших в речи; но те, какие остаются, все же достаточно многочисленны, чтобы с течением времени в своей совокупности придать словарю и грамматике совершенно иной облик.

В предыдущей главе мы ясно показали, что аналогия не может быть сама по себе фактором эволюции; это нисколько не противоречит тому, что вызываемая аналогией непрестанная замена одних форм другими представляет собой одно из наиболее бросающихся в глаза явлений в переживаемых языками преобразованиях. Каждый раз, как закрепляется какое-либо новообразование, вытесняя предшествовавший ему элемент, создается нечто новое, а нечто старое отбрасывается — вот на этом основании аналогия и занимает преобладающее положение в теории языковой эволюции. На этом мы считаем нужным особенно настаивать.

**§ 2. Образования по аналогии –**

**симптомы изменений интерпретации**

Язык непрестанно интерпретирует и разлагает на составные части существующие в нем единицы. Чем же можно объяснить, что истолкование этих единиц непрерывно меняется от одного поколения к другому?

Причину этого следует искать в огромном множестве факторов, непрерывно влияющих на тот способ анализа, который принят при данном состоянии языка. Напомним некоторые из этих факторов.

Первым и наиболее важным является фонетическое изменение. Поскольку благодаря ему некоторые способы анализа становятся двусмысленными, а другие — невозможными, постольку изменяются условия разложения на составные части, а вместе с тем и его результаты; отсюда—перемещение границ внутри отдельных единиц и видоизменение их характера. Ранее было сказано об этом по поводу таких сложных слов, как beta-hûs и redo-lîch, и по поводу индоевропейского склонения.

Но не все сводится к фонетическому фактору. Есть еще агглютинация, о которой речь будет ниже; в результате агглютинации из сочетания отдельных элементов возникает единое целое. Затем следует упомянуть о всевозможных обстоятельствах, внешних по отношению к слову, но способных изменить его анализ. В самом деле, поскольку разложение на составные части является результатом целого ряда сопоставлений, постольку совершенно ясно, что в каждый данный момент оно зависит от ассоциативных связей данного слова. Так, превосходная степень и.-е. \*sw**ā**d-is-to-s заключала в себе два независимых друг от друга суффикса: -is- *—* показатель идеи сравнения (ср. лат. mag-is «более») и -to-, обозначавший определенное местонахождение предмета в ряду других предметов (ср. греч. tri-to-s «третий»). Эти два суффикса подверглись агглютинации (ср. греч. hēd-isto-s или, вернее, hēd-ist-os «самый приятный»). Но этой агглютинации в свою очередь чрезвычайно благоприятствовало обстоятельство, чуждое самой превосходной степени: формы сравнительной степени на -is- вышли из употребления, будучи вытеснены образованиями на -jōs-; -is-*,* переставшее осознаваться самостоятельным элементом, не стало более выделяться внутри -isto-.

Заметим мимоходом, что обнаруживается общая тенденция сокращать основу в пользу форманта, в особенности в тех случаях, когда основа оканчивается на гласный. Так, в латинском суффикс -tāt- (vēri-tāt-em «правду» вместо \*vēro-itāt-em, ср. греч. deinó-tēt-a «силу») притянул к себе i основы, так что слово vēri-itāt-em стало анализироваться как vēr-itāt-em; равным образом Rōmā-nus «римский», Albā-nus«албанский» (ср. aēnus «медный» вместо \*aes-no-s) превратилось в Rōm-ānus, Alb-ānus.

Какова бы ни была причина изменений в интерпретации, эти изменения всегда обнаруживают себя в появлении аналогических форм. В самом деле, не только живые единицы, ощущаемые говорящим в каждый данный момент, могут порождать образования по аналогии; верно и то, что всякое определенное распределение единиц допускает возможность расширения их употребления. Аналогия может, таким образом, служить несомненным доказательством того, что данный формативный элемент в данный момент существует как значимая единица. Merīdiōnālis «полуденный» у Лактанция вместо merīdiālis показывает, что в то время римляне делили septentri-ōnālis «северный», regi-ōnālis «областной», а для того чтобы показать, что к суффиксу -tāt*-* отошел элемент i, заимствованный у основы, достаточно сослаться на сеler-itātem «быстроту»; pāg-ānus «сельский» от pāg-us «село» ясно показывает, каким образом римляне анализировали Rōm-ānus; анализ немецкого redlich «честный» подтверждается существованием sterblich «смертный», образованного от глагольного корня.

Нижеследующий, исключительно любопытный пример показывает, как с течением времени в аналогические сопоставления вовлекаются все новые единицы. В современном французском языке слово somnolent «сонливый» разлагается на somnol- и -ent, как если бы это было причастие настоящего времени; доказательством этому служит наличие глагола somnoler «дремать». Однако в латинском sonmolentus делили на somno- и -lentus по образцу succu-lentus «сочный» и т.д., а еще раньше - на somn- и -olentus «пахнущий сном» (от olēre «пахнуть») по образцу vīn-olentus «пахнувший вином».

Таким образом, наиболее ощутимым и наиболее важным действием аналогии является замена старых форм, нерегулярных и обветшалых, новыми, более правильными формами, составленными из живых элементов.

Разумеется, не всегда дело обстоит так просто: функционирование языка пронизано бесчисленным множеством колебаний, приблизительных и неполных разложений. Никогда никакой язык не обладал вполне фиксированной системой единиц. Вспомним, что было сказано о склонении \*ek1wos сравнительно со склонением \*pods. Эти приблизительные (imparfaites) разложения приводят иногда к нечетким аналогическим образованиям. Индоевропейские формы \*geus-etai, \*gus-tos, \*gus-tis позволяют выделить корень geus-: gus- «вкушать»; но в греческом интервокальное *s* исчезает, и тем самым разложение форм geúomai, geustós осложняется; в результате возникает колебание: выделяется не то geus-*,* не то geu-*, в* свою очередь и образования по аналогии начинают подпадать под воздействие этого колебания, и мы видим, как основы на eu- принимают это конечное s: например, pneu-,pneûma «дыхание», от глаг. прилагательное pneus-tós.

Но даже и при этих колебаниях аналогия оказывает свое влияние на язык. Не являясь сама по себе фактом эволюции, она тем не менее в каждый момент отражает изменения, происходящие в системе языка, и закрепляет их новыми комбинациями старых элементов . Она принимает активное участие в деятельности всех тех сил, которые беспрерывно видоизменяют внутреннее строение языка. В этом смысле она может считаться мощным фактором эволюции.

**§ 3. Аналогия как обновляющее и одновременно консервативное начало**

Может возникнуть сомнение, действительно ли так велико значение аналогии, как это, казалось бы, следует из предшествующего изложения, и действительно ли она охватывает область, столь же обширную, как и область фонетических изменений. Фактически история каждого языка обнаруживает бесчисленное множество громоздящихся друг на друга аналогических фактов, и, взятые в целом, эти непрекращающиеся перестройки играют в эволюции языка значительную роль, более значительную, чем изменения звуков.

Но наибольший интерес для лингвиста представляет следующее: в великом множестве изменений по аналогии, охватывающих целые столетия развития, почти все старые элементы сохраняются и только иначе распределяются. Порождаемые аналогией инновации носят скорее кажущийся, нежели реальный характер. Язык напоминает одежду, покрытую заплатами, которые сделаны из материала, отрезанного от этой одежды. Если иметь в виду субстанцию французской речи, то можно сказать, что французский язык на 4/5 восходит к индоевропейскому; однако все слова, дошедшие до современного французского языка из праязыка в чистом виде, без изменений по аналогии, могут уместиться на одной странице (например, est = \*esti,имена числительные и еще несколько слов, как-то: ours «медведь», nez «нос», pére «отец», chien «собака» и т. д.). Огромное же большинство французских слов представляет собой того или другого рода новые сочетания звуковых элементов, извлеченных из более старых форм. В этом смысле можно сказать, что аналогия — именно потому, что она для своих инноваций пользуется исключительно старым материалом,—является определенно консервативным началом.

И действительно, аналогия во многих случаях работает и как чисто консервативный фактор; можно сказать, что она действует не только там, где имеет место распределение существовавшего ранее материала по новым единицам, но и там, где имеет место сохранение в неприкосновенности прежних форм. В обоих случаях дело идет об одинаковом психологическом процессе. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, что принцип аналогии по существу совпадает с принципом, лежащим в основе механизма речевой деятельности.

Лат. agunt «двигают» сохранилось почти в полной неприкосновенности с доисторической эпохи, когда говорили \*agonti, до самой римской эпохи. В течение всего этого долгого периода сменявшиеся поколения пользовались этим словом, и никакие конкурирующие формы не смогли его вытеснить. Но разве аналогия ни при чем в этом сохранении прежнего слова? Своей устойчивостью agunt обязано действию аналогии не в меньшей степени, чем любая инновация. Agunt включено в рамки системы; оно связано с такими формами, как dīcunt «говорят», legunt «читают» и т. д., и с такими, как agimus «двигаем», agitis «двигаете» и т. д. Не будь этих связей, оно легко могло бы оказаться вытесненным какой-либо формой, составленной из новых элементов. Пережило века не agunt*,* но ag-unt; форма не изменилась потому, что ag- и -unt находили регулярные соответствия в других рядах: вот этот сопутствующий ряд ассоциируемых с agunt форм и сохранил его в неприкосновенности во время его многовекового пути. Ср. еще sex-tus «шестой», также опирающееся на компактные ряды: с одной стороны, sex «шесть», sex-āginta «шестьдесят» и т. д., с другой стороны, quar-tus «четвертый», quin-tus «пятый» и т. д.

Таким образом, формы сохраняются потому, что они непрерывно возобновляются по аналогии; слово одновременно осознается и как единица, и как синтагма и сохраняется постольку, поскольку входящие в его состав элементы не изменяются. И наоборот; угроза его существованию появляется лишь тогда, когда составляющие его элементы выходят из употребления. Обратим внимание на то, что происходит с французскими формами dites «говорите» и faites «делаете», соответствующими непосредственно лат. dic-itis, fac-itis, но не имеющими больше опоры в современном спряжении; язык стремится их вытеснить; начинают говорить disez, faisez - по образцу plaisez«нравитесь», lisez «читаете» и т. д., и эти новые формы уже стали общеупотребительными в большинстве производных глаголов (contredisez «противоречите» и т. д.).

Единственные формы, на которые аналогия вовсе не может распространиться,—это, разумеется, такие изолированные слова, как собственные имена, в частности географические названия (ср. Paris, Genève, Agen и др.), которые не допускают никакого осмысленного разложения и, следовательно, никакой интерпретации составляющих их элементов; конкурирующих новообразований рядом с ними не возникает.

Таким образом, сохранение данной формы может объясняться двумя прямо противоположными причинами: полнейшей изоляцией или же принадлежностью к определенной системе, неприкосновенной в своих основных частях и постоянно приходящей ей на помощь. Преобразующее действие аналогии может развиваться наиболее успешно в той промежуточной области, которая охватывает формы, не имеющие достаточной опоры в своих ассоциативных связях.

Но идет ли речь о сохранении формы, составленнойиз нескольких элементов, или о перераспределении языкового материала по новым конструкциям, роль аналогии безмерно велика, ее воздействие сказывается повсюду,

***Глава VI***

**Народная этимология**

Нам иногда случается коверкать слова, форма и смысл которых нам малознакомы; бывает, что обычай впоследствии узаконивает такого рода деформации слов. Так, старофранц. coute-pointe «стеганое одеяло» (от coute*,* вариант couette «покрышка», и pointe*—*причастие прош. вр. от poindre «стегать») было изменено в courte-pointe*,* как будто это было составное слово из прилагательного court «короткий» и существительного pointe «кончик». Такие инновации, как бы они ни были нелепы, не возникают совершенно случайно; в них обнаруживаются попытки приблизительного объяснения малопонятного слова путем сопоставления его с чем-либо хорошо знакомым. ,

Этому явлению дано название народной этимологии. На первый взгляд оно не очень отличается от явления аналогии. Когда говорящий по-французски, забывая о существовании слова surdité «глухота», образует по аналогии sourdité*,* результат получается тот же, как если бы он, плохо понимая surdité, деформировал это слово под впечатлением прилагательного sourd «глухой»; единственное различие, казалось бы, сводится к тому, что образования по аналогии рациональны, а народная этимология действует несколько на авось и приводит к несуразице, к чепухе.

Однако это различие, относящееся лишь к результатам, не главное. Есть другое, более глубокое различие по существу; чтобы показать, в чем оно состоит, приведем несколько примеров главнейших типов народной этимологии.

Разберем случаи, когда слово получает новое истолкование, не меняя своей внешней формы. Нем. durchbläuen «поколотить» этимологически восходит к bliuwan «бичевать»; но теперь его связывают с blau «синий» вследствие синяков, производимых ударами. В средние века немецкий язык заимствовал из французского слово *aventure* «приключение», которое в немецком приняло форму ābentüre*,* затем Abenteuer*;* не деформируя слóва, его стали связывать с Abend «вечер» («то, что рассказывают по вечерам»), и вплоть до XVIII в. его даже писали Abendteuer*.* От старофранцузского soufraite «лишение» (лат. suffracta от subfrangere «надламывать») произошло прилагательное souffreteux «немощный», «хворый»; его теперь связывают с глаголом souffrir «страдать», с которым у него, однако, нет ничего общего. Lais «отказ по завещанию» (отглагольное существительное от laisser «оставлять») ныне рассматривается как производное от léguer «завещать», и его пишут legs; некоторые даже произносят leg-s, что может создать впечатление, будто здесь произошло изменение формы в результате изменения интерпретации; но это произношение объясняется только влиянием письменной формы, при помощи которой хотели отметить, не меняя произношения, происхождение этого слова. Аналогичным образом французское слово homard «омар», заимствованное из древнескандинавского humarr (ср. датск. hummer), приняло на конце d по аналогии с французскими словами на -ard; только в данном случае интерпретационная ошибка, обнаруживаемая орфографией, касается конца слова, принятого за хорошо знакомый суффикс (ср. bavard «болтливый» и др.) .

Однако в большинстве случаев слово искажают с целью приспособить его к будто бы заключенным в нем элементам. Так обстоит дело с франц. choucroute «кислая капуста» (от нем. Sauerkraut);лат. dromedārius «двугорбый верблюд» превратилось в немецком в Trampeltier «топчущееся животное»; сложное слово является новым, но составлено оно из уже существовавших элементов trampelnи Tier*.* Древневерхненемецкий язык из лат. margarīta «жемчужина» сделал mari-greoz «морской камешек» путем комбинации двух уже существующих слов .

А вот еще один, особо поучительный случай: лат. *carbunculus* «уголек» дало в немецком Karfunkel по ассоциации c fankeln «сверкать», а во французском - escarboucle*,* связываемое с boucle «локон». Calfeter*,* calfetrer «конопатить» превратилось в calfeutrer под влиянием feutre «войлок». Во всех этих примерах на первый взгляд более всего поражает то, что каждый из них заключает наряду с понятным элементом, наличествующим в других словах, другую часть, ничему старому не соответствующую: kar-, escar-, cal-. Но было бы ошибочным думать, что в этих элементах есть нечто, созданное заново, нечто возникшее в связи с данным явлением; в действительности налицо совершенно обратное: это просто-напросто отрезки, оставшиеся неинтерпретированными, это, если угодно, народные этимологии, застрявшие на полпути. Karfunkel в этом отношении не отличается от Abenteuer, если считать, что –teuer - оставшийся без объяснения остаток; его можно сравнить и с homard*,* где hom- ничему не соответствует.

Таким образом, степень искажения не создает каких-либо существенных различий у слов, исковерканных народной этимологией; все они, безусловно, являются не более как истолкованиями непонятых форм посредством форм известных.

Итак, теперь ясно, чем народная этимология походит на аналогию и чем она от нее отличается.

У обоих этих явлений есть только одна общая черта — и в том и в другом случае используются предоставляемые языком значимые элементы, - но в остальном они диаметрально противоположны. Аналогия всегда предполагает забвение прежней формы; в основе аналогической формы il traisait отсутствует какое бы то ни было разложение прежней формы il trayait на составные части; забвение этой формы даже необходимо, чтобы могла возникнуть конкурирующая с ней форма. Аналогия ничего не извлекает из субстанции замещаемых ею знаков. Наоборот, народная этимология сводится к интерпретации прежней формы, воспоминание о которой, хотя бы и смутное, является исходной точкой для ее искажения. Таким образом, в основе анализа в одном случае лежит воспоминание, а в другом случае - забвение. Это различие является фундаментальным.

Народная этимология представляет собой в языке явление патологическое; она выступает лишь в исключительных случаях и затрагивает лишь редкие слова, технические термины или заимствования из других языков, с трудом осваиваемые говорящими. Наоборот, аналогия есть явление общее, относящееся к нормальному функционированию языка. Эти два явления, некоторыми своими сторонами между собою сходные, по существу друг другу противоположны; их следует строго различать.

***Глава VII***

**Агглютинация**

**§ 1. Определение агглютинации**

Наряду с аналогией, важное значение которой мы только что отметили, в создании новых языковых единиц участвует и другой фактор: агглютинация.

С этими двумя факторами не может сравниться никакой другой способ образования слов: звукоподражания, новые, целиком выдуманные отдельными лицами безо всякого участия аналогии слова (например, *газ)* и даже явления народной этимологии имеют в этом отношений лишь весьма маловажное или даже вовсе ничтожное значение.

Агглютинация состоит в том, что два или несколько слов, первоначально раздельные, но часто встречающиеся внутри предложения в одной синтагме, сливаются в полностью или почти полностью неанализируемую единицу. Таков аггаютинационный процесс; мы говорим *процесс,* а не *прием,* так как с этим последним словом связано представление о волевом акте, о преднамеренности, тогда как одним из характернейших свойств агглютинации является именно отсутствие преднамеренности.

Приведем несколько примеров. По-французски прежде говорили се ci «это вот» в два слова, а затем стали говорить *ceci.* Получилось новое слово, хотя его материал и составные элементы ничуть не изменились. Таковы еще франц. tous jours → toujours «всегда», au jourd'hui → aujourd'hui «сегодня», dèsjà → déjà «уже», vert jus → verjus «кислое вино» и т. п. В результате агглютинации спаиваются также и единицы низшего уровня внутри слова, как это мы уже показывали на примере индоевропейской превосходной степени \*swād-is-to-s и греческой превосходной степени hēd-isto-s.

Пристальное рассмотрение обнаруживает в этом явлении три фазы:

1. Сочетание нескольких элементов в одной синтагме.

2. Собственно агглютинация, то есть синтез элементов синтагмы в некую новую единицу. Этот синтез происходит сам собою в силу механической тенденции: когда составное понятие выражено весьма привычным рядом значимых единиц, наш ум, выбирая, так сказать, дорожку напрямик, отказывается от анализа и начинает связывать понятие в целом со всем сочетанием знаков, которое тем самым превращается в неразложимую единицу.

3. Все прочие изменения, способствующие еще большему превращению прежнего сочетания в единое простое слово: сведение нескольких ударений к одному (vért jús → verjús), особые фонетические изменения и т. д.

Часто высказывалось мнение, будто фонетические и акцентуационные изменения (3) предшествуют изменениям, происходящим в области понятий (2), и будто семантический синтез следует объяснять агглютинацией и синтезом звукового материала. По всей вероятности, это не так: такие сочетания, как vert jus, tous jours и т. д., были обращены в простые слова именно потому, что в этих сочетаниях стали усматривать единое понятие; было бы заблуждением менять местами члены этого отношения.

**§ 2. Агглютинация и аналогия**

Контраст между аналогией и агглютинацией разителен:

1. При агглютинации две или несколько единиц в результате синтеза сливаются в одну единицу (например, encore «еще» от hanc horam) или же две единицы низшего уровня превращаются в одну единицу того же уровня (ср. hēd-isto-s «самый приятный» от \*swād-īs-to-s). Наоборот, аналогия исходит из единиц низшего уровня, превращая их в единицы высшего уровня. Чтобы образовать лат. pāg-ānus «деревенский», аналогия соединила основу pāg-и суффикс -ānus.

2. Агглютинация действует исключительно в синтагматической сфере: действие ее распространяется на данное сочетание; все прочее ее не касается. Аналогия же апеллирует к ассоциативным рядам в той же мере, как и к синтагмам.

3. В агглютинации вообще нет ничего преднамеренного, ничего активного; как мы уже говорили, это просто механический процесс, при котором сложение в одно целое происходит само собою. Напротив, аналогия есть прием, предполагающий анализ и соединение (combinaison), умственную деятельность и преднамеренность.

В связи с образованием новых слов очень часто употребляют термины *конструкция* и *структура,* но эти термины имеют различный смысл в зависимости от того, применяются они к агглютинации или к аналогии. В первом случае они напоминают о медленном цементировании элементов, которые от соприкосновения внутри синтагмы подвергаются синтезу, а синтез может привести к полнейшему исчезновению первоначальных единиц. В случае же аналогии термин «конструкция» означает нечто иное, а именно группировку (agencement), полученную сразу же в акте речи благодаря соединению нескольких элементов, заимствованных из разных ассоциативных рядов.

Мы видим, как важно различать эти два способа образования слов. Так, в латинском possum «могу» мы имеем не что иное, как слияние двух слов potis sum «могущий есть»,— это агглютинированное слово. Наоборот, signifer «знаменосец», agricola «земледелец» и др.— суть продукты аналогии — конструкции, построенные по имеющимся в языке образцам. Только к образованиям по аналогии следует относить термины *сложное слово (=композит)* и *производное слово (=дepuвam)\*.*

Часто бывает трудно решить, является ли данная форма порождением агглютинации или же она возникла как аналогическое образование? Лингвисты бесконечно спорили об индоевропейских формах \*es-mi, \*es-ti, \*ed-mi и т. д. Были ли элементы es-, ed- и т. д. когда-то, в отдаленном прошлом, подлинными словами, которые впоследствии агглютинировались с другими словами mi, ti и т. д., или же \*es-mi, \*es-ti и т. д. явились в результате соединения с элементами, извлеченными из иных сложных единиц того же порядка, что означало бы отнесение агглютинации к эпохе, предшествовавшей образованию индоевропейских окончаний? При отсутствии исторической документации вопрос этот, по-видимому, неразрешим.

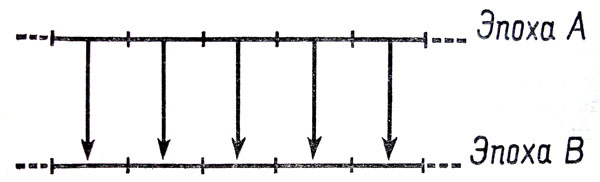
Только история может ответить на подобные вопросы. Всякий раз, как она позволяет утверждать, что тот или другой простой элемент состоял в прошлом из двух или нескольких элементов, мы вправе говорить об агглютинации: таково лат. hunc «это», восходящее к homсе (се засвидетельствовано эпиграфически). Но если у нас нет исторической информации, то оказывается чрезвычайно трудным определить, что является агглютинацией, а что относится к аналогии.

Отсюда следует, что оба эти явления комбинированно действуют в истории языка, но агглютинация всегда предшествует аналогии и создает для нее образцы. Такой тип сложных слов, как, например, греч. hippy-dromo-s и т. п., происходит от частичной агглютинации, имевшей место в такую эпоху индоевропейского праязыка, когда еще не было окончаний (\*ekwo dromo соответствовало тогда такому английскому словосочетанию, как countryhouse); но только благодаря аналогии получилось здесь продуктивное образование еще до окончательной спайки составных элементов. То же можно сказать и о форме будущего времени во французском языке (jeferai и т. п.), зародившейся в народной латыни от агглютинации инфинитива с настоящим временем глагола habere (facere habeo «сделать имею»). Таким образом, лишь благодаря вмешательству аналогии агглютинация создает синтагматические типы и обслуживает грамматику; предоставленная же самой себе, она доводит синтез составных элементов до абсолютного объединения и образует лишь неразложимые и непродуктивные слова (типа hanc horam → en-соrе), то есть обслуживает лексику.

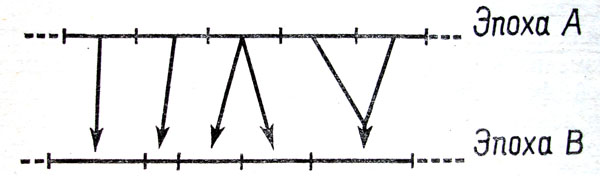
***Глава Vlll***

**Понятия единицы, тождества и реальности в диахронии**

Статическая лингвистика оперирует единицами, существующими в синхроническом ряду. Все, что сказано нами выше, показывает, что в диахронической последовательности мы имеем дело не с элементами, разграниченными раз и навсегда, как это можно было бы изобразить в виде следующей схемы:



Наоборот, каждый раз эти элементы оказываются иначе распределенными в результате разыгрывающихся в языке событий, так что их правильнее было бы изобразить следующим образом:



Это вытекает из всего того, что было сказано выше о результатах действия фонетической эволюции, аналогии, агглютинации и т. д.

Почти все приводившиеся нами примеры относились к образованию слов; возьмем теперь один пример из области синтаксиса. В индоевропейском праязыке не было предлогов; выражаемые ими отношения передавались посредством многочисленных падежей, облеченных широким кругом значений. Не было также глаголов с приставками, но вместо этого были частицы, словечки, прибавлявшиеся к предложениям, которые уточняли и оттеняли обозначение действия, выраженного глаголом. Тогда не было ничего, что соответствовало бы такому латинскому предложению, как īre ob mortem «идти навстречу смерти», или такому предложению, как obīre mortem с тем же значением; тогда сказали бы īre mortem ob. Такое положение вещей мы застаем еще в древнейшем греческом языке: óreosbaínō káta; óreosbaínō само по себе означает «иду с горы», причем родительный падеж обладает значимостью аблатива; káta добавляет оттенок «вниз». Позже появляется, katá óreos baínō где katá играет роль предлога, а также kata-baínō óreos *—* в результате аплютинирования глагола с частицей, ставшей глагольной приставкой.

Здесь перед нами два или три различных явления, которые, впрочем, все основаны на интерпретации отдельных единиц:

1) Образование нового разряда слов, предлогов, что происходит просто путем перестановки имеющихся единиц. Особое расположение слов, первоначально безразличное к чему бы то ни было, вызванное, быть может, случайной причиной, создало новое сочетание: káta, первоначально бывшее самостоятельным, связывается теперь с существительным óreos*,* и они вместе присоединяются к baínō в качестве его дополнения.

2) Появление нового глагольного типа katabaínō; это психологически новое сочетание, ему благоприятствует к тому же особое распределение единиц, и его закрепляет агглютинация.

3) Как естественный вывод из предыдущего — ослабление значения окончания родительного падежа óre-os; отныне выражение того понятия, которое прежде передавал один родительный падеж, принимает на себя katà; тем самым и в той же мере понижается вес окончания -os; его исчезновение в будущем уже дано здесь в зародыше.

Во всех трех случаях речь идет, как мы видим, о перераспределении уже существующих единиц. Прежняя субстанция получает новые функции; в самом деле - и это следует особо подчеркнуть, - для осуществления всех этих сдвигов не потребовалось никаких фонетических изменений. С другой стороны, хотя звуковой материал вовсе не изменился, не следует полагать, что все произошло только в смысловой сфере: не бывает синтаксических явлений вне единства некой цепи понятий с некой цепью звуковых единиц; именно это отношение в данном случае и оказалось видоизмененным. Звуки — прежние, а значимые единицы уже не те.

Как мы видели, изменчивость знака есть не что иное, как сдвиг отношения между означающим и означаемым. Это определение применимо не только к изменяемости входящих в систему элементов, но и к эволюции самой системы; в этом именно и заключается диахрония в целом.

Однако одной констатации сдвига синхронических единиц еще недостаточно для выяснения того, что произошло в языке. Существует проблема *диахронической единицы* как таковой: по поводу каждого события необходимо выяснить, какой элемент непосредственно подвергся трансформирующему действию. Мы уже встречались с проблемой подобного рода в связи с фонетическими изменениями; они касались лишь изолированных фонем, а не слов, взятых как особые единицы. Поскольку диахронические события по своему характеру разнообразны, постольку придется разрешать множество аналогичных проблем, причем ясно, что единицы, разграниченные в этой области, не будут обязательно соответствовать единицам синхронического порядка. В согласии с принципом, установленным нами в первой части этой книги, понятие единицы не может быть одинаковым в синхронии и диахронии. Во всяком случае, оно не будет окончательно установлено, пока мы его не изучим в обоих аспектах, статическом и эволюционном. Только разрешение проблемы диахронической единицы даст нам возможность преодолеть внешнюю видимость явления эволюции и добраться до его сути. Здесь, как и в синхронии, знакомство с единицами необходимо для отделения воображаемого от реального.

Другой вопрос, чрезвычайно сложный,—это вопрос о *диахроническом тождестве.* В самом деле, для того чтобы у меня была возможность сказать, что данная единица сохранилась тождественной самой себе или же, продолжая быть той же особой единицей, она вместе с тем изменилась по форме или по смыслу (все эти случаи возможны), мне необходимо знать, на чем я могу основываться, утверждая, что извлеченный из какой-либо эпохи элемент, например франц. chaud «теплый», есть тот же самый, что и взятый из более ранней эпохи элемент, например лат. calidum (вин. п. от calidus «теплый»).

На этот вопрос, конечно, ответят, что calidum в силу действия фонетических законов, естественно, должно было превратиться в chaudи что, следовательно, chaud=calidum*.* Вот это и называется фонетическим тождеством. То же относится и к такому случаю, как франц. sevrer «отнимать от груди» и лат. separare «отделять»; наоборот, относительно франц. fleurir «цвести» скажут, что это не то же самое, что лат. flourere, которое должно было бы дать \*flowOir.

На первый взгляд кажется, что такое соответствие покрывает понятие диахронического тождества вообще. Но в действительности совершенно невозможно, чтобы звук сам по себе свидетельствовал о тождестве. Мы, разумеется, вправе сказать, что лат. more «море» во французском должно иметь форму mer*,* потому что всякое *а* в определенных условиях переходит в *е,* потому что безударное конечное е отпадает и т. д.; но утверждать, будто именно эти отношения (а → е*, е →* нуль*)* и составляют тождество,—это значит выворачивать все наизнанку, так как, наоборот, исходя именно из соответствия mare: mer*,* я и заключаю, что *а* перешло в *е,* что конечное *е* отпало и т. д.

Если из двух французов, происходящих из различных областей Франции, один говорит sefacher «сердиться», а другой - se focher, то разница между их произношением весьма незначительна по сравнению с грамматическими фактами, позволяющими распознать в этих двух различных формах одну и ту же языковую единицу. Диахроническое тождество двух столь различных слов, как calidum и chaud*,* попросту означает, что переход от одного к другому произошел через целый ряд синхронических тождеств в области речи, причем связь между ними никогда не нарушалась, несмотря на следующие друг за другом фонетические преобразования. Вот почему мы могли утверждать, что столь же интересно установить, почему повторяемое несколько раз в одной и той же речи слово Messieurs! «господа!» остается тождественным самому себе, как и выяснить, почему французское отрицание pas тождественно существительному pas или, что то же, почему франц. chaudтождественно лат. calidum*.* Второй вопрос в действительности является только продолжением и усложнением первого.

**Приложение ко второй и третьей частям**

**А. Анализ субъективный и анализ объективный**

Анализ языковых единиц, ежеминутно производимый говорящими, может быть назван *субъективным анализом,* не следует смешивать его с *объективным анализом,* опирающимся на историю языка. В такой греческой форме, как híppos «конь», грамматика различает три элемента: корень, суффикс и окончание — hípp-o-s; древний же грек осознавал в этом слове только два элемента: hípp-os. В лат. āmābas «ты любил» объективный анализ обнаруживает четыре единицы низшего уровня: am-ā-bā-s, а римляне делили это слово на три элемента: amā-bā-s; вероятно даже, что они рассматривали -bas как словоизменительное целое, противопоставленное основе. Во французских словах entier «целый» (от лат. in-teger«нетронутый»), enfant «ребенок» (от лат. in-fans «неговорящий»), enceinte «беременная» (от лат. in-cincta «неопоясанная») историк языка выделяет общий префикс en-, тождественный латинскому отрицательному префиксу in-; субъективный же анализ говорящих полностью его игнорирует.

Грамматист зачастую склонен находить ошибки в спонтанном анализе языка; в действительности же субъективный анализ не более ложен, чем «ложная» аналогия. Язык не ошибается; у него только иная точка зрения. Анализ говорящих и анализ лингвиста, опирающегося на историю языка, несоизмеримы, несмотря на то что в обоих случаях используется одинаковый прием: сопоставление рядов, в которых встречается один и тот же элемент. Оба вида анализа вполне оправданны, и каждый из них сохраняет свою ценность, но в конечном счете непререкаемое значение имеет только анализ говорящих, так как он непосредственно базируется на фактах языка.

Исторический анализ, т. е. анализ, опирающийся на историю языка, — лишь производная форма этого непосредственного анализа. Он, в сущности, состоит в проецировании на одну плоскость построений различных эпох. Как и спонтанный анализ языка, исторический анализ лингвистов стремится к познанию образующих слово единиц низшего уровня; разница только в том, что он, стремясь добраться до древнейшего разложения слова на составные части, синтезирует все те субъективные разложения, которые производились в течение веков. Слово напоминает собою дом, внутреннее устройство и назначение которого много раз менялось. Объективный анализ подытоживает эти сменявшиеся во времени переустройства, накладывая их одно на другое. Но те, кто живет в доме, знают только одно его устройство. Рассмотренный выше анализ греч. hípp-o-s не ложен, поскольку состав слова осознавался говорящими именно так; он только «анахроничен», поскольку он относится не к той эпохе, в которую мы сталкиваемся с этим словом. Это hípp-o-s не противоречит греческому классическому hípp-os; *к* нему только надо подходить с иной оценкой. Иначе говоря, мы опять возвращаемся к фундаментальному противопоставлению диахронии и синхронии.

Тем самым мы подходам к разрешению важного методологического вопроса. Старая школа делила слова на корни, основы, суффиксы и т. д. и приписывала этим категориям абсолютную значимость. Читая работы Боппа и его учеников, можно подумать, что греки с незапамятных времен хранили все тот же запас готовых корней и суффиксов и что, разговаривая, они занимались массовым производством своих слов, что, например, patēr «отец» было для них «корень рa + суффикс ter*»,* a dōsō «дам» в их устах представляло собою суммуdō + sō + личное окончание и т. д.

Разумеется, нужно было реагировать на подобного рода заблуждения, и лозунгом этой реакции, лозунгом совершенно правильным, сделалось следующее требование: наблюдайте за тем, что происходит в современных языках, в нашей повседневной речи, и не приписывайте древним периодам языка никаких процессов, никаких явлений, которые не были бы засвидетельствованы в живой речи. А поскольку в живой речи чаще всего нет почвы для такого рода анализов, какие производил Бопп, младограмматики, твердо держась своего принципа, стали заявлять, что корни, основы, суффиксы и т. д. — это чистейшие абстракции нашего ума и что если мы ими пользуемся, то исключительно только в интересах удобства изложения. Но если установление этих категорий принципиально не оправдывается, к чему же их тогда устанавливать? А если их установили, то на каком основании в таком случае решают, что разложение hípp-o-s предпочтительнее разложения hípp-os?

Новая школа, признав недостатки прежней доктрины, что сделать было нетрудно, удовольствовалась отказом от нее в теории, а на практике осталась во власти того же научного аппарата, без которого, несмотря ни на что, не могла обойтись. Стоит нам поразмыслить над этими «абстракциями», чтобы установить степень их соответствия реальности; достаточно самого простого корректива, чтобы правильно и точно осмыслить эти искусственные построения грамматистов. Это мы и старались сделать в нашем предшествующем изложении, показав, что объективный анализ, внутренне связанный с субъективным анализом живого языка, занимает свое законное и определенное место в лингвистической методологии.

**Б. Субъективный анализ и выделение единиц низшего уровня**

Итак, в отношении анализа можно установить метод и сформулировать определения, лишь исходя из синхронической точки зрения. Это мы и хотим показать, высказав ряд соображений относительно частей слова: префиксов, корней, основ, суффиксов, окончаний\*.

Начнем с *окончания,* то есть со словоизменительной характеристики, иначе говоря, с того меняющегося элемента на конце слова, который служит для различения форм именной и глагольной парадигм. В греческом спряжении zeúgnū-mi, zeúgnū -s, zeúgnū -si, zeúgnu-men и т. д. «запрягаю, запрягаешь» и т. д. окончания -mi, -si, -s и т. д. выделяются просто тем, что они противопоставлены друг другу и предшествующей им части слова (zeugnǔ-)*.* Как мы уже видели на примере русск. *рук* (форма род. п.), противопоставленной форме *рука* (им. п. ед. ч.), отсутствие окончания может играть такую же роль, как и обычное окончание. Так, греч. zeúgnú! «запрягай!», противопоставленное форме мн. ч. zeúgnu-te «запрягайте!» и т. д., или форма зват. п. rhêtor «оратор!», противопоставленная форме rhētor-os и прочим падежам, и франц. mar (пишется marche*)* «иди!», противопоставленное marə (пишется marchons*)* «идем!», являются словоизменительными формами с нулевыми окончаниями.

Откинув окончание, получаем *базу словоизменения* (thème de flexion), или *основу,* которая, вообще говоря, есть тот общий элемент, выделяемый непосредственно путем сопоставления ряда родственных слов, изменяемых или нет, с которым связано общее всем этим словам понятие. Так, в гнезде французских слов roulis «качка (боковая)», rouleau «каток», «свиток», rouler «катить», «скатывать», roulage «укатывание (почвы)», roulement «скатывание» нетрудно усмотреть основу roul- «кат-». Но анализ, производимый говорящими, зачастую различает в одном и том же гнезде слов основы нескольких сортов, или, лучше сказать, нескольких степеней. Элемент zeugnǔ*-,* выделенный нами выше из zeúgnū-mi, zeúgnū -s и т. д., представляет собой основу первой степени, которая не является неразложимой, так как путем сравнения с другими рядами (zeúgnūmi «запрягаю», zeuktós «запряженный», zeûksis «запряжка», zeuktêr «запрягающий», zugón«ярмо» и т. д., с одной стороны, zeúgnūmi «запрягаю», deiknūmi «показываю», órnūmi «поднимаю» и т. д., с другой стороны) само собой обнаруживается деление zeug-nu. Таким образом, zeug*-* (со своими чередующимися формами zeug-, zeuk-, zug-) есть основа второй степени, которая является уже неразложимой, так как сопоставление с родственными формами не дает возможности разделить ее на более дробные части.

Этот неразложимый элемент, общий для всех слов, образующих одну родственную группу, называется *корнем. С* другой стороны, поскольку всякое субъективное и синхроническое разложение может членить звуковые элементы, лишь исходя из той частицы смысла, которая приходится на долю каждого элемента, постольку корень является тем элементом, где общий всем родственным словам смысл достигает наивысшей степени абстракции и обобщения. Разумеется, эта смысловая неопределенность у каждого корня различна; она, между прочим, зависит в некоторой мере от степени разложимости основы: чем больше эта последняя подвергалась последовательным рассечениям, тем больше шансов у ее смысла сделаться абстрактным. Так, греческое zeugmátion означает «упряжка», zeûgma«упряжь» без более точной спецификации, наконец, zeug*-* выражает неопределенное представление о «(за/со)прягании».

Из этого следует, что корень как таковой не может выступать в качестве слова и непосредственно принимать окончания. В самом деле, слово всегда выражает более или менее определенное представление, по крайней мере с грамматической точки зрения, что не согласуется со свойственными корню общностью и абстрактностью. Что же в таком случае нужно думать о тех весьма частых случаях, когда корень и база словоизменения совпадают, как это мы, например, видим в греч. *.*phlóks «пламя», phlogós «пламени», когда сравниваем их с корнем phleg-: phlog-, который встречается во всех словах одного и того же гнезда (ср. phlég-ō «жгу» и т. д.)? Не противоречит ли это только что установленному нами различию? Нисколько, так как следует различать phleg-: phlog- в общем смысле и phlog- в специальном смысле, если только мы не желаем рассматривать звуковые формы в полном отрыве от смысла. У одного и того же звукового элемента здесь две различные значимости, так что он составляет два различных языковых элемента. Выше мы рассматривали zeúgnū! «запрягай!» как спрягаемое слово с нулевым окончанием; подобно этому, мы должны будем сказать, что и в данном случае phólg*-* «пламя» является базой с *нулевым суффиксом.* Никакое смешение невозможно: основа остается отличимой от корня, даже если в звуковом отношении она с ним совпадает.

Итак, для сознания говорящих корень представляет собой реальность. Правда, говорящие не всегда умеют выделять его с одинаковой точностью; в этом отношении наблюдаются различия как внутри одного языка, так и между языками.

В некоторых языках корень обладает определенными характерными свойствами, которые привлекают к нему особое внимание говорящих. Так обстоит дело в немецком языке, где корень отличается единообразными качествами: он почти всегда односложен (ср. streit-, bind-, haft- и т. д.), его строение подчиняется определенным правилам — фонемы не могут располагаться в нем в любом порядке; некоторые сочетания согласных, как, например, смычный плюс плавный, в конце корня недопустимы—возможно werk-, a wekr- невозможно; встречаются helf-, werd-, a heft-, wedr- не встречаются.

Напомним, что регулярные чередования, особенно гласных, скорее усиливают, нежели ослабляют ощущение корня и вообще единиц низшего уровня; в этом отношении немецкий язык с разнообразной игрой аблаута глубоко отличен от французского. В еще большей степени этими свойствами характеризуются семитические корни. Чередования в них весьма регулярны и выражают множество сложных противопоставлений (ср. др.-евр. qātal «он убил», qtaltém«вы (мужчины) убили», qeţōl «убить», «убей, ты (мужчина)!», qiţelū«вы (мужчины) убейте!» и т. д. — все это формы одного и того же тоа-гола со значением «убивать»); кроме того, в них мы находим нечто напоминающее немецкую односложность, но в еще более разительном виде: семитические корни имеют всегда три согласных. В этом отношении совершенно иную картину представляет французский язык. В нем мало чередований и наряду с односложными корнями (roul-, march-, mang- и т. д.) много двух- и трехсложных корней (соттепс-, hésit-, épouvant-). Кроме того, формы этих корней представляют, особенно в своих финалях, слишком разнообразные сочетания, чтобы их можно было подвести под определенные правила (ср. tu-er, régn-er, guid-er, grond-er, souffl-er, tard-er, entr-er, hurl-er и т. п.). Поэтому не приходится удивляться, что во французском языке корень ощущается весьма слабо.

Выделение корня влечет за собой выделение префиксов и суффиксов. *Префикс* предшествует той части слова, которая признана основой, например hupo- греч. hopo-zeúgnūmi «впрягаю». *Суффикс -* это тот элемент, который прибавляется к корню для превращения его в основу (например, zeug-mat-) или к основе первой степени для превращения ее в основу второй степени (например, zeugmat-iо-). Мы уже видели, что этот элемент, как и окончание, может выступать в виде нуля. Выделение суффикса является, таким образом, лишь оборотной стороной анализа основы.

Суффикс то облечен конкретным смыслом, то есть семантической значимостью, как, например, в zeuk-tēr*-* «запрягающий», где -tēr- обозначает действующее лицо (субъект действия), то наделен чисто грамматической функцией, как, например, в zeúg-nú(-mi) *«я* запрягаю», где -nū- выражает идею настоящего времени. Префикс также может играть и ту и другую роль, но в наших языках он редко обладает грамматической функцией; примеры: ge- в немецком причастии прошедшего времени (ge-setzt), глагольные префиксы совершенного вида в славянских языках (русск. *на-писать).*

Префикс отличается от суффикса еще одним свойством, которое, хотя и не абсолютно, но весьма распространено: он лучше отграничен, то есть легче отделяется от слова в целом. Это зависит от самой природы префикса; в большинстве случаев, откинув префикс, мы получаем законченное цельное слово (ср. франц. recommencer «начинать снова» :commencer «начинать», indigne «недостойный» : digne «достойный», maladroit «неловкий» : adroit «ловкий», contrepoids «противовес» : poids «вес» и т. д.). Еще более разительно проявляется это свойство префикса в латинском, греческом и немецком языках. Заметим еще, что некоторые префиксы могут выступать и как самостоятельные слова: ср. франц. contre«возле», mal «скверно», avant «перед», sur «на», нем. unter «под», vor «перед» и т. д., греч. katá «с (чего-либо)», pró «перед» и т. д. Совершенно иначе обстоит дело с суффиксами. Откинув этот элемент, мы получим основу, которая законченным словом не является: например, франц. organisation «организация» : organis*-* «организ-», нем. Trennung «разъединение»: trenn- «разъединен-», греч. zeûgma «упряжка» : zeug- «упряж-» и т. д.; с другой стороны, сам суффикс не имеет самостоятельного существования.

Из всего этого следует, что чаще всего основа в своей начальной части отграничена заранее: даже не прибегая к сопоставлению с другими формами, говорящий знает, где находится грань между префиксом и тем, что за ним следует. Иначе обстоит дело с концом слова: тут установление границы без сопоставления с формами, имеющими ту же основу или тот же суффикс, невозможно; в результате подобных сопоставлений получаются те или другие разграничения, целиком зависящие от свойств сопоставляемых элементов.

С точки зрения субъективного анализа суффиксы и основы обладают значимостью лишь в меру своих синтагматических и ассоциативных противопоставлений; можно, смотря по обстоятельствам, найти формативный элемент и основу в двух противопоставленных частях слова, каковы бы они ни были, лишь бы они давали повод для противопоставления. Например, в лат. dictātōrem «диктатора» можно выделить основу dictātōr(-em), если его сопоставлять с consul-em «консула», ped-em «ногу» и т. д.; основу dictā(-tōrem), если его сближать с lic-tōrem «ликтора», scrip-tōrem «писца» и т. д., наконец, основу dic(-tātōrem), если вспомнить о po-tātōrem «пьющего», can-tātōrem «певчего» и т. д. Вообще говоря, при благоприятных обстоятельствах говорящий имеет основания производить все мыслимые членения (например, dictāt(-ōrem), исходя из am-ōrem «любовь (вин. п.)», ard*-* ōrem «огонь (вин. п.)» и т. д., diet(-ātōrem), исходя из or*-*ātōrem «оратора», ar- ātōrem «пахаря» и т. д.). Как мы уже видели, результаты этого рода спонтанных анализов обнаруживаются в постоянно возникающих аналогических образованиях в любую эпоху истории, языка; именно на основании их мы получаем возможность выделять единицы низшего уровня (корни, префиксы, суффиксы, окончания), осознаваемые в языке, и те значимости, которые он с ними связывает.

**В. Этимология**

Этимология не является ни отдельной дисциплиной, ни частью эволюционной лингвистики; это всего лишь применение принципов, относящихся к синхроническим и диахроническим фактам. Этимология проникает в прошлое слов и следует в этом направлении до тех пор, пока не находит материала для их объяснения.

Когда говорят о происхождении какого-либо слова и утверждают, что оно «происходит» от другого слова, то под этим можно разуметь самые разнообразные вещи: так, франц. sel «соль» происходит от лат. sal в результате простого звукового изменения; франц. labourer «обрабатывать землю» происходит от старофранц. labourer «работать вообще» в результате изменения только смысла; couver «сидеть на яйцах» происходит от лат. cubāre «лежать» в результате изменения смысла и звучания; наконец, когда говорят, что франц. pommier «яблоня» происходит от pommer «яблоко», то устанавливают отношение грамматического словопроизводства. В трех первых случаях мы оперируем диахроническими тождествами, а четвертый случай покоится на синхроническом отношении нескольких различных элементов; все сказанное выше по поводу аналогии показывает, что она составляет самый важный раздел этимологического исследования.

Этимологию лат. bonus «добрый» нельзя считать установленной, если ограничиться утверждением, что оно восходит к \*dvenos; но когда мы устанавливаем, что bis «дважды» восходит к *\**dvis и что тем самым устанавливается связь с duo «два», то это можно назвать операцией этимологического порядка; то же можно сказать и о сближении франц. oiseau «птица» с лат. avicellus «птица» (←«птичка»), так как оно позволяет найти связь между oiseau и avis «птица».

Таким образом, этимология — это в первую очередь объяснение того или другого слова при помощи установления его отношения к другим словам. Объяснить — значит свести к элементам уже известным, а в лингвистике *объяснить слово —значит свести его к другим словам,* ибо необходимого отношения между звучанием и смыслом не существует (принцип произвольности знака).

Этимология не довольствуется объяснением отдельных слов; она занимается и историей родственных групп слов, а также историей формантов, префиксов, суффиксов и т. д.

Подобно статической и эволюционной лингвистике, этимология описывает факты, но это описание не является систематическим, ибо оно не производится в каком-либо определенном направлении. Взяв в качестве предмета исследования какое-нибудь отдельное слово, этимология черпает информацию по поводу его из области то фонетики, то морфологии, то семантики и т. д. Для достижения своей цели она использует все те средства, которые предоставляет в ее распоряжение лингвистика, но при этом она не задерживает своего внимания на выяснении характера тех операций, которые ей приходится производить.

**Часть четвертая**

**ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА**

***Глава I***

**О Различии языков**

Переходя к вопросу о языке в пространстве, мы покидаем внутреннюю лингвистику и переходим к лингвистике внешней, обширность и разнообразие которой уже были нами показаны в пятой главе введения.

При изучении языков нас прежде всего поражает их многообразие, те языковые различия, которые обнаруживаются между разными странами и даже между частями одной страны. Тоща как расхождения во времени часто ускользают от наблюдателя, расхождения в пространстве бросаются в глаза всем и каждому: их замечают даже дикари при контактах с иноязычными племенами. Именно вследствие таких сопоставлений народ начинает осознавать свой собственный язык.

Заметим мимоходом, что осознание языка создает у первобытных народов представление о том, что язык есть некий навык, некий обычай, подобный обычаю носить одежду или оружие. Французское слово idiome в значении «(конкретный) язык» хорошо подчеркивает характер языка как отражения специфических черт определенного общественного коллектива (греч. idiōma уже означало «особый обычай»). В этом заключена верная идея, переходящая, однако, в заблуждение в том случае, если рассматривать язык как признак уже не народа, а расы, в том же смысле, как цвет кожи или строение черепа.

Прибавим еще, что каждый народ уверен в превосходстве своего языка. Люди, говорящие на других языках, часто рассматриваются как вообще неспособные к речи; так, греческое слово bárbaros «варвар, не грек», по-видимому, первоначально означало «заика» и было родственно латинскому слову balbus с тем же значением; по-русски представители германского народа называются немцами, то есть «немыми».

Географическое разнообразие языков—вот что констатировала лингвистика прежде всего; это предопределило первоначальное направление научных изысканий в области языка уже у греков; правда, греки обратили внимание только на различия, существовавшие между различными эллинскими диалектами, но это объясняется тем, что их интересы вообще не выходили за пределы самой Греции.

Констатировав, что какие-либо два наречия отличаются друг от друга, мы уже затем начинаем инстинктивно обнаруживать в них аналогичные черты. В этом проявляется тенденция, свойственная всем говорящим. Крестьяне охотно сравнивают свой говор с говором соседних деревень; те люди, которым приходится говорить на нескольких языках, замечают между ними черты сходства. И вместе с тем любопытно отметить, что прошло немало времени, прежде чем наука использовала наблюдения этого рода: так, греки, усмотревшие значительное сходство между латинским и греческим словарем, не сумели сделать из этого никаких лингвистических выводов.

Научное наблюдение этих черт сходства в некоторых случаях позволяет утверждать, что два или несколько языков связаны между собой узами родства, то есть что они имеют общее происхождение. Группа языков, сближаемых таким образом, называется семьей; современная лингвистика установила одну за другой ряд семей: индоевропейскую, семитскую, башу и др. Эти семьи могут в свою очередь сравниваться между собой, в результате чего порой обнаруживаются еще более широкие и более древние связи. Делались попытки найти черты сходства между угро-финской и индоевропейской семьей языков, между индоевропейской и семитической семьей языков и т. д. Но такого рода сопоставления сразу же наталкиваются на непреодолимые преграды. Не следует смешивать правдоподобное с доказуемым. Всеобщее родство всех языков маловероятно, но, будь даже оно реальным, как это думает итальянский лингвист Тромбетти', его нельзя было бы доказать вследствие великого множества происшедших в языках изменений.

Таким образом, наряду с различием внутри родственных языков имеется абсолютное различие, где родство нельзя установить или доказать. Каков же метод лингвистики в том и другом случае? Начнем со второго, наиболее часто встречающегося случая. Как мы только что сказали, имеется множество языков и языковых семей, несводимых друг к другу. Таким является, например, китайский язык по отношению к языкам индоевропейским. Это вовсе не значит, что в данном случае от сравнений следует отказаться совсем; сравнение всегда возможно и полезно; оно может касаться как грамматической организации и общих типов выражения мысли, так и системы звуков; равным образом можно сопоставлять факты диахронического порядка, фонетическую эволюцию двух языков и т. п. Но возможности в этом отношении, хотя по количеству своему и неисчислимые, ограничены некоторыми постоянными данными звукового и психического характера, определяющими строение каждого языка, и обратно, как раз обнаружение этих постоянных данных и является главнейшей целью любого сопоставления несводимых друг к другу языков.

Что же касается различий другого рода, которые обнаруживаются внутри отдельной языковой семьи, то они представляют неограниченные возможности для сравнения. Два языка могут отличаться друг от друга в самых различных отношениях: они могут поразительно походить друг на друга, как, например, авестийский язык и санскрит, или казаться совершенно несходными, как, например, санскрит и ирландский; возможны всяческие промежуточные случаи: греческий и латинский ближе друг к другу, чем каждый из них к санскриту и т.д. Наречия, расходящиеся в весьма слабой степени, называются *диалектами;* впрочем, этому термину не следует придавать чересчур строгий смысл; как мы увидим далее, между диалектом и языком имеется только количественное, но не качественное различие.

***Глава II***

**Сложности, связанные с географическим разнообразием языков**

**§ 1. Сосуществование нескольких языков в одном пункте**

До сих пор мы рассматривали географическое разнообразие языков в его идеальном виде: сколько территорий, столько и различных языков. Мы были вправе так поступать, ибо географическое разделение является наиболее общим фактором языкового многообразия. Перейдем теперь к явлениям вторичным, нарушающим неизменность этого соответствия и приводящим к сосуществованию нескольких языков на одной территории.

Речь идет не о реальном, органическом смешении, не о взаимопроникновении двух языков, приводящем к изменению языковой системы (ср. английский язык после норманского завоевания). Речь идет и не о нескольких строго разграниченных территориально языках, заключенных в пределы одного государственного целого, как это мы видим, например, в Швейцарии. Мы коснемся только таких явлений, когда два языка живут бок о бок в одной и той же местности и сосуществуют не смешиваясь. Это встречается весьма часто, и здесь следует различать два случая.

Прежде всего, может случиться, что язык пришлого населения накладывается на язык туземного населения, так, в Южной Африке наряду с многими туземными языками мы встречаем голландский и английский языки, появившиеся там в результате двух последовательных колонизации; таким же порядком в Мексике утвердился испанский язык. Не надо думать, что подобного рода языковые вторжения характерны только для нашего времени. Во все времена наблюдалось явление смешения народов без слияния их языков. Чтобы убедиться в этом, достаточно бросить взгляд на карту современной Европы: в Ирландии говорят по-кельтски и по-английски; многие ирландцы владеют обоими языками. В Бретани распространены языки бретонский и французский; в области басков пользуются языками французским или испанским наряду с баскским. В Финляндии с давних пор сосуществуют языки шведский и финский; в более позднее время к ним присоединился русский язык; в Курляндии и Лифляндии говорят по-латышски, по-немецки и по-русски, причем немецкий язык, занесенный сюда в средние века колонистами, явившимися в этот край в связи с деятельностью Ганзы, распространен среди определенного класса населения; русский язык появился здесь впоследствии. В Литве наряду с литовским языком утвердился польский (следствие прежней унии этой страны с Польшей) и русский (результат ее присоединения к Российской империи). Вплоть до XVIII в. во всей восточной части Германии, начиная с Эльбы, говорили по-славянски и по-немецки. В некоторых странах смешение языков оказалось еще более значительным: в Македонии встречаются самые разные языки, по-разному смешанные в зависимости от местности: турецкий, болгарский, сербский, греческий, албанский, румынский и др.

Языки смешиваются не всегда в абсолютном смысле; их сосуществование в какой-либо области не исключает возможности их относительного территориального размежевания. Случается, например, что из двух языков один распространен в городах, другой—в сельских местностях; но такое распределение не всегда вполне отчетливо.

В древности наблюдалась та же картина. Если бы у нас была под руками карта Римской империи, мы увидели бы нечто вполне сходное с явлениями нашей эпохи. Так, в Кампанье к концу Римской республики говорили на следующих языках: оскском (как это доказывают помпейские надписи), греческом (на котором говорили основавшие Неаполь и другие города колонисты), латинском и, быть может, даже этрусском, господствовавшим в этой области до появления римлян. В Карфагене пунический (иначе—финикийский) язык продолжал существовать наряду с латинским (он засвидетельствован еще в эпоху арабского завоевания), не говоря уже о том, что на части карфагенской территории, несомненно, говорили по-нумидийски. Есть даже основания полагать, что в древности в средиземноморском бассейне одноязычные страны составляли исключение. В большинстве случаев такое наслаивание языков друг на друга было вызвано нашествием завоевателей; но встречаются случаи и мирного проникновения, колонизации, а также случаи миграции кочевых племен, вместе со своими передвижениями распространяющих и свое наречие. В качестве примера можно указать на цыган, осевших главным образом в Венгрии, где они населяют целые деревни; изучение их языка показало, что в неизвестную эпоху они должны были прийти из Индии. В Добрудже, в устье Дуная, попадаются кое-где татарские деревни, отмеченные маленькими пятнышками на лингвистической карте этой области.

**§ 2. Литературный язык и диалекты**

Это еще не все: языковое единство может быть нарушено в результате влияния, оказанного литературным языком на диалекты. Это неукоснительно случается всякий раз, когда народ достигает определенного уровня в развитии культуры. Под «литературным языком» мы понимаем не только язык литературы, но и в более общем смысле, любой обработанный язык, государственный или нет, обслуживающий весь общественный коллектив в целом. Будучи предоставлен сам себе, язык пребывает в состоянии раздробления на диалекты, из коих ни один не вторгается в область другого; и в таких условиях он обречен на бесконечное дробление. Но по мере того, как с развитием цивилизации усиливается общение между людьми, один из существующих диалектов в результате своего рода молчаливого соглашения начинает выступать в роли средства передачи всего того, что представляет интерес для народа в целом. Мотивы выбора именно данного диалекта весьма разнообразны: в одних случаях предпочтение отдается диалекту наиболее развитой в культурном отношении области, в других случаях—диалекту того края, который осуществляет политическую гегемонию и где пребывает центральная власть; бывают также случай, когда двор навязывает народу свой язык. Поднявшись до роли официального и общего языка, привилегированный диалект редко остается тем же, каким он был раньше. В него проникают элементы других областных диалектов; он становится все более и более сложным, не теряя, однако, полностью своих первоначальных черт; так, во французском литературном языке легко узнать диалект Иль-де-Франса, а в общеитальянском языке—тосканский диалект. Как бы то ни было, литературный язык не торжествует сразу же на всей территории, так что значительная часть населения оказывается двуязычной, говоря одновременно и на общем языке, и на местном наречии. Такая картина до сих пор наблюдается во многих областях Франции, как, например, в Савойе, где французский язык занесен извне и еще не вытеснил окончательно местное наречие. Подобное же явление замечается в Германии и в Италии, где всюду диалекты сохраняются рядом с официальным языком.

Аналогичные факты наблюдались во все времена у всех народов, достигших определенного уровня цивилизации. У греков было свое *койне,* восходящее к аттическому и ионийскому диалектам, а наряду с ним продолжали существовать местные диалекты. Даже в древней Вавилонии, по-видимому, можно установить наличие официального языка наряду с областными диалектами.

Обязательно ли существование общего языка обусловлено наличием письменности? Гомеровские поэмы как будто доказывают противоположное; несмотря на то, что они появились в то время, когда письменность или вовсе, или почти не существовала, их язык носит черты условности и обнаруживает обычные свойства литературного языка.

Затронутые в этой главе факты имеют столь общее распространение, что их можно было бы считать нормальным явлением в истории языка. Однако в нашем изложении мы отвлечемся от всего, что заслоняет от нас картину естественного географического разнообразия языков, и сосредоточим все наше внимание на основном феномене, оставив в стороне факты проникновения чужого языка или образования литературного языка. Такое схематическое упрощение как будто противоречит реальности, но естественный факт должен быть изучен прежде всего в чистом виде.

Исходя из принятого нами принципа, мы будем считать, например, что лингвистически Брюссель — германский город, так как он расположен во фламандской части Бельгии; в нем говорят по-французски, но нас интересует исключительно демаркационная линия между фламандской и валлонской языковой территорией. С другой стороны, с той же точки зрения, Льеж—лингвистически романский город, так как он находится на валлонской территории; французский язык является в нем иностранным, наложившимся на родственный ему диалект. Равным образом Брест лингвистически относится к бретонской территории; французский язык, на котором там говорят, ничего не имеет общего с туземным наречием Бретани; Берлин, где слышится только верхненемецкая речь, мы отнесем к нижненемецкой территории и т. д.

***Глава III***

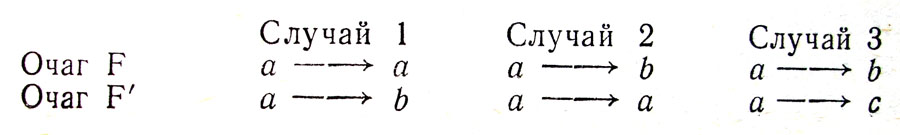
**Причины географического разнообразия языков**

**§ 1. Основная причина разнообразия языков—время**

Абсолютное многообразие языков ставит чисто умозрительную проблему. Наоборот, многообразие родственных языков ставит нас на почву конкретного наблюдения; это многообразие может быть сведено к единству. Так, французский и провансальский языки восходят к народной латыни, эволюционировавшей различно на севере и на юге Галлии. Общность их происхождения подтверждается материально.

Для уяснения того, как на самом деле обстоят дела, представим себе чисто теоретическую, насколько возможно простую ситуацию, позволяющую обнаружить основную причину языковой дифференциации в пространстве, и спросим себя, что должно произойти, если какой-либо язык, распространенный на замкнутой территории, например на небольшом острове, окажется перенесенным колонистами в другой пункт, равным образом замкнутый, например на другой остров. По истечении некоторого времени мы увидим, что между языком первого очага F и языком второго очага F' обнаружатся всяческие различия в отношении словаря, грамматики, произношения и т. д.

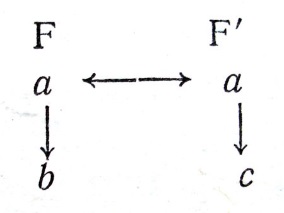
Не следует думать, что изменению может подвергнуться только наречие колонистов в очаге F', а то же наречие в очаге F не изменится вовсе; абсолютным образом нельзя утверждать и обратное. Вообще говоря, инновации могут возникать либо тут, либо там, или даже в обоих пунктах одновременно. Поскольку любое языковое явление *а* может смениться каким-либо другим — b, с, d и т. д., постольку дифференциация может произойти тремя различными способами:



Значит, исследование изменений не должно быть односторонним; для лингвиста равно важны инновации как в одном, так и в другом языке.

Что же порождает эту дифференциацию? Ошибочно было бы думать, что в этом виновно только пространство. Само по себе пространство не может оказывать никакого влияния на язык. На следующий день после своего появления в F' отплывшие из F колонисты говорили точь-в-точь на том же языке, как и накануне. Обычно мы упускаем из виду фактор *времени,* так как он менее конкретен, нежели фактор пространства; но в действительности языковая дифференциация обусловлена именно временем. Географические различия должны быть переведены на различия во времени.

Как получились фигурирующие в нашей схеме различные признаки b и с, если никогда не было ни перехода *b→c,* ни перехода *c→b*? Чтобы найти путь от единства к различию, следует вернуться к исходной форме *а*, замененной *b* и *с*; ведь форма *а* уступила место последующим формам! Таким образом, схема географической дифференциации, годная для всех аналогичных случаев, принимает следующий вид:



Географическое разобщение двух наречий является осязаемой формой их языкового расхождения, но не объясняет его. Без сомнения, данный язык не оказался бы дифференцированным, не будь пространственного разобщения, хотя бы и минимального; однако само по себе разобщение не создает различий. Подобно тому как нельзя судить об объеме по одной лишь поверхности, а надо привлечь третью координату - глубину, подобно этому и схема географической дифференциации становится полной, лишь будучи проецирована на время.

Можно было бы возразить, что разнообразия среды, климата, ландшафта, особенности народных обычаев (не совпадающих, например, у горских племен и у приморского населения) могут влиять на язык и что в таком случае расхождения, о которых идет речь, оказываются обусловленными географически. Но эти влияния спорны; будь они даже доказаны, необходимо все-таки и в этом случае не забывать следующего существенного различия. Влиянию среды можно, пожалуй, приписывать *направление движения,* которое, вообще говоря, определяется действующими в каждом отдельном случае, но недоступными обнаружению и описанию неуловимыми причинами. В определенный момент в определенной среде звук u превращается в ū; но почему он изменился в этот момент и в этой среде и почему он превратился в ū, а не в *о*, например? На этот вопрос ответить нельзя. Но *само изменение,* за вычетом его направления и его специальных проявлений,— иными словами, неустойчивость языка — определяется только действием времени. Итак, географическое разнообразие представляет собой только вторичный аспект общего явления. Единство родственных языков обнаруживается только во времени. Этим принципом должен проникнуться компаративист, если он не желает сделаться жертвой опасных иллюзий.

**§ 2. Действие времени на язык на непрерывной территории**

Возьмем теперь одноязычную страну, то есть такую, где всюду говорят на одном языке и где население оседло, например Галлию около 450 г. н. э., когда в ней повсюду прочно укоренился латинский язык. Что должно произойти с языком в этом случае?

1. Поскольку абсолютной неподвижности языка не существует, постольку по истечении некоторого времени рассматриваемый язык уже не будет тождественным самому себе.

2. Эволюция не будет происходить единообразно на всей территории, она будет варьировать в зависимости от местности; еще никогда и нигде не было зарегистрировано случая, чтобы язык изменялся одинаковым образом всюду, где он распространен. Таким образом, действительности соответствует не левая схема, а правая:



С чего же начинается и как развивается то разнообразие, которое впоследствии приводит к созданию всевозможных диалектных форм? Ответ на этот вопрос не так прост, как могло бы казаться с первого взгляда. Это явление имеет две основные черты:

1. Эволюция осуществляется в виде последовательных и строго определенных инноваций, слагающихся из отдельных фактов, которые нетрудно перечислить, описать и классифицировать, исходя из их природы (факты фонетические, лексические, морфологические, синтаксические и т. д.).

2. Каждая из этих инноваций возникает в определенном месте, имеет свою область распространения. Зона, охватываемая инновацией, либо покрывает всю территорию распространения языка, и в таком случае диалектных различий не возникает (это случай наиболее редкий), либо, как это обыкновенно случается, охватывает лишь часть территории распространения языка, и тогда у каждого диалектного факта оказывается своя особая область. Приводимые ниже примеры, взятые из истории звуков, действительны не только в отношении фонетических изменений, но и всяких других. Если, например, на части территории произошел переход *a* в *e*, то может случшъся, что переход s в z произойдет на той же территории, но в иных границах:



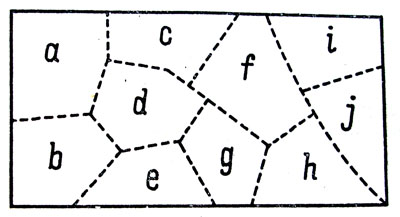
Наличием этих особых зон распространения того или другого явления и объясняется разнообразие говоров на территории распространения данного языка, предоставленного своему естественному развитию. Зону распространения того или другого из этих изменений предвидеть нельзя, ничто не позволяет заранее определить размеры этих зон; можно только констатировать их наличие. Накладываясь одна на другую на карте, где их границы перекрещиваются, они являют чрезвычайно сложные комбинации. Их очертания порой кажутся весьма причудливыми: так, лат. с и *g* перед *а* перешли в t∫, dЗ *,* затем — в ∫, З (ср. cantum «пение» (вин. п.)→ chant «пение», virga «прут, лоза» →verge«прут, лоза») на всем севере Франции, кроме Пикардии и части Нормандии, где с, *g* сохранились в неприкосновенности (ср. пикард. cat вместо chat «кошка», rescapé*,* недавно вошедшее во французский литературный язык, вместо réchappé «уцелевший», vergue *—* от приведенного выше virga и т. п.).

Что же должно получиться в результате всех этих явлений? Если в какой-либо определенный момент один и тот же язык господствует на всей территории А, то по истечении пяти-десяти столетий жители двух ее крайних пунктов, по всей вероятности, не будут понимать друг друга; с другой стороны, жители одного из этих пунктов по-прежнему будут понимать говор смежных с ним местностей. Путешественник, пересекающий эту страну с одного конца до другого, заметит, переходя от одной местности к другой, лишь самые незначительные диалектные различия; но по мере его продвижения эти различия будут увеличиваться, так что в конце концов он встретится с языком, непонятным для жителей той области, из которой он начал свое путешествие. Если же из какого-либо пункта территории А отправиться по разным направлениям, то окажется, что на каждом из этих направлений сумма расхождений будет увеличиваться, хотя и по-разному.

Особенности, обнаруженные в говоре какой-либо деревни, могут повторяться в соседних местностях, но совершенно невозможно предвидеть, до каких пределов распространяется каждая из них. Так, например, в Дувене, местечке департамента Верхняя Са-войя, название города Женевы произносится denva; такое произношение простирается далеко на восток и юг; но на другом берегу Женевского озера город называют dzenva*;* между тем речь идет не о двух резко разграниченных диалектах, поскольку в отношении других явлений границы оказываются иными; так, в Дувене числительное *deux* «два» произносится daue*,* но у этого произношения гораздо меньшая площадь распространения, чем у denva*;* в нескольких километрах оттуда, у подножия Салева, говорят due*.*

**§ 3. У диалектов нет естественных границ**

Обычное представление о диалектах совершенно иное. Их представляют себе как вполне определенные языковые типы, строго отделенные друг от друга во всех отношениях и занимающие на карте вполне раздельные, хотя и смежные территории a, b, с, d и т. д.:



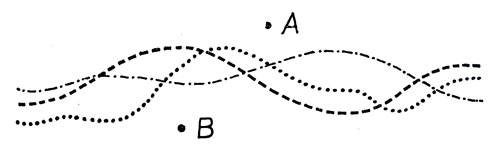
В действительности же естественные диалектные изменения приводят к совершенно иной картине. Как только наука принялась за изучение каждого языкового явления в отдельности и за определение области его распространения, оказалось необходимым заменить старое представление новым, которое сводится к следующему: существуют только естественные диалектные признаки, но естественных диалектов нет, или — что то же — диалектов столько же, сколько местностей.

Итак, представление о естественном диалекте в принципе несовместимо с представлением о более или менее значительной области. Одно из двух: либо мы определяем диалект суммой его отличительных черт, и в таком случае придется ограничиться одним пунктом на карте и считать диалектом говор ровно одного населенного пункта, так как стоит от него удалиться, и мы более не найдем той же самой суммы особенностей; либо мы определяем диалект по одному какому-нибудь признаку, в таком случае у данного языкового явления получится, конечно, некая область распространения, но едва ли стоит указывать, что такой прием является чисто искусственным и что проводимые по такому методу границы не соответствуют никакой диалектной реальности.

Исследования диалектных особенностей послужили отправной точкой для работ по лингвистической картографии, образцом которой может служить «Atlas linguistique de la France» Жильерона; следует упомянуть также о немецком атласе Венкера . Форма атласа подходит для этого лучше всего, так как приходится изучать страну область за областью, а для каждой из них отдельная карта могла бы охватить лишь небольшое число диалектных признаков; одна и та же область должна изображаться много раз, чтобы дать представление о наслоившихся в ней фонетических, лексикологических, морфологических и прочих особенностях. Подобного рода изыскания требуют целой организации, систематических обследований посредством вопросников, содействия корреспондентов на местах и т. п. В связи с этим надо упомянуть и об обследовании говоров романской Швейцарии. Одним из преимуществ лингвистических атласов является то, что они дают материал для диалектологических работ: многие недавно появившиеся монографии базируются на атласе Жильерона.

Границы между диалектными признаками называются «линиями изоглосс» или «изоглоссами». Этот термин создан по образцу слова «изотерма», но он неясен и неточен, так как означает фактически «одинаковоязычный». Если принять термин *глоссема* в значении «признак, характерный для данного языка или диалекта», то можно было бы с большим правом говорить об *изоглоссематических линиях,* но, поскольку этот термин едва ли приемлем, мы предпочитаем говорить в дальнейшем о *волнах инноваций,* используя образ, пущенный в оборот И. Шмидтом, о чем мы еще будем говорить в следующей главе.

Когда мы смотрим на лингвистическую карту, мы иногда замечаем, что две или три из этих волн почти совпадают, а иногда даже где-то и вообще сливаются (см. рисунок):



Ясно, что в двух точках А и В, разделенных подобного рода полосой, обнаруживается некоторая сумма различий, так что можно говорить о двух четко дифференцированных говорах. Может также случиться, что эти совпадения уже не носят частичного характера, а происходят по всему периметру двух или нескольких площадей:



Когда таких совпадений оказывается достаточно много, уже можно говорить о диалекте в первом приближении. Совпадения эти объясняются социальными, политическими, религиозными и иными факторами, которые мы сейчас вовсе исключаем из нашего рассмотрения; они только заслоняют, никогда не устраняя окончательно, изначальное и естественное явление языковой дифференциации по самостоятельным областям.

**§ 4. У языков нет естественных границ**

Трудно определить, в чем состоит разница между языком и диалектом. Часто диалект называют языком, потому что на нем имеется своя литература; таковы языки португальский и голландский. Некоторую роль играет также вопрос взаимопонимания: о лицах, друг друга не понимающих, естественно говорить, что они разговаривают на разных языках. Как бы то ни было, те языки, которые развились на непрерывной территории среди оседлого населения, обнаруживают те же явления, что и диалекты, только в большем масштабе; мы встречаем в них такие же волны инноваций, однако эти волны охватывают территорию, общую для нескольких языков.

В воображаемой идеальной обстановке столь же невозможно устанавливать границы между родственными языками, как и между диалектами; бóльшая или меньшая величина территории роли не играет. Подобно тому как нельзя сказать, где кончается верхненемецкий диалект и где начинается нижненемецкий, не представляется возможным провести демаркационную линию между языками голландским и немецким, между французским и итальянским. Разумеется, если взять крайние точки, то всегда можно с уверенностью сказать: вот здесь господствует французский язык, а тут - итальянский; но, как только мы попадаем в области, промежуточные между этими крайними точками, различия стираются; не является реальностью и такая более ограниченная компактная зона, которую можно было бы вообразить себе в качестве переходной между двумя языками, как, например, провансальский язык в качестве переходного между французским и итальянским. И в самом деле, как и в какой форме можно себе представить точную лингвистическую границу на территории, которая с одного конца до другого занята диалектами с незаметными переходами от одного к другому? Границы между языками, как и между диалектами, тоже тонут в переходных явлениях. Подобно тому как диалекты представляют собой лишь произвольные подразделения на территории распространения того или другого языка, так и граница, будто бы разделяющая два языка, не может не быть условной.

Однако очень часто встречаются и резкие переходы от одного языка к другому; чем же это объясняется? Тем, что неблагоприятные обстоятельства воспрепятствовали сохранению незаметных переходов. Главнейшим фактором здесь являются миграции народов. Испокон веков народы то и дело передвигались в разных направлениях. Наслаиваясь одно на другое в течение столетий, эти переселения все перепутали и во многих местах не оставили и следов от переходных явлений от одного языка к другому. Характерным примером может служить индоевропейская семья языков. Первоначально эти языки должны были находиться в весьма тесном общении и образовывать непрерывную цепь языковых областей, главнейшие из которых в их общих чертахмы даже можем восстановить. Славянская группа языков по своим признакам пересекается с иранской и германской, что вполне сообразуется с географическим распределением соответствующих групп; равным образом германскую группу можно рассматривать как связующее звено между славянской и кельтской; последняя в свою очередь тесно связана с италийской, а италийская занимает промежуточное положение между кельтской и греческой. Таким образом, даже не зная географического расположения всех этих языков, лингвист не колеблясь мог бы установить положение каждого из них по отношению к другим. А между тем, как только мы начинаем рассматривать границу между двумя группами языков, например, между германскими и славянскими языками, мы тотчас обнаруживаем резкий скачок без всяких переходных явлений: два языка сталкиваются, а вовсе не переливаются один в другой. Объясняется это тем, что промежуточные диалекты исчезли. Ни славяне, ни германцы не оставались неподвижными; они переселялись, завоевывали друг у друга территории: славянские и германские народы, соседствующие ныне, живут уже не на тех территориях, на которых они жили в прежние времена. Предположим, что итальянцы из Калабрии переселились бы к границам Франции: такое передвижение, разумеется, разрушило бы те незаметные переходы, которые мы отмечаем между языками итальянским и французским. Развитие индоевропейской семьи характеризуется множеством аналогичных фактов.

Но есть и другие причины, способствующие стиранию переходных явлений, например распространение койне за счет народных говоров. В настоящее время французский язык (прежнее наречие Иль-де-Франса) сталкивается на границе государства с официальным итальянским языком (представляющим собой обобщившийся тосканский диалект), и чистой случайностью является то, что еще и теперь в Западных Альпах можно найти переходные наречия, тогда как во всех других местах на лингвистических границах воспоминание о промежуточных говорах полностью стерлось.

***Глава IV***

**Распространение языковых волн**

**§ 1. Сила общения и «дух родимой колокольни»**

Распространение фактов языка подчинено тем же законам, что и распространение любой привычки, например моды. В любом человеческом коллективе непрерывно и одновременно действуют в двух разных направлениях две силы: с одной стороны, дух локальной ограниченности, так сказать, «дух родимой колокольни», с другой стороны — тяга к взаимному общению, создающая связи между людьми.

«Духом родимой колокольни» объясняется то явление, что замкнутый языковой коллектив сохраняет верность развившимся внутри него традициям. Эти традиции усваиваются каждым человеком в детстве прежде всего; отсюда их сила и устойчивость. Если бы действовали только они, то это порождало бы в области человеческой речи особенности, расходящиеся до бесконечности.

Однако действие их уравновешивается противодействием противоположной силы. Если «дух родимой колокольни» делает людей домоседами, то тяга к взаимному общению заставляет их вступать между собой в различные отношения; взаимообщение приводит в гаухую деревню пришельцев из других местносгей, оно же перебрасывает часть населения из одного места в другое по случаю праздников или ярмарок и объединяет в рядах армии людей из разных провинций и т. д. Одним словом, это фактор объединяющий, в противоположность разобщающему действию «духа родимой колокольни».

На взаимообщении держится распространение языка и его внутреннее единство. Оно действует двояко: то отрицательно, предупреждая дробление на диалекты и препятствуя распространению любой инновации в любом месте и в любой момент ее возникновения; то положительно, благоприятствуя объединению путем принятия и распространения инноваций. Вот этот второй вид действия взаимообщения и оправдывает термин *волна* в применении к географическим пределам диалектных явлений; изогаоссематическая линия представляет собою как бы крайнюю черту, которой достигло наводнение, каждую минуту готовое схлынуть.

Иногда мы замечаем с изумлением, что в двух говорах одного и того же языка, отстоящих друг от друга весьма далеко, наблюдается общая особенность; объясняется это тем, что изменение, первоначально возникшее в одном пункте какой-либо территории, не встретило препятствий для своего распространения и мало-помалу достигло весьма отдаленной точки. Ничто не может воспрепятствовать действию взаимообщения в такой языковой среде, где налицо лишь незаметные постепенные переходы.

Такое распространение отдельного языкового факта, каковы бы ни были его пределы, требует времени. И продолжительность этого времени иногда можно измерить. Так, общение распространило по всей Германии переход звука þ в d*,* сперва осуществившийся между 800 и 850 гг. на всем юге, за исключением территории франкского наречия, где þ сохранилось в звонкой разновидности đ и уступило место d лишь впоследствии. Изменение t в ts произошло в более узких пределах и началось в эпоху, предшествующую первым письменным памятникам; оно, должно быть, возникло в Альпах около 600 г. и распространилось как на север, так и на юг — в Ломбардию, t читается еще в Тюрингенской хартии VIII в. В более близкую нам эпоху германские ī и ū превратились в дифтонги (ср. mein «мой» вместо mīn*,* braun «коричневый» вместо brūn); этому явлению, которое возникло в Богемии около 1400 г., понадобилось 300 лет, чтобы достигнуть Рейна и охватить занимаемую им ныне площадь.

Эти языковые факты распространялись, как бы заражая все новые области, и весьма возможно, что так обстоит дело со всеми волнами языковых инноваций: каждая из них зарождается в каком-либо пункте и оттуда распространяется по радиусам. Это приводит нас к еще одному важному выводу.

Как мы видели, для объяснения географического разнообразия достаточно фактора времени. Но этот принцип верен в полной мере лишь относительно того места, где возникла инновация.

Вернемся к примеру передвижения согласных в немецком языке. Стоит фонеме t в одном пункте германской территории превратиться в ts*,* чтобы новый звук начал как бы излучатьсяиз своей точки возникновения. И вот посредством такого движения в пространстве он и вступает в борьбу с прежним (или другими звуками, которые могли из него возникнуть в других пунктах. В месте своего возникновения такого рода инновация является фактом чисто фонетическим, но в дальнейшем она распространяется уже географически, заражая новые области. Поэтому схема

t

↓

ts

годится во всей своей простоте лишь для того очага, ще инновация возникла; применяя ее к распространению инновации, мы только исказили бы картину.

Итак, фонетист должен строго различать очаг инновации, где фонемы эволюционируют исключительно на временной оси, и ареалы распространения «инфекции», в которых действует и фактор времени, и фактор пространства и в отношении которых теория чисто фонетических факторов недействительна. При замене традиционного t пришедшим извне ts речь идет не об изменении традиционного прототипа, но о подражании соседнему говору без какого-либо отношения к этому прототипу; когда форма herza «сердце», придя с Альп, заменяет в Тюрингии более древнюю форму herta*,* следует говорить не о фонетическом изменении, а о заимствовании фонемы.

**§ 2. Сведение обеих взаимодействующих сил к одному общему принципу**

В некоторой точке пространства, то есть на минимальной площади, которую можно приравнять точке, например, в отдельной деревне, не составляет труда отличить, что обусловлено действием «духа родимой колокольни», а что—действием силы взаимообщения; каждый факт может зависеть только от одной из этих сил, но не от другой; всякое явление, встречающееся и в другом говоре, объясняется действием фактора взаимообщения; всякое явление, встречающееся только в говоре данного места, объясняется действием фактора локальной ограниченности.

Но как только мы переходим от точки к площади, например, от деревни к кантону, возникает известная трудность: оказывается, что установить, каким из двух факторов следует объяснить то или другое явление, невозможно; оба они, противоположные друг другу, тем не менее могут усматриваться в каждой особенности говора. То, что является отличительным признаком для кантона А, присуще всем его частям; здесь действует фактор локальной ограниченности, препятствующий этому кантону подражать в чем-нибудь соседнему кантону В, и обратно. Но здесь действует и унифицирующий фактор, то есть сила взаимообщения, обнаруживаемая между различными частями кантона А (А1, А2, А3 и т. д.). Таким образом, как только мы переходим от точки к площади, обнаруживается, что оба фактора действуют одновременно, хотя и в различных пропорциях. Чем более взаимообщение содействует какой-либо инновации, тем более расширяется область ее распространения; что же касается «духа родимой колокольни», то его действие заключается в удержании языкового факта в завоеванных им границах и в защите его от внешней конкуренции. Результатов действия каждой из этих двух сил предвидеть нельзя. Как уже говорили, на германской языковой территории, которая простирается от Альп до Северного моря, переход þ в d был общим, а изменение t в ts затронуло лишь юг; «дух родимой колокольни» создал противопоставление между севером и югом; однако внутри этих границ благодаря силе взаимообщения налицо языковое единство. Таким образом, в принципе нет существенной разницы между этим вторым явлением и первым. Налицо те же силы, но интенсивность их действия различна.

Все эго сводится к тому, что на практике при изучении языковых эволюции, охватывающих некоторое пространство, можно отвлекаться от фактора локальной ограниченности или, что то же, рассматривать его как отрицательный аспект унифицирующего фактора. Если этот последний достаточно могуществен, он обеспечит единство на всей территории; в противном случае явление остановится на полпути и охватит только часть территории; эта более ограниченная площадь будет тем не менее единым целым по отношению к своим частям. Вот почему все может быть сведено к действию одной лишь унифицирующей силы без какого-либо участия фактора локальной ограниченности, который представляет собой не что иное, как свойственную каждой данной области силу взаимообщения.

**§ 3. Языковая дифференциация на разобщенных территориях**

Лишь после того, как мы убедились, что в одноязычной массе сила внутреннего сцепления варьирует от одного языкового явления к другому, что не все инновации получают общее распространение, что непрерывность территории не препятствует постоянным процессам дифференциаци,— и лишь после всего этого мы можем перейти к вопросу о языке, параллельно развивающемся на двух разобщенных территориях.

Подобное явление встречается очень часто; с того момента, когда, например, германское наречие проникло с материка на Британские острова, его эволюция пошла в двух разных направлениях: с одной стороны (на материке)—немецкие диалекты, с другой стороны (на островах) — англосаксонский язык, от которого произошел английский. Можно еще указать на французский язык, перенесенный в Канаду. Разрыв языковых связей возникает не только в результате колонизации или завоевания, он может произойти и вследствие изоляции: так, румынский язык утратил контакт с романской средой, будучи оторван от нее славянским населением. Впрочем, дело не в причине; вопрос заключается прежде всего в том, чтобы выяснить функцию изоляции: играет ли она роль в истории языков и если играет, то порождает ли она последствия, не встречающиеся в случае непрерывности языковой территории.

Чтобы лучше выяснить преобладающее действие фактора времени, мы представили себе выше такой язык, который развивается параллельно в двух местах, незначительных по своей протяженности, например на двух островках,—случай, когда можно отвлечься от постепенного распространения языка в пространстве. Но едва мы обращаемся к двум территориям более или менее значительной протяженности, как вступает в действие этот последний фактор, а это ведет к появлению диалектных различий; таким образом, вся проблема вовсе не упрощается от наличия разобщенных территорий. Не следует приписывать фактору разобщенности то, что может быть объяснено помимо него.

Подобную ошибку совершали первые индоевропеисты. Изучая большую семью значительно разошедшихся друг с другом языков, они не представляли себе, чтобы эта дифференциация могла произойти иначе, чем путем географического дробления. В самом деле, можно легко представить себе различие языков при раздельности их территорий, а при поверхностном наблюдении эта раздельность кажется необходимым и достаточным объяснением самого факта дифференциации. Но это не все: названные ученые связывали понятие языка с понятием народа и при помощи этого второго объясняли первое; они представляли себе славян, германцев, кельтов и т. д. как несколько роев, последовательно вылетавших из одного улья; эти племена, оторвавшись от своей родной почвы, будто бы разнесли в своих переселениях общий индоевропейский язык по различным территориям.

Потребовалось много времени, чтобы обнаружить ошибочность этого взгляда; только в 1872 г. работа И. Шмидта «Die Verwandtschaftsverhāltnisse der indogermanischen Sprachen» открыла лингвистам глаза и положила начало теории непрерывности, получившей название «теории волн» (Wellentheorie) . Стало ясно, что для объяснения соотношений между индоевропейскими языками совершенно достаточно допущения об их дифференциации на месте и что для этого нет никакой необходимости предполагать перемещения народов друг относительно друга в пространстве в результате миграций.

Диалектные различия могли и должны были развиться в их среде еще до того, как они расселились по разным местам. Таким образом, теория волн не только приводит нас к более верному взгляду на индоевропейскую доисторию, но и вскрывает основные законы всех явлений языковой дифференциации и условия, определяющие родство языков.

Однако теория волн, противопоставленная теории миграций, не исключает ее. История индоевропейских языков являет нам немало примеров, когда народы в результате переселения отрывались от своей языковой семьи, и это обстоятельство имело специфические последствия для их языка; дело лишь в том, что эти последствия сливаются с последствиями, проистекающими из действия фактора дифференциации языка на непрерывной территории, так что весьма трудно установить, в чем они заключаются; таким образом, мы опять возвращаемся к проблеме эволюции одного наречия на разобщенных территориях.

Возьмем староанглийский язык. В результате миграции он отделился от общего германского ствола. Возможно, что у него был бы другой, не нынешний вид, если бы в V в. саксы не покинули материка. Но в чем же выразились специфические последствия разобщения? Чтобы ответить на это, надо сначала выяснить, не могло ли бы то или другое изменение возникнуть и в условиях географической смежности. Допустим, англы заняли бы Ютландию, а не Британские острова; можно ли утверждать, что ни один из фактов, приписываемых фактору абсолютной разобщенности, не имел бы места в случае, если бы непрерывность территории сохранилась? Говорить, будто разобщение позволило английскому языку сохранить древний звук þ перешедший на всем материке в d (ср. англ. thingи нем. Ding «вещь»), равносильно утверждению, что в германских языках на материке это явление сделалось общим благодаря географической непрерывности, тогда как на самом деле всеобщность этого явления могла бы и не реализоваться, невзирая на непрерывность территории. Как и всегда, ошибка коренится в противопоставлении изолированного диалекта диалектам географически связанным. А между тем ничем фактически не доказано, будто англы, если бы они утвердились в Ютландии, непременно «заразились» бы общим примером и стали произносить d*.* Мы уже видели, что во французской языковой области k(+a) сохранилось только в Пикардии и части Нормандии, тогда как на всей прочей территории оно изменилось в шипящее ∫*.* Таким образом, объяснение фактором изоляции оказывается недостаточным и поверхностным. Ни при каких обстоятельствах нет необходимости ссылаться на этот фактор для объяснения факта дифференциации; то, что приписывается действию изоляции, отлично может осуществиться и в случае географической смежности; если даже и есть разница между этими двумя рядами явлений, то установить ее не в наших силах.

Тем не менее, рассматривая два родственных наречия уже не в отрицательном аспекте их дифференциации, но в положительном аспекте их единства, мы констатируем, что при изоляции все возможные взаимоотношения потенциально прерываются с самого момента разделения этих наречий; напротив, при географической смежности некоторое единство сохраняется даже между резко различными наречиями, лишь бы они были связаны промежуточными диалектами.

Таким образом, для установления степеней родства между языками следует проводить строгое различие между территориальной непрерывностью и изоляцией. В этом последнем случае оба языка сохраняют от своего общего прошлого некоторые черты, свидетельствующие об их родстве; но, поскольку каждый из них развивается самостоятельно, возникшие в одном из них новые признаки не будут встречаться в другом (за исключением тех случаев, когда некоторые возникшие после разделения явления оказываются случайно тожественными в обоих языках). Во всяком случае, исключается возможность распространения этих новых признаков путем «инфекции». Вообще говоря, развивавшийся в географической разобщенности язык представляет по сравнению с родственными языками совокупность черт, принадлежащих только ему; когда же этот язык в свою очередь подвергается дроблению, происшедшие от него отдельные диалекты свидетельствуют благодаря общности своих черт о более тесном родстве, связывающем их между собою, но не с диалектами другой территории. Они действительно образуют особую ветвь, отделившуюся от общего ствола.

Совершенно иные отношения наблюдаются у языков на непрерывной территории; наблюдаемые у них общие черты не обязательно должны быть древнее тех черт, которые их разделяют: в самом деле, в каждый данный момент какая-либо инновация, возникшая в каком-нибудь определенном пункте, может получить общее распространение и даже захватить целиком всю территорию. Кроме того, поскольку площади инноваций в каждом отдельном случае различны по своей протяженности, постольку у двух смежных, языков может оказаться общая особенность, хотя они и не образуют особой группы в общем целом и каждая из них может связываться со смежными языками другими своими чертами, как это мы видим на примере индоевропейских языков.

**Часть пятая**

**ВОПРОСЫ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ**

***Глава I***

**Две перспективы диахронической лингвистики**

В то время как синхроническая лингвистика знает только одну точку зрения, точку зрения говорящих, а следовательно, один метод, диахроническая лингвистика предполагает одновременное наличие двух точек зрения или перспектив: проспектив-ную — взгляд, направленный по течению времени, и ретроспективную — взгляд, направленный вспять, против течения времени.

Первая перспектива диахронической лингвистики соответствует действительному ходу событий; этой перспективой по необходимости пользуются при написании любой главы исторической лингвистики, при освещении любого момента в истории языка. Метод при этом сводится исключительно к критике доступных источников. Но во многих случаях этот метод диахронической лингвистики оказывается недостаточным или вообще неприменимым.

В самом деле, для того чтобы описать историю языка во всех подробностях, следуя за течением времени, нужно было бы обладать бесчисленным множеством фотографий языка, снятых в каждый момент его существования. Между тем это условие никогда не может быть выполнено; романисты, например, преимущество которых состоит в том, что они знакомы с латинским языком, который является отправным пунктом их исследования, а также в том, что они обладают внушительным числом документов, относящихся к длинному ряду веков, ежеминутно убеждаются в огромных пробелах в их документации. В таких случаях приходится отказываться от проспективного метода, от непосредственного использования источников, и следовать в обратном направлении, идя против течения времени, то есть прибегать к ретроспективному методу. В этом случае, отправляясь отданной эпохи, выясняют не то, к чему привела какая-либо из свойственных ей форм, а то, какой была более древняя форма, которая могла породить данную.

В то время как проспективный метод сводится к простому повествованию и целиком опирается на критику источников, ретроспективное исследование требует метода реконструкции, который опирается на сравнение. Нельзя установить первоначальную форму для одного изолированного знака, тогда как два различных, но общих по происхождению знака, как, например, лат. pater «отец», скр. pitar*-* «отец» или основы лат. ger-ō «ношу» и ges*-*tus (причастие прошедшего времени от ger-ō)*,* позволяют в результате их сравнения наметить ту диахроническую единицу, которая связывает их с неким прототипом, который можно восстановить путем индукции. Чем многочисленней члены сравнения, тем точнее оказывается эта индукция, которая — при наличии достаточно обильных данных — может привести к подлинным реконструкциям.

То же относится и к языку в целом. Из баскского языка самого по себе ничего нельзя извлечь, так как, будучи изолированным, он не дает материала для сравнений. Но из пучка родственных языков, какими являются греческий, латинский, старославянский и т. д., оказалось возможным путем сравнения выявить первоначальные общие элементы, в них заключенные, и восстановить общую физиономию индоевропейского праязыка, как он существовал до своего раздробления в пространстве. То, что было сделано для всей языковой семьи в целом, было повторено в более ограниченных масштабах, но при помощи тех же самых приемов для каждой из ее частей, всюду, где это оказалось необходимым и возможным. Так, например, многочисленные германские языки засвидетельствованы непосредственно, то есть письменными памятниками, а общегерманский праязык, откуда произошли все эти языки, известен нам только косвенно - благодаря ретроспективному методу. Теми же самыми способами лингвисты исследовали с большим или меньшим успехом первоначальное единство прочих языковых семей.

Итак, ретроспективный метод дает нам возможность проникнуть в прошлое языка глубже самых древних документов. Так, проспективная история латинского языка едва начинается в III или IV в. до н. э., а путем восстановления индоевропейского праязыка удалось составить себе представление о том, что должно было происходить в течение периода от первоначального единства до первых известных нам латинских памятников, и только после этого оказалось возможным нарисовать проспективную картину развития.

В этом отношении эволюционную лингвистику можно сравнить с геологией, которая также является исторической наукой; геология иногда описывает уже сложившиеся состояния (например, нынешнее состояние бассейна Женевского озера), отвлекаясь от того, что предшествовало данному состоянию во времени; но главным образом она занимается событиями, трансформациями, последовательность которых создает диахронические ряды. В теории, правда, можно мыслить проспективную геологию, но фактически чаще всего ее точка зрения оказывается ретроспективной; перед тем как приступить к рассказу о происшедшем в той или другой точке земной поверхности, приходится восстанавливать цепь событий и исследовать, что именно привело данную часть земного шара к ее нынешнему состоянию.

Ясно, что методы обеих перспектив расходятся очень резко, и, более того, с чисто дидактической точки зрения не представляется целесообразным применять их в одном изложении одновременно. Так, при изучении фонетических изменений обнаруживаются две совершенно различные картины в зависимости от использования того или другого метода. Оперируя проспектив-ным методом, мы пытаемся, например, узнать, во что превратился во французском языке звук ĕ классического латинского языка; оказывается, что этот единый звук пошел в своей эволюции разными путями и явился источником нескольких фонем: ср. pĕdem «ногу» → pje (пишется pied) «нога», vĕntum «ветер» (вин. п.) → vã (пишется vent) «ветер», lĕctum «ложе» (вин. п.) → li (пишется lit) «ложе, кровать», nĕsāre «убивать» → nwage (пишется noyer*)* «топить» и т. д.; если же в ретроспективном разрезе исследовать, что представляет собою в латинском языке французское открытое ε*,* то окажется, что этот единый звук является конечной точкой нескольких первоначально различных фонем: ср. tεr (пишется terre) «земля» ← tĕrram «землю», vεr3 (пишется verge) «прут» ← vĭrgam «прут» (вин. n.), fε (пишется fait) «дело» ← factum «дело» (вин. п.) и т. д. Эволюция формантов также могла бы быть представлена этими обоими способами, и получившиеся две картины оказались бы различными; это a priori уже ясно из всего того, что мы говорили выше об аналогических образованиях. Если, например, мы станем исследовать ретроспективно происхождение суффикса французского причастия на -é, то дойдем до латинского -ātum;этот суффикс по своему происхождению прежде всего связывается с латинскими отыменными глаголами на -āre*,* восходящими в свою очередь в большей части к существительным женского рода на -а (ср. plantāre «сажать» (растения) : planta«растение», греч. tīmáō «ценить»: tīmá «почесть» и т. п.); с другой стороны, -ātum не существовало бы, если бы индоевропейский суффикс -to- не был сам по себе живучим и продуктивным (ср. греч. klu-tó-s «знаменитый», лат. in-clu-tu-s «известный», скр. çru-ta-s «известный» и т. д.); -ātum заключает в себе еще формант винительного падежа ед. ч. -m. Если же затем, встав на проспективную точку зрения, спросить себя, в каких французских формах встречается первоначальный суффикс -to-, то можно указать не только на различные суффиксы, как продуктивные, так и непродуктивные, причастия прошедшего времени (франц. aimé ← лат. amātum [вин. п. от amātus «любимый»], франц. fini ← лат .fīnītum [вин. п. от fīnītus «оконченный»], франц. clos ← лат. clausum [вин. п. от clausus«запертый»] вместо \*claudtum «запертый»), но и на многое другое, как-то: франц. –u ← лат.-ūtum (франц. cornu ←лат. cornūtum[вин. п. от cornūtus «рогатый»]), книжный французский суффикс -tif ← лат. tīvum(франц. fugitif ← лат. fugitīvum [вин. п. от fugitivūs «беглый»]; тоже во франц. sensitif«чувственный»», négatif «отрицательный» и т. д.) и на множество ныне не анализируемых слов, как-то: франц. point «дырка (в ремне и т. п.)» ← лат. punctum [вин. п., от punctus «проколотый», «продырявленный»], франц. dé «игральная кость» ← лат. datum [вин. п. от datus «бросаемый», «брошенный»], франц. chétif «плохой», «бедный» ← лат. captīvum [вин. п. от captīvus «пленный»] и т. д.

***Глава II***

**Наиболее древний язык и праязык**

Первые индоевропеисты не понимали ни истинного назначения сравнения, ни важности метода реконструкции. Этим объясняется одно из наиболее поразительных заблуждений: преувеличенная и почти исключительная роль, которую отводили санскриту в деле сравнения; поскольку санскрит представляет собой наиболее древний засвидетельствованный индоевропейский язык, он был возведен в сан прототипа, то есть праязыка. Но одно дело — предполагать, что некий индоевропейский праязык породил языки санскритский, греческий, славянский, кельтский, италийский, а другое дело—поставить один из этих языков на место индоевропейского. Это грубое смешение привело к многообразным и глубоким следствиям. Правда, такая гипотеза никогда не была сформулирована столь категорически, как мы это только что сделали, но на практике ее молчаливо допускали. Бопп писал, что он «не думает, чтобы санскрит был общим источником индоевропейских языков», допуская тем самым возможность существования, хотя бы проблематически, подобного предположения.

Это приводит нас к постановке следующего вопроса: что значит, когда говорят, что один язык более древен или более стар, чем другой? Теоретически здесь возможны три толкования:

1. Прежде всего, можно думать об абсолютном начале, об исходной точке какого-либо языка; но достаточно самого простого рассуждения, чтобы убедиться в том, что нет языка, которому можно было бы приписать возраст, ибо любой язык в любой момент является не более как продолжением состояния, существовавшего до него. В этом отношении развитие языка отличается от развития человеческого рода: абсолютная непрерывность языкового развития не позволяет видеть в нем смену поколений, и Гастон Парис справедливо восставал против концепции «языков-матерей» и «языков-дочерей», так как такая концепция предполагает прерывистость.

Следовательно, не в этом смысле можно говорить о том, что один язык старше другого.

2. Можно, далее, считать, что одно состояние языка засвидетельствовано в более древнее время, нежели другое: так, персидский язык ахеменидских надписей древнее персидского языка Фирдоуси. Поскольку речь идет, как в этом частном случае, о двух наречиях, из которых одно в точном смысле происходит от другого и оба одинаково нам известны, само собою очевидно, что в этих условиях является древним. Но если оба эти условия не выполнены, то древность никакого значения не имеет: так, литовский язык, засвидетельствованный лишь с 1540 г., не менее драгоценен в этом отношении, чем старославянский, известный с Χ в., или даже чем ведийский санскрит.

3. Слово «древний» может, наконец, применяться к более архаическому состоянию языка, то есть к такому его состоянию, когда формы в нем ближе к своему начальному образцу, и это независимо от вопроса о датировке. В этом смысле можно было бы сказать, что литовский язык XVI в. древнее, чем латинский язык III в. до н. э.

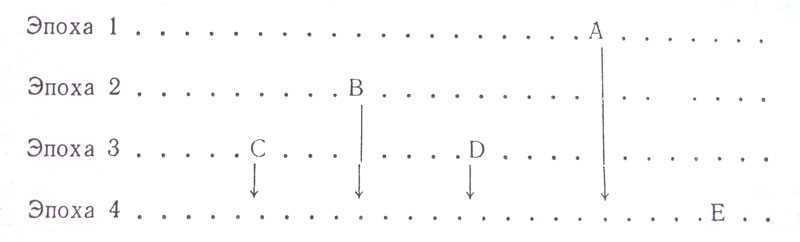
Итак, если приписывать санскриту большую древность по сравнению с прочими языками, то только во втором или третьем смысле, и на самом деле он древнее других индоевропейских языков и во втором и в третьем смысле. С одной стороны, считается, что ведические гимны старше самых древних греческих текстов, с другой стороны — и это особенно важно,— сумма сохраняемых в нем архаических черт более значительна по сравнению с прочими языками.

Вследствие довольно смутного представления о древности, превращавшего санскрит в нечто предшествовавшее всем прочим языкам индоевропейской семьи, лингвисты, даже освободившись от идеи, будто он является праязыком, неоднократно в дальнейшем продолжали придавать чересчур большое значение свидетельству санскрита как одного из ответвлений индоевропейского праязыка.

В своих «Les erigines indo-européennes» А. Пикте, хотя и признает открыто существование первобытного индоевропейского народа, говорившего на своем собственном языке, тем не менее убежден, что прежде всего надо справляться с показаниями санскрита, которые по своей ценности превосходят показания других языков той же семьи, вместе взятых . Вот это заблуждение и затемняло в течение многих лет первостепенные проблемы, как, например, вопрос о первоначальном вокализме.

Эта ошибка повторялась неоднократно и в других, более частных случаях. При изучении отдельных ветвей индоевропейской семьи обнаруживалась тенденция считать древнейший из известных языков адекватным и достаточным представителем всей группы, причем не делалось попыток выяснить точнее характер начального состояния прототипа данной ветви. Так, например, вместо того чтобы говорить о прагерманском языке, не стеснялись ссылаться попросту на готский, так как он на несколько веков старше прочих германских диалектов; таким образом, он узурпировал положение прототипа, источника всех остальных германских наречий. В отношении славянских языков долго базировались исключительно на церковнославянском (=старославянском), известном с Χ в., потому что прочие славянские языки известны с более поздних времен.

Фактически чрезвычайно редко встречается, чтобы две закрепленные письменностью в разные сроки формы языка представляли в точности одно и то же наречие в два различных момента его истории. Чаще всего мы имеем дело с двумя диалектами, которые не являются в лингвистическом смысле продолжением один другого. Из исключений, только подтверждающих это правило, наиболее разительным являются романские языки по отношению к латинскому: восходя от французского к латинскому, мы все время находимся на вертикальной прямой; территория, занимаемая этими языками, по случайности совпадает с той территорией, где говорили на латинском языке, и каждый из них не что иное, как эволюционировавший латинский язык. Равным образом, как мы уже видели, древнеперсид-ский язык надписей Дария представляет собой тот же язык, что и средневековый новоперсидский. Но обратное встречается гораздо чаще: письменные памятники различных эпох принадлежат разным языкам одной и той же семьи. Так, германская группа языков последовательно открывается нам в готском языке Ульфилы, не оставившем продолжения, затем в текстах древневерхненемецкого языка, еще позже - в памятниках языков англосаксонского, древнескандинавского и т. д.; и вот ни один из этих языков или групп языков не является продолжением языка, засвидетельствованного ранее. Такое положение вещей может быть представлено в виде нижеследующей схемы, где буквы изображают языки, а строчки — последовательные эпохи:

******

Лингвистика может только радоваться такому положению вещей: если бы дело обстояло иначе, то первый известный нам язык А уже заключал бы в себе все, что можно извлечь путем анализа из последующих состояний языка, тогда как, отыскивая точку схождения всех реально представленных языков А, В, С, D и т. д., мы найдем форму более древнюю, чем А, а именно прототип X, и тогда смешение А и Χ окажется невозможным.

***Глава III***

**Реконструкция**

**§ 1. Характер реконструкции и ее цели**

Реконструкция возможна лишь путем сравнения, и в свою очередь у сравнения нет иной цели, кроме реконструкции. Если мы не хотим, чтобы установленные нами соответствия между несколькими формами оказались бесплодными, мы должны поместить их во временную перспективу и прийти к восстановлению их единой прафор-мы; на этом пункте мы настаивали уже несколько раз, для объяснения лат. medius «средний» сравнительно с греч. mésos «средний» оказалось нужным, не восходя к индоевропейскому состоянию, установить более древнее состояние \*methyos, которое можно считать исторически связанным и с medius и с mésos*.* При сравнении не двух слов двух различных языков, но двух форм, взятых внутри одного языка, обнаруживается то же самое: так, лат. ger**ō**«ношу» и gestus (прич. прош. вр. от gerō) позволяют установить основу \*ges-, некогда общую для этих обеих форм.

Заметим, что сравнение, которое касается фонетических изменений, всегда должно учитывать морфологические соображения. Исследуя лат. patior «терплю» и passus «терпевший», я привлекаю factus*,* dictus и др., потому что passus является образованием того же типа; лишь основываясь на морфологическом соотношении между faсiō «делаю» и factus «сделанный», dīcō «говорю» и dictus«сказанный» и т. п., я могу установить такое же соотношение в более раннюю эпоху между patior и \*рat-tus *.* В свою очередь, если сравнение носит морфологический характер, я должен подкреплять его с помощью фонетики: лат. meliōrem (вин. п. от melior«лучший») можно сравнить с греч. hēdíō (вин. п. от hēdíōon «более приятный»), потому что фонетически первое восходит к \*meliosem, \*meliosm, а второе — к \*hādioa , \*hādiosa , \*hādiosm.

Итак, сравнение в лингвистике не есть механическая операция; оно требует сопоставления всех тех данных, из которых можно извлечь материал для объяснения. Но оно всегда должно приводить к некоторой гипотезе, выраженной в определенной формуле и стремящейся восстановить что-то, существовавшее раньше; сравнение всегда должно вести к реконструкции форм.

Однако требует ли ретроспективный подход обязательной реконструкции цельных и конкретных форм более раннего состояния? Или же, наоборот, мы можем довольствоваться абстрактными частными утверждениями, которые касаются частей слов, каким, например, является утверждение, что лат. f в fūmus «дым» соответствует общеиталийскому þ или что первым элементом греч. állo «другое», лат. aliud «другое» уже в индоевропейском было *а*? Ретроспективный подход может ограничивать свою задачу изысканиями второго рода; можно даже утверждать, что у его аналитического метода нет другой цели, кроме частных констатации. Оказывается, однако, что из суммы изолированных фактов можно извлекать более общие выводы: например, ряд фактов, аналогичных только что указанному относительно лат. fūmus*,* позволяет с уверенностью утверждать, что þ входило в фонологическую систему общеиталийского языка; равным образом, если можно утверждать, что в индоевропейском так называемом местоименном склонении обнаруживается окончание ед. ч. ср. р. -d*,* отличное от окончания прилагательных -m с тем же значением, то это есть общий морфологический факт, выведенный из совокупности отдельных констатации (ср. лат. istud «это», *aliud* «другое» при bonum «хорошее», греч. tó (артикль ср. p.) ← \*tod, állo«другое» ← \*allod при kalón «прекрасное», англ. that «это» и т. д.). Можно идти дальше: установив эти отдельные факты, мы переходим к синтезированию всех тех из них, которые относятся к какой-нибудь целой форме, с целью реконструировать целые слова (например, и.-е. *\**aljod*),* парадигмы словоизменения и т. п. Для этого мы соединяем в один пучок ряд совершенно не зависящих друг от друга утверждений; сравнивая, например, отдельные части такой восстановленной нами формы, как *\**aljod*,* мы замечаем большую разницу между -d, связанным с грамматической проблемой, и *а-,* не имеющим никакого грамматического значения. Реконструированная форма не есть единое целое: она всегда представляет собой разложимую сумму фонетических выводов, причем каждый из них может быть в отдельности аннулирован или пересмотрен. И действительно, восстановленные формы всегда являлись верным отражением общих, относящихся к ним выводов. Индоевропейское слово в значении «конь» последовательно предполагалось в формах \*akvas, \*ak1vas, \*ek1vos*,* наконец, \*ek1wos, бесспорными остались только s да число фонем.

Целью реконструкции является, следовательно, не восстановление цельной формы ради нее самой, что к тому же было бы довольно смешным, но как бы кристаллизация или конденсирование целого ряда признаваемых правильными выводов в соответствии с результатами, установленными в каждом отдельном случае: короче говоря, цель реконструкции - регистрация успехов нашей науки.

Нет надобности оправдывать лингвистов в приписываемом им нелепом намерении восстановить индоевропейский язык во всей его полноте, как если бы они желали пользоваться им в повседневной речи. В действительности у них нет такого намерения даже в тех случаях, когда они исследуют известные исторические языки (лингвист изучает латинский язык не для того, чтобы лучше на нем говорить), тем более, когда они исследуют отдельные слова доисторических языков.

Если даже реконструкции и остаются подверженными пересмотру, без них обойтись нельзя, если мы хотим получить представление об изучаемом языке в целом и о том языковом типе, к которому он принадлежит. Реконструкция — это необходимый инструмент, с помощью которого с относительной легкостью устанавливается множество общих фактов синхронического и диахронического порядка. Основные особенности индоевропейского языка сразу же получают надлежащее освещение в результате всей совокупности реконструкций, например, тот факт, что суффиксы были составлены из определенных элементов (t, s, r и др.) с выключением прочих или что сложное разнообразие в вокализме немецких глаголов (ср. werden, wirst, ward, wurde, wоrden) таит в себе одно и то же первоначальное чередование: *е — о — нуль.* Тем самым косвенно весьма облегчается историческое исследование последующих периодов: без помощи предварительной реконструкции было бы крайне трудно объяснить изменения, происшедшие в течение стольких веков, начиная с доисторического периода.

**§ 2. Степень достоверности реконструкций**

Одни из восстановленных форм совершенно несомненны, другие спорны или вообще сомнительны. А между тем, как мы только что видели, степень достоверности целых форм зависит от той относительной достоверности, которую можно приписать участвующим в синтезе этих форм частным реконструкциям. В этом смысле нельзя найти и двух слов, восстановленных с одинаковой достоверностью; между столь убедительными индоевропейскими формами, как \*esti «он есть» и \*didōti «дает», есть разница, потому что во втором слове гласная в удвоении [корня] допускает сомнения (ср. скр. dadāti и греч. dídōsi).

Существует тенденция считать реконструкции менее надежными, чем они являются на самом деле. Нижеследующие три обстоятельства позволяют нам быть в этой области более уверенными .

Первое обстоятельство, основное, уже было указано: если дано слово, то можно отчетливо различить составляющие его звуки, их число и их границы; мы уже видели, что именно следует думать о возражениях некоторых лингвистов, рассматривающих звуки сквозь фонологический микроскоп. В таком сочетании, как -sn-, конечно, есть звуки беглые или переходные; однако было бы антилингвистичным принимать их в соображение; обыкновенное ухо их не различает, а говорящие всегда сходятся во мнениях относительно числа элементов. Поэтому мы вправе утверждать, что в индоевропейской форме \*ek1wos есть только пять различимых, дифференциальных элементов, принимавшихся во внимание говорящими.

Второе обстоятельство касается системы этих фонологических элементов в каждом языке. Всякий язык оперирует определенной гаммой фонем, число которых точно ограничено. В индоевропейском праязыке все элементы системы обнаруживаются по меньшей мере в дюжине форм, установленных путем реконструкции; число этих реконструкций может достигать нескольких тысяч. Следовательно, мы можем быть уверены, что знаем все элементы системы.

Наконец, чтобы познать звуковые единицы языка, нет необходимости характеризовать их положительные качества, достаточно рассмотреть их как дифференциальные величины, сущность которых состоит в том, чтобы не смешиваться друг с другом. Это до такой степени существенно, что звуковые элементы восстанавливаемого языка можно было бы обозначать при помощи цифр или каких-либо других условных значков. В \*ĕk1wŏs бесполезно определять абсолютное качество звука ĕ и выяснять, был он открытым или закрытым, более продвинутым вперед или нет и т. п.; поскольку не установлено наличие нескольких разновидностей ĕ*,* все эти тонкости не имеют значения; важно только одно: не смешивать этого звука ни с одним из прочих различаемых в этом языке элементов (ǎ, ŏ, ē и т. д.). Иначе говоря, дело сводится к тому, чтобы первая фонема слова \*ĕk1wŏs не отличалась от второй фонемы в *\**mĕdhjŏs*,* от третьей фонемы в \*ǎgĕ и т. д. и чтобы можно было, не уточняя ее звуковых свойств, поместить ее под определенным номером в таблице индоевропейских фонем. Таким образом, реконструкция \*ĕk1wŏs означает только то, что индоевропейское соответствие лат. equos*,* скр. açva-s и т. д. состояло из пяти определенных фонем, взятых из фонологической гаммы праязыка.

В указанных нами границах реконструкции сохраняют, следовательно, свою полную силу.

***Глава IV***

**Свидетельства языка в антропологии и доистории**

**§ 1. Язык и раса**

Благодаря ретроспективному методу лингвист может двигаться назад - в глубь веков и восстанавливать языки, на которых говорили народы еще до своего вступления на арену истории. Но не могли ли бы подобные реконструкции дать нам сведения и о самих народах, об их расовой принадлежности, происхождении, общественных отношениях и институтах, нравах и пр.? Одним словом, может ли язык помочь антропологии, этнографии, доистории? Обычно на это отвечают утвердительно, но мы полагаем, что в этой уверенности есть значительная доля иллюзии. Рассмотрим вкратце некоторые стороны этой проблемы.

Начнем с расы. Ошибочно думать, что от общности языка можно прийти к заключению о единокровности, что понятие языковой семьи покрывает понятие антропологического семейства. Действительность не так проста. Имеется, например, германская раса, антропологические признаки которой весьма четки: белокурые волосы, удлиненный череп, высокий рост и т. д.; совершеннее всего представлена эта раса в скандинавском типе. А между тем говорящие на германских языках народы далеко не целиком отвечают этим приметам: так, алеманны, живущие у подножия Альп, своим антропологическим типом существенно отличаются от скандинавов. Но нельзя ли по крайней мере предположить, что сам по себе язык принадлежал первоначально одной расе и если на нем говорят чуждые этой расе народы, то лишь вследствие того, что данный язык был навязан этим народам путем завоевания? Конечно, мы часто встречаемся со случаями добровольного или насильственного принятия какой-либо нацией языка ее завоевателей: примером могут служить галлы, покоренные римлянами; но это не объясняет всего; например, в случае с германцами, даже если допустить, что они подчинили себе столько разных народов, они все же не могли полностью поглотить их - для этого следовало бы предположить долгое доисторическое владычество и иные обстоятельства, ничем не устанавливаемые.

Итак, единокровность и языковая общность не находятся, по-видимому, в необходимой связи между собой, и поэтому нельзя умозаключать от одной к другой. Следовательно, в тех многочисленных случаях, когда показания антропологии и языка не сходятся, нет необходимости ни противопоставлять их друг другу, ни делать между ними выбор: каждое сохраняет свою полную значимость в своей области.

**§ 2. Этнизм**

О чем же свидетельствуют показания языка? Единство расы само по себе может быть лишь второстепенным и вовсе не необходимым фактором языковой близости. Но есть другое единство, бесконечно более важное, единственно существенное, возникающее на основе общественных связей, - мы будем называть его *этнизмом.* Под этнизмом мы разумеем единство, покоящееся на многообразных взаимоотношениях в области религии, культуры, совместной защиты и т. д., устанавливающихся даже между народами различного расового происхождения и при отсутствии всякой политической связи.

Именно между этнизмом и языком и устанавливается то отношение взаимной связи, которое мы уже констатировали выше. Общественные связи имеют тенденцию создавать общность языка и налагают, быть может, некоторые свои черты на этот общий язык; и наоборот, общностью языка в некоторой мере и создается этническое единство. Этого последнего, вообще говоря, совершенно достаточно для объяснения языковой близости. Например, в начале средних веков существовал романский этнизм, объединяющий при отсутствии политической связи народы весьма разнообразного происхождения. С другой стороны, по вопросу об этническом единстве надо прежде всего осведомляться у языка, так как его показания существеннее всех прочих. Вот пример этому: в древней Италии рядом с латинянами мы встречаем этрусков; разыскивая, что между ними общего, в надежде найти их общее происхождение, можно обращаться ко всему тому, что эти народы оставили: к вещественным памятникам, религиозным обрядам, политическим учреждениям и т. п.; но таким путем мы никогда не получим той уверенности, которая появится, как только мы обратимся к языку: четырех строк этрусского текста достаточно, чтобы убедиться в том, что говоривший на этом языке народ в корне отличался от той этнической группы, которая говорила на латинском языке.

Итак, в этом отношении и в указанных границах язык может служить историческим документом: так, например, тот факт, что индоевропейские языки образуют семью, дает нам основание умозаключить о некоем первоначальном этнизме, более или менее прямыми наследниками которого, в результате социальной преемственности, являются говорящие ныне на этих языках народы.

**§ 3. Лингвистическая палеонтология**

Если общность языка позволяет говорить о социальной общности, лежащей в ее основе, то не дает ли язык возможности вскрыть природу этого общего этнизма?

Долго предполагали, что языки являются неисчерпаемыми источниками свидетельств о народах, на них говорящих, и о доистории этих народов. Адольф Пикте, один из пионеров кельтоло-гии, особенно известен своей книгой «Происхождение индоевропейцев» («Les origines indo-européennes», 1859—1863). Эта работа послужила образцом для многих других и до сих пор остается самой увлекательной из них. Пикте стремится, основываясь на показаниях индоевропейских языков, вскрыть основные черты цивилизации «ариев»; он считает возможным установить ее различные аспекты: материальный быт (орудия, оружие, домашние животные), общественную жизнь (были ли они кочевниками или земледельцами), тип семьи, управление; он старается найти колыбель «ариев», которую он помещает в Бактрии; он изучает флору и фауну населяемой ими страны. Его работа представляет самый значительный опыт, сделанный в этом направлении; развившаяся отсюда дисциплина получила название лингвистической палеонтологии.

С тех пор делались дальнейшие попытки в этом направлении; одна из последних принадлежит Герману Хирту («Die Indogermanen», 1905-1907)\*. Для определения прародины индоевропейцев он опирается на теорию И. Шмидта; однако он часто прибегает и к лингвистической палеонтологии: словарные факты привлекаются им для доказательства того, что индоевропейцы были земледельцами, и он отказывается считать их родиной южную Россию, поскольку она более пригодна для кочевого образа жизни; повторяемость названий деревьев, в особенности некоторых пород (ель, береза, бук, дуб), наводит его на мысль, что родина их была лесистой и что находилась она между Гарцем и Вислой, а именно в районе Бранденбурга и Берлина. Напомним также, что еще до Пикте Адальберт Кун и другие пользовались лингвистикой для реконструкции мифологии и религии индоевропейцев.

Однако нам кажется, что нельзя требовать от языка показаний такого рода; причины, почему он не может их дать, по нашему мнению, следующие.

Прежде всего, недостоверность этимологии: мало-помалу выяснилось, сколь редки слова, происхождение которых установлено абсолютно надежно, и в результате лингвистам пришлось стать более осторожными. Приведем пример, свидетельствующий о смелости прежних изысканий: сближают лат. servus «раб» и servāre «сторожить», хотя, быть может, без особых на то оснований; затем первому из этих слов приписывают значение «сторож» и умозаключают, что раб первоначально был сторожем дома! А между тем нельзя даже утверждать, что servāre имело вначале смысл «сторожить». Но это не все: смысл слов эволюционирует; значение слов часто меняется одновременно с перемененой местопребывания народов. Предполагалось также, что отсутствие слова служит доказательством отсутствия в первобытной культуре того, что этим словом обозначают, но это заблуждение. Так, например, слово со значением «возделывать землю» отсутствует в индоевропейских языках Азии; но из этого вовсе не следует, что земледелие было вначале там неизвестно; оно могло быть оставлено данными народами позже или осуществляться иными приемами, которые обозначались иными словами.

Третьим фактором, подрывающим достоверность этимологии, является возможность заимствований. Вслед за вещью, входящей в обиход народа, в его язык может проникнуть и слово, служащее в другом языке для обозначения этой вещи; так, конопля лишь в весьма позднее время стала известна в средиземноморском бассейне, еще позже — в северных странах, и каждый раз название конопли заимствовалось вместе с заимствованием самого растения. Во многих случаях отсутствие внеязыковых данных не позволяет установить, объясняется ли наличие в нескольких языках одного и того же слова результатом заимствования или же оно доказывает преемственную общность его происхождения.

Это вовсе не значит, что нельзя с уверенностью выделить некоторые общие черты и даже кое-какие конкретные факты; общие термины родства, например, встречаются в большом количестве, сохранив свою отчетливость до нашего времени; благодаря им можно утверждать, что у индоевропейцев семья была институтом столь же сложным, сколь и регулярным: в этом отношении их язык обнаруживает такие оттенки, которые непередаваемы, например, по-французски. Так, у Гомера eináteres означает «невестки», sigalóōi «золовки» (сестры мужа); лат. janitrīcēs соответствует греч. eináteresи по форме и по значению. «Зять» называется иначе, чем «свояк». Здесь, таким образом, выявляется тщательная детализация родственных отношений. Но обычно приходится довольствоваться самой общей информацией. Тоже и в отношении животных: в наименовании важных пород, как, например, крупного рогатого скота, мы не только видим совпадение греч. boûs*,* нем. Kuh*,* скр. gau-sт. д. со значением «корова» и можем, таким образом, восстановить индоевропейское \*g2ōu-s, но обнаруживаем, что и склонение соответствующих слов во всех этих языках характеризуется одинаковыми признаками, что не было бы возможно, если бы речь шла о позднейшем заимствовании.

Позволим себе остановиться несколько подробней на другом морфологическом факте, ограниченном определенной зоной распространения и относящемся к сфере социальной организации.

Несмотря на все то, что было высказано по поводу связи лат. dominus «хозяин», «господин» с лат. domus «дом», лингвисты не чувствуют себя вполне удовлетворенными, так как здесь в высшей степени необычно употребление суффикса -nо- для образования производного имени; в греческом нет таких образований, как \*oiko-no-s или \*oike-no-s от *oikos* «дом», в санскрите—таких, как \*açva-na *-* от açva- «конь». Но именно эта редкость и сообщает суффиксу слова dominus всю его значимость и характерность. Несколько германских слов являются, по нашему мнению, настоящими откровениями в этом отношении:

1) \*þeuđa-na-z «вождь \*þeuđo», то есть «король», гот. þiudans, ст.-сакс. thiodan (\*þeuđō=гот. piuda=ocк. touto «народ»);

2) \*druχti-na-z (частично изменившееся в \* druχtī-na-z) «вождь» druχ-ti-z откуда христианское обозначение «господа», то есть «бога»; ср. др.-сканд. Dróttinn, англосакс. Dryhten, оба с конечным -ĭna-z;

3) \*kindi-na-z «вождь \*kindi-z» (=лат. gens), т. е. «рода». Поскольку вождь gens «рода» был по отношению к вождю \*þeudō «народа» своего рода «вице-королем», германский термин kindins (в других языках полностью утраченный) был использован Ульфилой для обозначения римского губернатора провинции, ибо легат императора был, по германским представлениям, тем же самым, что и вождь клана по отношению *к* þiudans «королю». Как бы ни была интересна эта ассимиляция терминов с исторической точки зрения, едва ли можно сомневаться, что слово kindins*,* чуждое римской обстановке, свидетельствует о подразделении германских племен на kindi-z.

Таким образом, мы видим, что вторичный суффикс -nо- присоединяется к любой германской основе и вносит в нее значение «вождь той или другой социальной группы». Остается только констатировать, что в таком случае лат. tribūnus буквально означает «вождь tribus»*,* то есть «трибы», подобно тому как þiudans означает «вождь piuda*»,* то есть «народа», и, наконец, точно так же domi-nus означает «вождь domus*»,* где domus*—*мельчайшее подразделение touta или þiuda*—*«народа». Dominus с его причудливым суффиксом представляется нам едва ли опровержимым доказательством не только языковой общности, но и общности в социальных институтах между эт-низмом италиков и этнизмом германцев.

Однако мы должны еще раз напомнить, что сопоставление языков редко приводит к столь характерным наблюдениям.

**§ 4. Языковой тип и мышление социальной группы**

Итак, если язык дает сравнительно мало точных и достоверных сведений о нравах и институтах народа, который пользуется этим языком, то не может ли он служить хотя бы для характеристики типа мышления данной социальной группы? Достаточно распространено мнение, что язык отражает психологический склад народа, однако против этого взгляда можно выдвинуть весьма существенное возражение: языковые средства (procédé) не обязательно определяются психическими причинами.

Семитские языки выражают отношение определяющего существительного к определяемому существительному типа франц. la parole de Dieu «слово бога» простым соположением обоих слов, которое сопровождается, правда, особой формой, так называемым status constructus определяемого имени, помещаемым перед определяющим именем. Так, в древнееврейском соединение двух слов đābār «слово» и ’elōhīm «боге давало словосочетание debar*,* ’elōhīmсозначением «слово бога». Станем ли мы утверждать, что эта синтаксическая конструкция открывает нам какие-либо особенности семитского мышления? Подобное утверждение было бы слишком смелым, так как в старофранцузском языке регулярно употреблялась аналогичная конструкция: ср. lе соr Roland «рог Роланда», les quatre fils Aymon «четыре сына Эймона» и др. А между тем на романской почве эта конструкция развилась благодаря чистой случайности, столь же фонетического, сколь и морфологического характера: она была навязана языку в результате отпадения падежных окончаний. Почему не допустить, что и в прасемит-ском языке это синтаксическое явление было вызвано аналогичной случайностью? Таким образом, конструкция, которая, как кажется, является одной из характернейших черт семитских языков, не позволяет делать каких-либо определенных выводов относительно семитского мышления.

Другой пример — в индоевропейском праязыке не было составных слов с первым глагольным элементом. Но такие слова имеются в немецком языке: ср. Bethaus «дом молитвы», Springbrunnen«фонтан» и т. п. Но разве это свидетельствует о том, что в определенный момент своей истории германцы видоизменили один из унаследованных от предков модусов мышления? Как мы видели, это новшество обязано своим происхождением случаю не только материального, но также и отрицательного характера: исчезновению звука *а* в betahūs. Все произошло независимо от деятельности сознания в сфере звуковых изменений, насильно толкнувших мысль на тот единственный путь, который предоставляется ей материальным состоянием знаков. Целый ряд подобных наблюдений убеждает нас в этом; психологический характер той или другой языковой группы мало значит по сравнению с таким фактом, как исчезновение одного гласного или перестановка ударения и прочими аналогичными явлениями, в каждый данный момент способными перевернуть взаимоотношения между знаком и понятием в любой из форм языка.

Не лишены интереса определения грамматического типа языков (как исторически известных, так и научно реконструированных) и классификация их в зависимости от приемов, используемых ими для выражения мысли; но из этих определений и классификаций нельзя с уверенностью делать каких-либо заключений о том, что лежит за пределами языка как такового.

***Глава V***

**Языковые семьи и языковые типы**

Мы только что видели, что язык непосредственно не подвластен мышлению говорящих. В заключение обратим особое внимание на одно из следствий из этого принципа: ни одна языковая семья не принадлежит раз и навсегда к определенному лингвистическому типу.

Спрашивать, к какому типу относится данная группа языков, - это значит забывать, что языки эволюционируют, полагать, что в этой эволюции есть какой-то элемент постоянства. Но во имя чего имеем мы право предполагать границы у этого развития, которое не знает никаких границ?

Правда, многие, говоря о характерных признаках какой-либо языковой семьи, думают преимущественно о характере ее праязыка, и в таком случае проблема представляется вполне разрешимой, поскольку речь идет об определенном языке и определенной эпохе. Однако, если кто-нибудь станет предполагать наличие в языке каких-то постоянных признаков, над которыми не властно ни пространство, ни время, тот посягнет непосредственно на основные принципы эволюционной лингвистики. Неизменяющихся признаков, по существу, не бывает, они могут сохраняться только случайно.

Возьмем для примера индоевропейскую семью. Нам известны характерные признаки того языка, от которого произошла эта семья: очень простая система звуков; никаких сложных сочетаний согласных, никаких удвоенных согласных; бедный вокализм, характеризующийся, однако, в высшей степени регулярной системой чередований, глубоко грамматических по своей природе; музыкальное ударение, падающее в принципе на любой слог слова и потому используемое для подчеркивания грамматических противопоставлений; количественный ритм, покоящийся исключительно на противопоставлении долгих и кратких слогов; большой простор для образования сложных и производных слов; исключительно богатая именная и глагольная флексия; автономность в предложении отдельного слова, изменяющегося с помощью флексии и заключающего в самом себе все свои определения, и в результате этого— большая свобода конструкций при малочисленности служебных (грамматических) слов с детерминативным или релятивным значением (глагольные приставки, предлоги и т. д.).

Нетрудно убедиться, что ни один из этих признаков полностью не сохранился в целостном виде ни в одном из индоевропейских языков; что некоторые из этих признаков, как, например, роль количественного ритма и музыкального ударения, вообще не встречаются ни в одном из этих языков и что такие языки, как английский, армянский, ирландский и ряд других, до такой степени изменили свой первоначальный индоевропейский характер, что кажутся представителями совершенно иного языкового типа.

С несколько большим основанием мы вправе говорить о более или менее общих трансформационных процессах, свойственных различным языкам какой-либо семьи. Так, указанное нами выше постепенное ослабление механизма словоизменения встречается во всех индоевропейских языках, хотя и в этом отношении они представляют значительные расхождения: наиболее сохранилось словоизменение в славянских языках, а в английском языке оно сведено почти на нет. С этим упрощением флексии следует поставить в связь другое явление, тоже довольно общего характера, а именно более или менее постоянный порядок элементов в предложении, а также вытеснение синтетических приемов выражения смысла приемами аналитическими: передача падежных значений предлогами, образование глагольных форм при помощи вспомогательных глаголов и т. п.

Как мы видели, та или иная черта прототипа может отсутствовать в том или другом из восходящих к нему языков; но верно и обратное: нередки случаи, когда общие черты, свойственные всем представителям семьи, не встречаются в праязыке,—примером может служить гармония гласных, то есть ассимиляция качества всех гласных в суффиксах последнему гласному корня. Это явление свойственно обширной урало-алтайской группе языков, на которых говорят в Европе и Азии, от Финляндии до Маньчжурии; но, по всей вероятности, это замечательное явление связано с позднейшим развитием отдельных языков этой группы; таким образом, это черта общая, но не исконная, а это значит, что в доказательство общности (к тому же весьма спорной) происхождения данных языков на гармонию гласных ссылаться нельзя, как нельзя ссылаться и на их агглютинативный характер. Установлено также, что китайский язык не всегда был односложным.

При сравнении семитских языков с реконструированным пра-семитским мы сразу же поражаемся устойчивости некоторых их черт; более всех прочих семей эта семья языков производит впечатление единства неизменного, постоянного и присущего всей семье. Оно проявляется в следующих признаках (некоторые из них резко противоположны характерным чертам индоевропейской семьи): почти полное отсутствие сложных слов, ограниченная роль словопроизводства, малоразвитая флексия (впрочем, более развитая впраязыке, чем в восходящих к нему языках), с чем связано подчинение порядка слов определенным строгим правилам. Самая замечательная черта проявляется в устройстве корней: они регулярно состоят из трех согласных (например, q-ţ-l «убивать»); эти корневые согласные сохраняются во всех формах одного слова внутри данного языка (ср. др.-евр. qāţal «он убил», qāţelā «она убила», qeţōl «убить», «убей, ты (мужчина)!», qiţelī«ты (женщина) убей!» и т. д.) и даже в разных языках (ср. араб. qatala «он убил», qutila «он убит» и т. д.),— иначе говоря, согласные выражают «конкретные значения» слов, их лексическую значимость, тогда как чередующиеся гласные, правда с помощью некоторых префиксов и суффиксов, обозначают исключительно грамматические категории: например, др.-евр. qāţal «он убил», qeţōl«убить», «убей, ты (мужчина)!», с суффиксом - qāţel-ū «они убили», с префиксом —ji-qţōl«он убьет», «он убивает», с тем и другим —ji-qţl-ū «они убьют», «они убивают» и т. д.

Перед лицом этих фактов и вопреки тому, как их иногда истолковывают, мы настаиваем на провозглашенном нами принципе: неизменных признаков не бывает; их постоянство есть дело случая; если какой-нибудь признак в течение долгого времени все же сохраняется, то он все равно в любой момент может исчезнуть. Что касается признаков семитских языков, то заметим, что «закон» трех согласных не так уж характерен для этой семьи, ибо и в других семьях встречаются совершенно аналогичные явления. Так, и в индоевропейском языке консонантизм корней подчиняется строгим правилам: в них, например, никогда не встречается после с сочетание двух звуков из ряда i, u, r, l, m, n; корень типа \*serl здесь невозможен. То же можно сказать, с еще большим основанием, о роли гласных в семитских языках: нечто аналогичное, хотя и в менее развитом виде, встречается ведь и в индоевропейских языках—такие противопоставления, как древнееврейские dābār «слово», debār-īm «слова», diberē-kém «ваши слова», напоминают нем. Gast «гость»: Gäste «гости», fliessen «течь»: floss «тек» и т. п. В обоих случаях генезис грамматического приема один и тот же. И тут и там речь идет о чисто фонетических превращениях, вызванных слепой эволюцией; порожденные этой эволюцией чередования были удержаны сознанием, связавшим с ними определенные грамматические значимости и распространившим их применение по аналогии с образцами, созданными случайным действием фонетического развития. Что же касается неизменности трехсогласного характера семитского корня, то она является относительной и ничего абсолютного не заключает. В этом можно быть уверенным a priori; но это подтверждается и фактами: так, например, в древнееврейском корень слова ’anāš-īm «люди» состоит, как и следует ожидать, из трех согласных, но в единственном числе ’īš «человек» их всего только две, и получилось это в результате фонетического сокращения более древней формы, заключавшей в себе три согласных. Впрочем, если даже и принять эту мнимую неизменность, следует ли видеть в ней нечто присущее самим корням? Нисколько! Дело просто заключается в том, что семитские языки меньше многих других подверглись фонетическим изменениям, вследствие чего в них лучше, чем в других языках, сохранились согласные. Таким образом, все это является исключительно результатом эволюции, чисто фонетическим, а вовсе не грамматическим явлением, неизменным по своему характеру. Утверждение о неизменности корня равносильно утверждению, что корни никогда не подвергались фонетическим изменениям, - ничего иного в этом утверждении не содержится; однако нельзя поручиться, что изменение никогда не произойдет. Вообще говоря, все, что создано временем, может быть временем же переделано или уничтожено.

Давно признано, что Шлейхер насиловал действительность, рассматривая язык как нечто органическое, в самом себе заключающее свои законы развития; а между тем продолжают, даже не подозревая этого, видеть в языке нечто органическое в другом смысле, полагая, что «гений» расы или этнической группы непрерывно направляет язык на какие-то определенные пути.

Из сделанных нами экскурсов в пограничные области нашей науки вытекает следующий принцип чисто отрицательного свойства, но тем более интересный, что он совпадает с основной идеей этого курса: *единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя* .